Жорж Сорель

Размышления о насилии

Издание осуществлено в рамках программы содействия издательскому делу «Пушкин» при поддержке Французского института

Cet ouvrage a bénéficié du soutien du programme d'aide à la publication Pouchkine de l'Institut français

Georges Sorel

Réflexions sur la violence

EDITIONS DU SEUIL
PARIS
1990

Жорж Сорель

Размышления о насилии

ФАЛАНСТЕР
МОСКВА
2013

УДК 301

ББК 60.5

С 65

Перевод с французского Б. Скуратов (с. 9–57, 245–291), В. Фриче (с. 58–244). Редактор В. Акулова.

Сорель Ж.
Размышления о насилии. *М.: Фаланстер, 2013. — 293 с.*

«Размышления о насилии» — самая известная работа французского философа и социолога Жоржа Сореля (1847–1922), в которой автор — теоретик революционного синдикализма — выдвигает понятие мифа о всеобщей стачке как коллективного мобилизующего представления, способного стать основой революционных преобразований. Единственный перевод книги на русский язык был сделан в 1907 году. Настоящее издание включает новую редакцию этого перевода, ранее не публиковавшееся на русском языке авторское предисловие и дополнительные главы, написанные для более поздних французских изданий книги, письма автора, адресованные издателю и одному из читателей, а также вступительную статью историка Жака Жюльяра.

ISBN 978-5-9903732-2-8

© Editions du Seuil, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

9 **Предисловие**. *Жак Жюльяр*

27 **Введение**. *Письмо к Даниэлю Галеви*

57 *Предуведомление к третьему изданию*

57 *Предисловие к первому изданию (1906)*

Глава I. Классовая борьба и насилие

65 *I. — Борьба бедных групп с богатыми. — Противодействие демократии разделению на классы. — Как покупается социальный мир. — Корпоративный дух.*

71 *II. — Иллюзии об исчезновения насилия. — Механизм примирения и воодушевление, которое оно несет стачечникам. — Влияние страха на социальное законодательство и результаты этого влияния.*

Глава II. Упадок буржуазии и насилие

81 *I. — Парламентариям необходимо устрашать. — Методы Парнелла. — Казуистика: глубинное единство групп парламентского социализма.*

87 *II. — Вырождение буржуазии благодаря мирной жизни. — Концепции Маркса о необходимости. — Роль насилия для восстановления прежних социальных отношений.*

94 *III. — Отношения между революцией и экономическим процветанием. — Французская революция. — Христианское завоевание мира. — Грозящие миру опасности.*

Глава III. Предубеждения против насилия

101 *I. — Устаревшие представления о Революции. — Изменения в результате войны 1870 года и парламентского режима.*

106 *II. — Замечания Дрюмона о буржуазной жестокости. — Юристы третьего сословия и история судов. — Капитализм против культа государства.*

113 *III. — Позиция дрейфусаров. — Суждение Жореса о Революции: его преклонение перед успехом и ненависть к побежденным.*

118 *IV. — Антимилитаризм как свидетельство отказа от буржуазных традиций.*

Глава IV. Пролетарская стачка

121 *I. — Путаница парламентского социализма и ясность всеобщей стачки. — Мифы в истории. — Практическое доказательство значения всеобщей стачки.*

130 *II. — Попытки усовершенствования марксизма. — Способ его прояснения при помощи всеобщей стачки — классовая борьба; — подготовка к революции и отсутствие утопий; — неустранимый характер революции.*

140 *III. — Научные предрассудки, противопоставляемые всеобщей стачке; сомнения в науке. — Ясные и темные области мысли. — Неосведомленность парламентов в экономических вопросах.*

Глава V. Всеобщая политическая стачка

151 *I. — Использование профсоюзов политиками. — Давление на парламенты. — Всеобщие стачки в Бельгии и России.*

157 *II. — Различие между двумя течениями мысли в соответствии с двумя концепциями всеобщей стачки: классовая борьба; государство; мыслящая элита.*

162 *III. — Зависть политиков. — Война как источник героизма и как разграбление. — Диктатура пролетариата и ее исторические предшественники.*

170 *IV. — Сила и насилие. — Понимание силы у Маркса. — Необходимость новой теории пролетарского насилия.*

Глава VI. Моральность насилия

177 *I. — Наблюдения П. Бюро и П. де Рузье. — Эпоха мучеников. — Возможность сохранять раскол небольшим насилием, благодаря катастрофическому мифу.*

185 *II. — Жестокие древние обычаи в школах и мастерских. — Опасные классы. — Снисходительность к преступлениям хитрости. — Доносчики.*

194 *III. — Закон 1884 года, устрашающий консерваторов. — Роль Мильерана в министерстве Вальдека-Руссо. — Основания нынешних представлений о посредничестве.*

203 *IV. — Поиски возвышенного в морали. — Прудон. — Отсутствие источника морали в тредюнионизме. — Возвышенное в Германии и понятие о катастрофе.*

Глава VII. Мораль производителей

212 *I. — Мораль и религия. — Пренебрежение моралью в демократиях. — Внимание «новой школы» к вопросам морали.*
220 *II. — Беспокойство Ренана о будущем мира. — Его предсказания. — Потребность в возвышенном.*
225 *III. — Мораль Ницше. — Роль семьи в происхождении морали; теория Прудона. — Мораль Аристотеля.*
232 *IV. — Гипотезы Каутского. — Сходства духа всеобщей стачки и духа революционных войн. — Страх парламентариев перед этим духом.*
238 *V. — Рабочий на развитом производстве, художник и солдат революционных войн: желание превзойти всякую меру; забота о точности; отказ от идеи вознаграждения, отмеренного по заслугам.*

Приложение I. Единство и множественность

245 *I. — Биологические образы, поддерживающие идею единства; их происхождение.*
247 *II. — Античное единство и исключения из него. — Христианская мистика. — Права человека; их последствия и их критика. — Польза концепции неисторического человека.*
254 *III. — Церковная монархия. — Гармония властей. — Отказ от теории гармонии; современное улучшение понимания идеи абсолютного.*
259 *IV. — Склонность современных католиков к приспособлению. — Безразличие государства. — Сегодняшняя борьба.*
263 *V. — Современный опыт, который дает церковь: парламентаризм; отбор боевых групп; множественность форм.*

268 **Приложение II.** *Апология насилия*

270 **Приложение III.** *За Ленина*

Письма

280 *Выдержки из переписки Жоржа Сореля с Даниэлем Галеви по поводу издания «Размышлений о насилии»*
288 *Письмо Марселю Дальбертозу*

ПРЕДИСЛОВИЕ
Рискуя мыслить

Жак Жюльяр

Жану Даниэлю

Перед вами книга, дошедшая до нас с ужасной репутацией и давшая скандальное потомство. Наследниками «Размышлений о насилии» последовательно, а иногда и одновременно называли себя крайне правые националисты и крайне левые революционеры, фашисты, террористы, сторонники тоталитаризма всех сортов. Хорошо известно, что у Муссолини — по крайней мере, по его собственным словам — это была одна из настольных книг. Но не все знают, что так же важна она была и для Антонио Грамши. Существует символически важный, хотя и спорный слух, что, поскольку французские власти забросили могилу Жоржа Сореля, с инициативой восстановить надгробие выступили два правительства: советских большевиков и итальянских фашистов. Оглядываясь назад, мы можем сказать, что именно эти люди и не дают примирить с покойным современное общественное мнение. Во Франции монархистам из Action française так и не удалось присвоить себе эту злополучную книгу, но они все же сделали достаточно для того, чтобы отвратить от нее республиканцев. В целом от нее отвернулись и демократы, и либералы, приняв на веру похвалы, которые расточали ей их противники. Сартр, по всей видимости не читав, пренебрежительно называл книгу «фашистской», а его гораздо более осведомленный собрат и противник Раймон Арон незадолго до смерти признавался мне в сдержанном отношении к этому запутанному и противоречивому автору.

Ведь Сорель и его «Размышления» — одно целое. Автор произведения столь значительного, что все уже потеряли надежду на его полное переиздание, кажется, всегда будет отождествляться с одной из своих книг, хотя не все его знатоки считают ее самой примечательной. Впрочем, знаковой ее можно назвать без всяких сомнений.

Еще одна проблема в том, что обычно из этой книги помнят только ее заглавие. «Размышления о насилии» — это просто апология насилия. И дело с концом. Многие очень удивятся, если начать несколько более обоснованно доказывать, что это по сути высказывание в защиту прав человека в противовес государственному интересу. Об этом мы еще поговорим. А пока подчеркнем, что основная ответственность

за ошибочные интерпретации этой книги лежит на самом авторе. Всю жизнь Жорж Сорель предпочитал глубину — ясности, понятийную строгость — изяществу формулировок. Такова была его профессиональная этика. Он не боялся писать неоднозначные и даже противоречивые вещи, когда полагал, что реальность неоднозначна или противоречива. Он презирал литераторов, обвиняя их в том, что они ставят свое искусство выше истины. Время от времени Сорель не пренебрегал провокациями не только по отношению к противникам, но, может быть, даже в первую очередь по отношению к друзьям — он не всегда сохранял полную серьезность. Одной из его любимых обучающих провокаций, несомненно, следует считать обращение бытовых представлений о том, что сила легитимна, когда ее противопоставляют насилию. Если бы вместо слова «насилие» он выбрал «прорыв» или, еще лучше, «революционный прорыв» — а он как раз это и имел в виду, когда писал статьи, из которых состоят «Размышления», — то он был бы понят иначе и привлек бы других учеников: возможно, тогда о нем говорили бы, что он вдохновил съезд социалистов в Эпине (1971), а не фашистский митинг на Сан-Сеполькро (1919)[1].

«Размышления о насилии», как и великие произведения политической философии — я здесь имею в виду «Общественный договор», — это неисчерпаемая книга, которую едва ли можно целиком понять при первом прочтении. Это осознавал и сам Сорель, несмотря на свою скромность и реалистический образ мысли, удерживавшие его от углубления в теоретические спекуляции: «Я полагаю, что внес существенный вклад в дискуссии о социализме», — пишет он на последней странице книги. Этот вклад выражается не столько в понятиях, которые он ввел в употребление, сколько в разработанном им методе. Конечно, было бы соблазнительно отвести теории мифа, которая красной нитью проходит через эту книгу, такую же роль, какую играет общая воля у Руссо, классовая борьба у Маркса или подражание у Тарда, — то есть роль центральной идеи в его социальной космологии. Возможность свести замысловатое здание с планировкой лабиринта к одному-единственному слову или выражению была бы простым выходом и для критика, и для читателя. Нетрудно понять, почему из великих мыслей запоминается

1 Объединительный съезд, прошедший в 1971 г. в городе Эпине-сюр-Сен, недалеко от Парижа, ознаменовал собой обновление и сплочение французского социалистического движения. На этом съезде Франсуа Миттеран был избран первым секретарем Социалистической партии. В 1919 г. на площади Сан-Сеполькро состоялся митинг, на котором Муссолини объявил о создании Итальянского союза борьбы, впоследствии ставшего ядром фашистского движения. — *Прим. ред.*

лишь наиболее схематичное и почему, возвращаясь к текстам, мы с удивлением обнаруживаем, что авторы беспрестанно предостерегают нас от того, что сами пишут.

Вот почему в случае Сореля мы хотели бы сразу же подчеркнуть примат метода, или, точнее — поскольку слово «метод» уже подразумевает некую систему, — важность определенного стиля мысли, присущего ряду современников Сореля, с которыми он был знаком и которыми восхищался: я бы назвал Бергсона, Пеги, Бернштейна или, возможно, даже в первую очередь кардинала Ньюмена и Прудона. Этот стиль зиждется на едва ли не уникальном императиве: на потребности — и логической, и моральной — в единстве со своей мыслью, в том, чтобы придерживаться собственных высказываний, а не оперировать шаблонами и мертвыми концепциями, которые давно уже не ставятся под сомнение. Пеги в том же смысле упоминает валежник, мертвую древесину, уподобляя ему привычные, уже не осмысляемые представления. Пример коммунистического мира показывает, что эти люди не обманулись в предчувствиях: использование чисто инструментального языка-объекта для сведения мысли к ее материальному осадку, незыблемому и священному, угрожает не только живости мысли, но и свободе духа в целом.

Быть современником собственной мысли, как любил говорить Жан Лакруа, небезопасно. Прежде всего, это означает риск противоречия самому себе. Полностью избегают его лишь те, кто никогда не переоценивает свои взгляды. «Верность собственным идеям» — это нередко просто самый легкий способ утаить отсутствие мыслительной работы. Если Жорж Сорель так много себе противоречил — к большой радости своих критиков, — «то это потому, что он непрестанно работал» (Поль Тибо), непрестанно ставил под вопрос собственные взгляды. Здесь мы видим, что работа мыслителя несовместима с политической деятельностью: что мы сказали бы о политике, который вдруг заявляет, что он поразмыслил и понял, что его противники правы, а он ошибался? Мы бы решили, что он либо предатель, либо конъюнктурщик. «Мои мысли — это для меня те же распутницы», — говорит племянник Рамо[2]. Мысли политика – его законная жена: они окружены почетом, но навещает он их редко. Вместе их можно увидеть только на официальных мероприятиях.

---

2 Герой одноименного произведения Дени Дидро. Буквально его слова переводятся как «Мои мысли — мои шлюхи». — *Прим. ред.*

Поэтому прежде всего посоветуем читателю начать с введения — длинного письма-предисловия, адресованного Даниэлю Галеви: из публикуемой впервые в настоящем издании переписки мы знаем, что формулировки в этом письме были тщательно выверены. В этом предисловии Сорель описывает свой подход и разъясняет недостатки выбранной им манеры письма. Не оправдываясь за свою «беспорядочность» (с. 27) и «неоднородность» (с. 63), он настаивает, что это для него проявление интеллектуальной бдительности. Писать слишком строго означает рисковать «исключить из рассмотрения множество новых фактов»: «Я предлагаю вниманию читателей усилие мысли, стремящейся вырваться из оков заранее выстроенных для общего пользования представлений» (с. 29). Враги Сореля — готовые к употреблению мысли, те, которые, ссылаясь на Бергсона, он называет «шаблонными» (с. 29). Отсюда его открытый отказ нравиться (с. 29), пренебрежение переходами от одной темы к другой (с. 29), использование повторов (с. 29). Только так, полагает он, можно «очистить память», «стать своим собственным наставником» (с. 28). Но ни в коем случае не «собственным учеником», по его жесткому выражению. Живую, действующую мысль нельзя ни воспроизвести, ни скопировать. Как нельзя заниматься гимнастикой по переписке, точно так же невозможно ни мыслить за других, ни поручить другим думать за нас.

И точно так же не может быть «социального мыслителя», который бы предписывал социальным агентам, что им делать в соответствии с ролью, которую он им отводит в своем плане переустройства общества. Социализм Сореля — не лекция доктора революционных наук и не режиссерские требования к актерам. Метод Сореля основан, прежде всего, на наблюдении. Всеобщая конфедерация труда (ВКТ)[3] была для Сореля не историческим агентом, а точкой приложения его рефлексии. Можно ли считать его теоретиком насилия? Ни в коем случае. Самое большее — его социологом: «Не нужно выяснять, может ли оно принести нынешним рабочим больше или меньше прямой выгоды, чем умелая дипломатия, — следует поставить вопрос о том, к чему приводит введение насилия в отношения пролетариата с обществом» (с. 61).

Согласимся, что это решительно антимодернистская мысль, представляющая собой полную противоположность ложным чарам коммуникации и «одноразовой мысли», по

3 Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) — одно из крупнейших французских профсоюзных объединений, учрежденное в 1895 г. — *Прим. ред.*

удачному выражению ежемесячника Actuel[4]. Эта мысль, напротив, вечно в движении, в стремлении к недостижимой победе, в борьбе, подобно Вечному жиду — «символу самых возвышенных чаяний человечества, обреченного вечно блуждать, не ведая покоя» (с. 38). Не могу не отметить великолепное определение философии, которое Сорель дает мимоходом, в качестве иллюстрации своего метода: «разведка бездн». Я не знаю более прекрасного, более истинного обоснования аберраций, к каким порой приходят философы, особенно в своих практических взглядах: подлинна лишь та философия, которая устремляется вперед и рискует погибнуть ради того, чтобы что-нибудь обрести. Чтобы отвратить человечество от пропастей, нужно, чтобы кто-нибудь их освещал.

Так давайте же наконец воздадим должное этому великому траурному плачу по свободной мысли, прозвучавшему на заре нашей современности — эпохи мысли плененной. В начале нашего столетия нашлись люди, с душераздирающей ясностью предвидевшие то, что должно было произойти, — великую капитуляцию духа перед его политическими и коммерческими заказчиками. Как тут не вспомнить Пеги, чье изобличение денег, что бы о нем ни говорили, выходит далеко за рамки былых католических умолчаний о ссудах с процентом и предсказывает поражение мысли посредством ее меркантилизации (Ален Финкелькраут[5])? И как не упомянуть кардинала Ньюмена, которого Сорель с таким интересом изучал? Его «Грамматика согласия», о которой сегодня мало кто вспоминает, была центральной книгой на рубеже XIX–XX веков: великий обращенный методично проводит в ней различие между низшими верованиями, опирающимися на конформизм и общественное мнение, и высшей верой, основанной на свободном интеллектуальном и моральном выборе. Как не вспомнить, наконец, что Бергсон стал для целого поколения — от Пруста до Сореля и Пеги — человеком, освободившим мысль от оков позитивизма и позволившим ей воссоединиться с сильнейшим опытом, данным в переживаниях?

Вот что нужно помнить о методе. После сказанного едва ли уже удивит уважение, которое Сорель, радикал и революционер, всегда испытывал к эволюционисту Бернштейну.

---

4 Actuel — ежемесячный журнал об обществе, издававшийся во Франции с перерывами с 1967 до 1994 гг. Изначально имел левую и контркультурную направленность. — *Прим. ред.*

5 Ален Финкелькраут (Alain Finkielkraut, p. 1949) — философ, автор многочисленных работ, среди которых «Поражение мысли» (La défaite de la pensée, Paris, 1987), посвященная теме меркантилизации мысли. — *Прим. ред.*

Как автор «Предпосылок социализма», Сорель испытывает священный ужас перед утопией, то есть перед воображаемой конструкцией последнего государства, ведь он считает, что подход определяется средствами, а не целями. Иными словами, доктрина — не что иное, как метод в состоянии роста. Мы можем лучше оценить это, так как знаем последствия: тоталитарный дрейф в XX веке вырос из неумеренного превознесения политики, понятой как чистая технология, служащая определенным целям. Такая точка зрения — полная противоположность позиции, которой требует демократия, когда задача — не столько добиться тех или иных целей, сколько выстроить общественные отношения в соответствии с определенными ценностями.

Тем не менее имеет смысл пристальнее рассмотреть саму тему книги. Она находится в точке пересечения трех понятий, первое из которых принадлежит к коллективной психологии и зачастую считается наиболее оригинальным интеллектуальным вкладом Сореля — это понятие мифа, понимаемого не как вымысел, расходящийся с реальностью, а, наоборот, как мобилизующее коллективное представление. Второе понятие связано, прежде всего, с социологией — это *насилие*, а точнее, роль насилия в межклассовых отношениях и в историческом развитии. Наконец, третье позаимствовано из событий сорелевского времени — это идея *всеобщей стачки* как найденной после долгих поисков формы народной и антиавторитарной революции. Этот интеллектуальный инструментарий нельзя назвать вполне оригинальным. В частности, идею мифа придумал не Сорель. Об этой форме аффективной мысли, характерной для первобытного человека, задумывались многие авторы: от Фонтенеля и Бейля до Леви-Брюля и Дюркгейма. Но, как показал Жюль Моннеро[6], толчок размышлениям Сореля на эту тему дал Вико. У «первобытного человека» или «варвара» нет разрыва между прошлым, где преобладает аффективность, и будущим, где преобладает активность. Миф — фрагмент человеческой истории, преображенный первобытной мыслью, — совершенно естественно превращается в репрезентацию будущего, то есть в мобилизующий образ. Это и есть основа сорелевской теории мифа.

Что касается идеи всеобщей стачки, то Сорель и не думал приписывать себе ее авторство. Она появилась в начале 1880-х в парижской рабочей среде и была воспринята

6 Georges Sorel ou l'introduction aux mythes modernes, in Science et Conscience de la société. Mélanges en l'honneur de Raymond Aron. Paris, Calmann-Lévy, 1971, tome I, p. 379–412. (*Здесь и далее примечания автора, кроме отдельно оговоренных случаев.*)

синдикализмом антиавторитарного толка в 1890-е. Только что возникшая ВКТ возвела ее на пьедестал, и она пережила расцвет, а потом и упадок с поражением движения за восьмичасовой рабочий день 1 мая 1906 года[7]. С этого момента руководители ВКТ — в первую очередь Виктор Гриффюэль — твердо решают перестать использовать в профсоюзном движении лозунг, доверие к которому в краткосрочной перспективе было подорвано: после Амьенского съезда (октябрь 1906 года) всеобщую стачку в профсоюзах обсуждают разве что в качестве формы сопротивления межнациональной войне — к большому сожалению тоскующих по анархосиндикализму. Та же самая забота о реализме не дает превратить не нашедшую применения на практике идею в утопию: нельзя допустить, чтобы синдикализм прямого действия погрузился в эсхатологическую энтропию, как это произошло с синдикализмом революционным. Идея всеобщей стачки не может быть утопией, то есть описанием грядущего общества, дополняемого при случае рецептами по его построению. Вот почему большинство руководителей ВКТ сдержанно и даже напряженно приняли книгу «Как мы совершим революцию» (1909) — набросок, в котором Эмиль Пато и Эмиль Пуже поддались порыву утопического вдохновения.

Но если всеобщая стачка — это не средство решения краткосрочных политических задач и не всеобъемлющее эсхатологическое полотно, то чем же еще она может быть, как не тем, что Сорель называет мифом, «совокупностью образов, способных инстинктивно вызывать именно те чувства, которые соответствуют различным проявлениям социалистической борьбы против современного общества» (с. 129)? Таким образом, важна в этом мифе лишь его глобальная структура, а различные его части сами по себе не представляют интереса. Нельзя считать его и «астрологическим альманахом» (с. 127). Как сказал кто-то — вероятно, англичанин, — «доказательство пудинга в том, что его съедают». Доказательство всеобщей стачки — в том, что она воздействует на умы.

Кроме того, Сорель не принимает миф о всеобщей стачке за массовое явление. Он не забывает назвать его «синдикалистским», подчеркивая тем самым, что распространен этот миф в довольно узком кругу активистов, «принимающих активное участие в подлинно революционном

7 1 мая 1906 г. ВКТ объявила национальный день борьбы за восьмичасовой рабочий день. Профсоюз организовал беспрецедентную по массовости стачку и вывел своих членов на демонстрации. Власти отреагировали на демонстрации силовыми разгонами вплоть до убийств, а также арестами участников. — *Прим. ред.*

движении пролетариата» (с. 129). Не зная, какова будет в действительности судьба всеобщей стачки, они считают, что могут смело свидетельствовать о том, «какие представления наиболее сильно влияют на них и их товарищей» (с. 129). В целом если миф о всеобщей стачке и не носит массового характера, он может его приобрести благодаря посредничеству активистов. Анализируя миф о всеобщей стачке в ВКТ, так же как и при исследовании мифа о классовой борьбе у Маркса, Сорель занимается лишь объяснением революционной ментальности.

Однако остается объяснить, почему Сорель так увлечен объектом своего исследования. Причина, по которой он придает мифическому насилию, воплощенному во всеобщей стачке, такое значение, не столько в его шансах на победу, которых он в конечном счете видит мало, сколько в том, что оно влечет за собой два типа реакций, две системы близких его сердцу ценностей: индивидуалистический бунт против авторитарного государства и моральное восстание против буржуазного разложения.

Как и Прудон, Пеги и основные профсоюзные лидеры его эпохи, начиная с того, кто оказал на него непосредственное влияние — я имею в виду Фернана Пеллутье, — Сорель был одержим страхом того, что после революции давление буржуазного государства немедленно сменится давлением государства социалистического. Отсюда поиски такой революционной модальности, которая позволила бы избежать централизации власти в руках одной партии. Фернан Пеллутье как раз усматривал во всеобщей стачке, как в пассивной революции, «революцию везде и нигде» — в отличие от тактических маневров некоего центрального комитета. Точно так же и Сорель, сравнивая всеобщую стачку с освободительными войнами, видит в ней наиболее яркое проявление *индивидуалистического духа в восставших массах* (с. 237). Здесь отчетливо видно его недоверие к диалектике слепых масс и манипулирующих ими революционеров — диалектике, которая станет проклятьем XX века.

Задолго до большевистской революции 1917 года люди, мыслившие подобно Сорелю, предугадали все ее извращения. К слову, эта прозорливость опровергает отговорки тех, кто полстолетия спустя все еще заявляли, будто «не ведали, что творят». Впрочем, следует ли говорить об «извращениях»? Достаточно заглянуть в марксистские тексты, чтобы убедиться, что в социалистическом проекте изначально содержалось установление диктатуры государства, по крайней мере как один из его возможных аспектов. В Великой французской революции Сорель, как верный ученик

Прудона, ужасается тому, что, с его точки зрения, она не разрушает Старый режим, а восстанавливает его поколебленные основы. Революция — это тот же Старый режим, который учреждается иными методами. Токвиль (а Сорель читал и его) тоже заметил это, хотя в несколько другом смысле. Что останется от Революции, если отбросить ее эпическую сторону? «Применение государственной силы против побежденных» (с. 105). А что останется от ее льстивых приверженцев, таких как Жорес? Покорность силе обстоятельств и теоретическое оправдание права сильного. Люди 1793-го лишь вернулись к теории государственного интереса, унаследованной от Старого режима. Например, Сорель очень по-марксистски объясняет, что правосудие Людовика XIV было полностью направлено на поддержание королевского величия: «[Его] основной целью было не право, а государство» (с. 109). И дополним это следующими словами, которые мог бы написать и Эдгар Кине[8]: «Жестокость членов Конвента легко объясняется пагубным влиянием идей, которые третье сословие почерпнуло из гнусных обычаев Старого режима» (с. 113).

Жоресу Сорель не прощает апологию «государственного насилия», как мы бы сейчас сказали. Неважно, что оно перешло в другие руки. Оно осталось самотождественным. И здесь Сорель вводит свое знаменитое различие, предлагая называть все акты власти силой, а акты бунта – насилием. Сила есть действие государства, насилие — действие пролетариата. «Тогда мы можем сказать, что сила имеет целью установить социальный порядок, основанный на власти меньшинства, а насилие направлено на уничтожение этого порядка» (с. 170).

Сорелю так и не удастся добиться признания этого противопоставления. На слове «насилие» уже ввиду этимологии лежит печать нелегитимности, а силу католическая религия возвела в ранг добродетели. Именно провал этого семантического путча и породил большую часть недопонимания, существующего и по сей день вокруг этой книги. Но обратимся к сути: Сорель глубоко враждебно относится к тому, что мы называем насилием, а он сам — «зверствами». Пролетарское насилие направлено не на индивидов, а на «обозначение разделения общества на классы» (с. 117). Он также говорит, что «идея классовой борьбы помогает очистить понятие насилия» (с. 118), и заключает показательной фразой: «Мы имеем право надеяться, что социалистическая

8 Эдгар Кине (Edgar Quinet, 1803–1875) — литератор и историк, республиканец, депутат Учредительного собрания. — *Прим. ред.*

революция, к которой стремятся чистые синдикалисты, не будет замарана унижениями, опорочившими революции буржуазные» (с. 120).

Думаю, читатель простит мне обилие цитат из книги, которую он собирается прочесть. Но эти вещи так часто неверно интерпретируют, что важно было расставить точки над i. Ведь Сорель был ненасильственным революционером со склонностью к индивидуализму и анархии и глубокой враждебностью к государственному интересу и государственному аппарату. Он никогда не менял взглядов по этому вопросу, и любопытно было бы узнать, как с этим неустранимым фактом удается мириться тем, кто считает Сореля предтечей фашизма. Насколько нам известно, ни один фашист не провозглашает примат индивида и не уповает на «конец капиталистического господства» (с. 134), «уничтожение государства» (с. 123) и появление «свободных производителей, работающих на фабрике без хозяев» (с. 233).

В искренности или, во всяком случае, в подлинности сорелевского индивидуализма заставляет усомниться его явное недоверие к либеральной идеологии. Ведь две эти системы взглядов, вообще говоря, тесно связаны. Чтобы прояснить это мнимое противоречие, нужно поместить либерализм в его исторический контекст, что и делает Сорель в своих произведениях. Сложно понять, как могли бы выжить либеральные общества, если бы составляющие их индивиды были проникнуты только либеральными принципами. Предположение, что преследование индивидуального интереса непременно приводит к коллективному благу, — это идея для мирного времени. Иначе говоря, идея абстрактная. Даже поверхностный взгляд на всемирную историю, наоборот, убеждает нас, что сохранение и развитие обществ основывается на жертве, то есть на добровольном или вынужденном отказе от индивидуальных наслаждений и личного интереса в пользу коллектива. Умирать за родину, или революцию, или даже за демократию, разумеется, не либеральная идея. Это не в интересах индивида. Мансур Олсон даже попытался показать, что у отдельно взятого рабочего нет интереса бороться за свои права — ему выгоднее дождаться, чтобы за него это сделали его товарищи. С этой точки зрения коллективные действия, лежащие в основе рабочего движения, такие как стачки или образование профсоюзов, можно объяснить только ослеплением индивидов или их интеллектуальной вербовкой. Без этого невозможно понять самопожертвование ни наполеоновского солдата, ни афинского или римского гражданина, отдающего жизнь за свои ценности (с. 49). Конечно,

всегда можно мечтать об обществе, где любое такое самопожертвование стало бы бесполезно, а каждый индивид понял бы, что он ничего не приобретет от посягательства на свободу другого. Здесь либералы проявляют себя как неисправимые оптимисты и даже утописты. Тем временем либеральные общества в столкновениях с врагами выживают лишь благодаря жертвам, которые в определенные моменты приносит часть их членов, — явление, недоступное для либеральной мысли и понятное только через обращение к внешним по отношению к этой системе чувствам: преданности, самоотверженности, даже героизму. Словом, либеральные общества существуют благодаря некоей *virtus ex machina*[9], которую они заимствуют из старых способов мысли. Иначе говоря, либеральное общество не может быть только либеральным. Арифметика интересов, которую оно предполагает, чисто умозрительна. Фактически либерализм паразитирует на предшествовавших ему обществах.

И здесь мы подходим к тому, что, по нашему мнению, составляет ядро книги, — к идее моральности. Это впечатление подтверждается признанием Сореля в письме Бенедетто Кроче от 6 мая 1907 года: «Вы правильно поняли главную заботу всей моей жизни — историческое развитие морали».

В самом деле, у либерализма и исторического материализма есть общая черта — неспособность ответить на вопрос о том, как рождается мораль и как она сохраняется у разных народов. Все экономистские объяснения, которые приводились в рамках одной из этих систем, неизменно делают из морали некое отражение, побочный продукт или даже иллюзию — такой точкой зрения Сорель удовлетвориться не мог. По образцу многих реакционных или просто пессимистичных мыслителей своего времени — например, итальянских неомакиавеллистов, как Моска или Парето, — он был озабочен проблемой разложения и считал, что причина упадка обществ, а точнее господствующих классов в этих обществах, сводится в конечном счете к моральной несостоятельности, самый бесспорный признак которой — отказ от борьбы. Когда господствующий класс систематически стремится к примирению с противниками и ставит социальный мир выше собственных интересов, это означает, что он скоро перестанет играть историческую роль. Как может прерваться этот энтропический процесс? Под

9 Virtus ex machina (лат. «добродетель из машины», по аналогии с крылатым выражением deus ex machina, «бог из машины») — добродетель, неожиданно проявляющаяся в нужные моменты. — *Прим. ред.*

влиянием либо мощной внешней угрозы — войны, — либо внутренней опасности — мобилизации пролетариата. Оставим в стороне войну, которая упоминается здесь мимоходом, — влияние Прудона очевидно и проявляется, выражаясь его словами, очень «по-интеллектуалистски». К счастью, в 1914 году Сорель будет рассуждать иначе.

Однако в 1907 году он убежден, что только распространение пролетарского насилия — то есть мощная практика классовой борьбы — способно остановить упадок и вернуть буржуазии чувство своего класса (с. 86). Впрочем, верен и симметричный вывод: «чем пламеннее будет отстаивать капитализм буржуазия, тем воинственнее будет настроен пролетариат, тем крепче он будет верить в силу революции и тем больше выиграет движение» (с. 90), — здесь явственно слышен отголосок очень популярного тогда в ВКТ понятия «революционная гимнастика», то есть стачки, не ориентированной на переговоры и намеренно выбирающей требования, ведущие к разрыву. Немного позже (1909–1910), в примечательных статьях для Vie ouvrière[10], Виктор Гриффюэль, который незадолго до этого покинул секретариат ВКТ, высказывает надежду на новый капитализм — динамичный, предприимчивый, «американский», — так как только он может сделать рабочий класс достаточно многочисленным и воинственным. Таким образом, некоторое время, пока пути пролетариата и крупного капитала не расходятся, у них есть общие интересы. Было ли это влияние Сореля на лидеров ВКТ, или же наоборот? Мы бы не удивились, если бы оказалось, что, взяв себе за правило быть исследователем, а не вдохновителем, Сорель все же сознательно вышел за рамки своей скромной роли секретаря организованного пролетариата.

К чему приведет лобовое столкновение, на которое он надеется? Ответ неясен, как неясны и его предпочтения. Консервативный ли он моралист, который парадоксальным образом, что, впрочем, не заставляет его отступить, поручает рабочему классу миссию спасения буржуазии от упадка, — или же он последовательный марксист, ждущий прихода пролетариата после окончательного завершения буржуазного цикла? У Сореля есть черты и консерватора, и революционера, и, по-видимому, он действительно колебался между двумя этими точками зрения. Ничто не мешает нам полагать, что в рабочем порядке в этой сфере он опирался на дарвинистскую мораль с небольшой долей

10 La Vie ouvrière — двухнедельный журнал, основанный в 1909 г. и ставший позже печатным органом ВКТ. — *Прим. ред.*

ницшеанства: главное, чтобы борьба завязалась. И пусть победит сильнейший!

«Революция будет моральной, или ее не будет вовсе» — эти слова принадлежат Пеги, но их мог бы сказать и Сорель. Для Пеги революция — не отрицание традиции, но обращение искаженной традиции к традиции более высокой, и он вполне мог наряду с Пеллутье вдохновить в этом Сореля. История показывает, что в начале XX века еще встречались люди, для которых революция была не отрицанием индивидуализма, а его завершением, не триумфом цинизма, а его изгнанием. Здесь присутствует героический, по выражению Сореля, взгляд на судьбу человечества, непонятный нашим современникам, но в чем-то близкий таким мыслителям, как Маркс, Карлейль и Ренан, — словом, черта эпохи, родственная сотериологическому мировоззрению, унаследованному от христианства. Человек — падшее создание, человечество нуждается в спасении. Ничего общего с самодостаточностью — или самодовольством? — характерной для нашей современности.

За этим приматом моральности стоит двойная позиция: пессимистической убежденности и эстетического поиска.

По первому вопросу мы можем только отослать читателя к открывающему эту книгу письму к Даниэлю Галеви. Там есть несколько пророческих страниц, которые предостерегают от опасностей оптимизма в политике, предсказывают наступление нашей разочарованной эпохи почти за сто лет до ее начала — и относятся к самым сильным страницам, написанным Сорелем. Там он объясняет, что пессимистические исследования политической морали — это полная противоположность кровавому культу добродетели, господствовавшему во времена революций: «[мы] чаще всего используем это слово совершенно неправильно, называя пессимистами утративших иллюзии оптимистов» (с. 33).

Так что же такое пессимизм по Сорелю? Это мощное и без преувеличения религиозное переживание ничтожности человеческого существа. Вообще говоря, вся эта концепция находится под интеллектуальным влиянием Паскаля, которого Сорель много цитирует и которым безмерно восхищается. Об этом можно судить, например, по следующему важнейшему фрагменту: «Пессимизм — это не столько теория, объясняющая мир, сколько метафизика нравов. Это концепция *движения к избавлению*, тесно связанная, с одной стороны… с чувством социального детерминизма, — с другой стороны, с глубоким убеждением в нашей естественной слабости» (с. 34). Разумеется, этот убежденный

атеист неслучайно использует здесь паскалевский лексикон и эсхатологическим языком описывает «движение к избавлению». Это выражение заимствовано у Паскаля и Клоделя. «Нужно говорить не „освобождение", а „избавление"», — осторожно заметил однажды Морис Клавель[11], когда мы с ним говорили о философских проблемах отчуждения. Пессимизм Сореля удерживается на полдороге между Марксом и Паскалем: у первого он взял идею о своеобразном железном законе социальных условий, от которого невозможно освободиться, как пытаются сделать оптимисты, через поиски козла отпущения, а у второго — мысль, что нынешнее положение человека — это немощь и несвобода (молодой Маркс сказал бы «отчуждение»), но человечество движется к избавлению. Вот почему для Сореля так важен вопрос искупления. Самопожертвование Иисуса обычно считается следствием первородного греха. Сорель же действует очень оригинально: он меняет местами причину и следствие и высказывает предположение, что это невиданная жертва Иисуса и открытый ею путь к избавлению потребовали задним числом выдвинуть гипотезу первородного греха как великого преступления человечества.

Другой источник любви Сореля к насилию, по-моему, следует искать в эстетическом экзистенциальном чувстве, которое заставляло его, как и многих интеллектуалов, ненавидеть буржуа, буржуазный образ жизни и, главное, образ мысли. Причина того, что на протяжении истории среди интеллектуалов находилось так мало защитников демократии и так много ее ярых противников, в том, что демократия — это в полном смысле слова компромиссная политическая форма, то есть нечто интеллектуально незавершенное и эстетически приблизительное. Специфическая антибуржуазная ярость Сартра в его знаменитом предисловии к «Проклятьем заклейменным» Франца Фанона (а это предисловие в тысячу раз больше «Размышлений» Сореля заслуживает принадлежности к классике текстов о насилии) имеет скорее моральную и эстетическую, чем политическую природу. Так же и Сорель, совершая чудовищную ошибку и называя Бельгию принадлежащей «к числу стран с крайне слабым профсоюзным движением» (с. 155), сокрушается о том, что организация социализма там опирается на «булочные, бакалейные и мелочные лавки», и его слова и переживания по этому поводу, вопреки его собственному

11 Морис Клавель (Maurice Clavel, 1920–1979) — писатель, журналист и философ, католик, сочетавший голлистские и маоистские взгляды, один из основателей газеты Libération (буквальный перевод названия — «освобождение»). — *Прим. ред.*

утверждению, ближе к дендизму Бодлера, чем к социологическому анализу.

Иррационализм ли это — большой вопрос. До сих пор я старался показать, что такое на самом деле «Размышления», и поэтому должен был защищать книгу от ложных интерпретаций, жертвой которых она стала. Но если говорить об иррационализме, признаюсь, у меня возникают сомнения.

Все, кто внимательно читал Сореля, знают, что в сфере теории познания он был глубоким и решительным рационалистом. Его полемика с «мелкой наукой», то есть позитивизмом, не должна вводить нас в заблуждение. Сорель осуждает позитивистов за картезианское представление, что сложное целое можно разложить на простые элементы. На это механистическое воззрение Сорель возражает, что во всякой сложной совокупности есть «ясная область и область темная» (с. 144) и что наука должна рассматривать сложность как таковую, не задерживаясь на самых ясных и простых частях каждой дисциплины. Примеры, которые он приводит, не лишены интереса. Так, в морали есть область справедливости («справедливые отношения» между людьми), в основе которой у разных культур лежат приблизительно одни и те же принципы, — следовательно, она не представляет большой теоретической трудности. Иначе дело обстоит с сексуальной моралью: ее правила, говорит Сорель, сильно различаются у разных народов, а значит, их понимание требует длительного изучения. В данном случае «ясность оказывается ловушкой» (с. 145). Исследование глубинной психологии, великим инициатором которого стал Фрейд, является, несомненно, одной из основных характеристик XX века, подтвердившей догадки Сореля и показавшей, что иррациональное можно изучать рационально. Точно так же и в сфере права Сорель противопоставляет ясной зоне — долговым обязательствам — зону темную — семейные отношения, — а в политэкономии ясной зоне товарного обмена темную зону производства. Во всех этих сферах естественное стремление Сореля доходить до самого сложного и противоречивого аспекта не имеет ничего общего с иррационализмом.

Так ли обстоят дела в сфере политического действия? Сорель, конечно, был прав, выделяя, как и другие аналитики его времени, например Гюстав Лебон, иррациональные движущие силы масс. Он почувствовал, что демократия, превратив политику во всеобщее дело, запустила механизмы, которыми она не всегда может управлять. Но разве сам он в теории мифа не проявил опасного сочувствия к предмету своих исследований? Ответ очевиден, и именно это до

сих пор успешно эксплуатируют, читая его, реакционеры и фашисты. Сорель слишком близко подошел к ключевым вопросам начинавшегося века, чтобы избежать упреков со стороны потомков. Беря на себя всевозможные риски, он, конечно, подверг им и читателя. Но кто сказал, что можно мыслить безнаказанно?

Памяти подруги моей юности
я посвящаю эту книгу,
пронизанную ее духом

ВВЕДЕНИЕ

Письмо к Даниэлю Галеви[12]

Дорогой Галеви.

Я, несомненно, оставил бы эти исследования погребенными в подшивке какого-нибудь журнала, если бы несколько друзей, мнением которых я весьма дорожу, не сочли, что мне следует представить рассмотрению широкой публики рассуждения, которые могли бы пролить свет на одно из самых своеобразных общественных явлений, упоминаемых в истории. Однако мне показалось, что я должен дать этой публике несколько объяснений, так как я не могу надеяться на то, что буду часто находить столь же снисходительных судей, каким были Вы.

Публикуя в Le Mouvement socialiste[13] статьи, которые теперь будут собраны в одном томе, я не имел намерения написать книгу. Я лишь записывал мало-помалу размышления, приходившие мне на ум; я знал, что подписчики этого журнала поймут меня без труда, так как они хорошо знакомы с теориями, которые вот уже несколько лет развивают на его страницах мои друзья. Однако читатели этой книги, как я полагаю, напротив, пришли бы в замешательство, не обратись я к ним с речью в свою защиту, чтобы помочь им увидеть вещи с привычной для меня точки зрения. В ходе наших бесед Вы сделали ряд замечаний, столь хорошо вписавшихся в систему моих мыслей, что, приняв их во внимание, я решил углубить рассмотрение нескольких интересных вопросов. Я убежден, что рассуждения, которые я предлагаю ниже Вашему вниманию и на которые Вы меня натолкнули, будут весьма полезны для тех, кто захочет с пользой для себя прочесть эту книгу.

Вероятно, немного найдется произведений, в которых с большей очевидностью выявлялись бы недостатки моего способа письма; меня неоднократно упрекали за то, что я не соблюдаю правил искусства, которым подчиняются все наши современники, и тем самым докучаю читателям беспорядочностью изложения. Я постарался сделать текст яснее, внеся в него множество отдельных исправлений, но не сумел избавиться от беспорядочности. Я не хочу приводить

---

12 Даниэль Галеви (Daniel Halévy, 1872–1962) — историк и эссеист, автор исследований Ницше, Пеги, Прудона и др. — *Прим. ред.*

13 Le Mouvement socialiste — теоретический журнал, посвященный социализму, позже — революционному синдикализму; влиятельное издание в истории французского социализма. Основано Юбером Лагарделем в 1899 г. и выходило вплоть до 1914 г. — *Прим. ред.*

в свою защиту примеры великих писателей, которых порицали за отсутствие чувства композиции — так, Артюр Шюке говорит о Ж.-Ж. Руссо: «Этим произведениям недостает чувства совокупности, упорядоченности, той связности частей, которая и образует целое»[14]. Недостатки знаменитых людей не могут оправдать ошибки людей малоизвестных, и я полагаю, что лучше откровенно рассказать о происхождении неисправимого изъяна моих писаний.

Принудительное насаждение правил искусства началось не так давно, и современные авторы приняли их, кажется, без особого труда, поскольку они хотят нравиться торопливой публике, зачастую весьма рассеянной и даже стремящейся прежде всего избавить себя от всяких самостоятельных исканий. Поначалу эти правила применялись изготовителями учебников. Когда было решено пичкать учеников бесконечными объемами знаний, понадобилось дать им учебники, соответствующие такому сверхбыстрому образованию, и всё потребовалось излагать в форме столь ясной, последовательной и пригодной для устранения всяких сомнений, что начинающий теперь дошел до того, что полагает, будто наука гораздо проще, чем считали наши отцы. За короткое время ум получает обильную оснастку, но не обеспечивается инструментарием, способным облегчить самостоятельный труд. Этим методам стали подражать популяризаторы и политические публицисты[15]. Видя столь широкое их применение, люди, не склонные к размышлению, теперь предполагают, что эти правила основаны на самой природе вещей.

Я не преподаватель, не популяризатор и не кандидат в руководители партии; я самоучка, предлагающий вниманию нескольких людей тетради, послужившие моему собственному образованию. Вот почему правила искусства меня никогда особенно не интересовали.

Двадцать лет я старался освободиться от того, что помнил из лет учения; я читал книги из чистой любознательности — не столько ради образования, сколько ради очищения памяти от навязанных ей представлений. Последние же лет пятнадцать я серьезно занимаюсь своим образованием — но я никогда не находил людей, которые преподавали бы мне то, что я хотел бы знать, поэтому мне пришлось стать

---

14 *Chuquet A.*, Jean-Jacques Rousseau, p. 179.

15 Напомню здесь высказывание Ренана: «Чтобы быть полезным, чтение должно представлять собой упражнение, имеющее в виду некоторый труд» (*Feuilles détachées*, p. 231 [1075]). [Первая страничная отсылка относится к изданию, цитируемому Сорелем; вторая, в квадратных скобках, — к современному переизданию. — *Прим. ред.*]

своим собственным наставником и, так сказать, давать самому себе уроки. Я надиктовываю для себя тетради, где излагаю свои мысли в той форме, в какой они возникают, по три-четыре раза возвращаюсь к одному и тому же вопросу, постепенно развертывая мысль, а иногда и совершенно ее видоизменяя. Останавливаюсь я тогда, когда полностью исчерпаю запас замечаний, родившихся из размышлений над недавно прочитанным. Эта работа чрезвычайно кропотлива, поэтому в своих рассуждениях я предпочитаю отталкиваться от книг, написанных хорошими авторами, — так мне легче сохранить стройность мысли, чем когда в моем распоряжении есть лишь мои собственные силы.

Вы помните, что Бергсон писал о безличном, *шаблонном* — об общем достоянии, которое содержит в себе наставление, обращенное к ученикам, нуждающимся в знаниях для практической жизни. Ученик больше доверяет передаваемым ему формулировкам и, следовательно, легче их заучивает, если полагает, что их разделяет большинство, — таким образом из его ума устраняют всякий интерес к метафизике, приучая его не стремиться к самостоятельному познанию; часто он доходит до того, что считает достоинством отсутствие малейшей изобретательности.

Мой способ работы прямо противоположен такому подходу: я предлагаю вниманию читателей усилие мысли, стремящейся вырваться из оков заранее выстроенных для общего пользования представлений и пуститься в самостоятельные изыскания. Мне кажется по-настоящему интересным записывать в тетрадях лишь то, что я не встречал у других; переходы от одной мысли к другой я нередко опускаю, так как они почти всегда принадлежат к разряду общих мест.

Тому, кто сильно занят метафизикой, всегда сложно выразить свою мысль: он считает, что речь искажает самые глубокие ее аспекты, те, что ближе всего к ее движущей силе, те, что кажутся ему настолько естественными, что он никогда не стремится выражать их. Читателю понимание мысли такого автора дается с громадным трудом, так как для этого приходится вновь отыскать пройденный им путь. Устное общение намного проще письменного, так как речь таинственным образом воздействует на чувства и без труда устанавливает между людьми симпатическую связь — именно так оратор может убедить аудиторию доводами, которые покажутся сложными для понимания тому, кто впоследствии прочтет его речь. Вы знаете, как полезно послушать Бергсона, чтобы ознакомиться с основаниями его учения и верно понимать его книги, — те, кто привык

посещать его лекции, узнают ход его мысли, и им легче разобраться в новшествах его философии.

Из-за недостатков моего способа изложения я никогда не буду иметь доступа к широкой публике, но я полагаю, что следует довольствоваться местом, которое назначили нам природа и обстоятельства, не пытаясь сделать больше, чем позволяют наши способности. В мире существует необходимое разделение занятий, и хорошо, что некоторые из нас находят удовольствие в том, чтобы трудиться ради представления своих размышлений на суд узкому кругу созерцателей, тогда как другие предпочитают обращаться к массам торопливых людей. В конечном итоге, я не считаю свою долю наихудшей, так как я не подвергаюсь опасности стать собственным учеником, как произошло с величайшими философами, обрекшими себя на придание безукоризненно правильной формы своим догадкам и предчувствиям. Вы, конечно, помните, с какой презрительной усмешкой Бергсон говорил об этом вырождении гения. Я же настолько неспособен сделаться собственным учеником, что не могу вернуться к старой работе, чтобы улучшить ее стиль и дополнить содержание. Мне довольно легко вносить в нее исправления и примечания; но все мои попытки заново продумать прошлое оказывались бесплодны.

Тем более я обречен никогда не становиться человеком школы[16]; но разве это такое уж большое несчастье? Ученики почти всегда оказывали пагубное влияние на мысль того, кого они называли своим наставником и кто зачастую чувствовал себя обязанным соответствовать их ожиданиям. Когда юные энтузиасты превратили Маркса в главу своей секты, то для него это, несомненно, стало подлинной катастрофой: Маркс сделал бы гораздо больше полезного, если бы не был рабом марксистов.

Многие насмехались над методом Гегеля, воображавшего, что человечество с самого своего возникновения шло к тому, чтобы породить гегелевскую философию — конечную

16 Здесь мне кажется интересным напомнить следующее размышление, позаимствованное из превосходной книги Ньюмена: «С нашей стороны будет мудро пользоваться языком в той мере, в какой это возможно, но стремясь посредством его поощрять в тех, к кому мы обращаемся, образ и направление мысли, схожие с нашими, увлекая их вперед при помощи их собственного самостоятельного действия, а не силлогистического принуждения. Отсюда следует, что всякая интеллектуальная школа будет носить некий эзотерический характер, так как она представляет собой союз мыслящих умов; их связь заключена в единстве мысли; их слова становятся своего рода *тессерой* [тессера — жетон, в обмен на который в Древнем Риме выдавались деньги или зерно. — *Прим. ред.*], не выражающей мысль, но символизирующей ее» (*Grammaire de l'assentiment*, trad. franç., p. 250). На деле школы едва ли напоминают идеал, нарисованный Ньюменом.

точку развития человеческого духа. Подобные иллюзии встречаются в той или иной мере у всех людей школы: ученики требуют от наставников, чтобы те положили конец эпохе сомнений и представили окончательные решения. У меня нет ни малейшей склонности выполнять подобную работу: всякий раз, как я приступал к рассмотрению какого-нибудь вопроса, я обнаруживал, что мои искания приводят к постановке новых проблем, вызывающих тем большее смятение, чем дальше я продвигаюсь в своих исследованиях. Но, может быть, заниматься философией как раз и означает вести разведку в тех безднах, между которых с лунатической безмятежностью петляет по проторенной дорожке заурядное.

Мои устремления направлены на то, чтобы хоть иногда пробуждать призвание. Вероятно, в душе каждого человека скрывается под пеплом метафизический очаг, которому тем более угрожает затухание, что ум слепо принимает большую массу готовых доктрин; пробуждает же человека тот, кто стряхивает этот пепел и раздувает пламя. Полагаю, что с моей стороны не будет пустым хвастовством сказать, что иногда мне удавалось пробудить в читателях дух изобретательности — а ведь именно этот дух изобретательности и следует в первую очередь пробуждать в людях. Лучше добиться этого результата, нежели получить банальное одобрение со стороны людей, которые повторяют затверженные фразы или закабаляют свою мысль в диспутах, ограниченных пределами какой-либо школы.

I

Мои «Размышления о насилии» вызвали у многих раздражение пессимизмом посылки, на которой они основываются, но я также знаю, что Вы отнюдь не разделяли это впечатление — в своей «Истории четырех лет» Вы блестяще доказали, что презираете обманчивые надежды, которым предаются слабые души. Мы, стало быть, можем свободно побеседовать о пессимизме, и я счастлив найти в Вас собеседника, согласного с этой доктриной, ведь без нее в мире никогда еще не создавалось ничего значительного. У меня давно уже сложилось ощущение, что греческая философия не дала больших моральных результатов именно потому, что была в целом весьма оптимистичной. У Сократа это иногда проявлялось до невыносимой степени.

Отвращение наших современников ко всякой пессимистической идее, вероятно, в во многом происходит от нашего образования. Иезуиты, создавшие почти всё, чему

и по сей день учат в университете, были оптимистами потому, что им требовалось бороться с пессимизмом, господствовавшим в протестантских теориях, и потому, что они занимались распространением идей Возрождения. В эпоху Возрождения античность интерпретировали через философов, и из-за этого шедевры трагического искусства были поняты так скверно, что нашим современникам пришлось потратить немало сил на то, чтобы переоткрыть их пессимистическое значение[17].

В начале XIX века поднялся хор стенаний, весьма способствовавший тому, что пессимизм стали считать отвратительным. Некоторые поэты, чье положение в действительности не всегда было плачевно, считали себя жертвами человеческой злобы, рока или же глупости наскучившего им света и охотно принимали вид Прометеев, призванных низложить ревнивых богов. Эти гордецы, подобные описанному Виктором Гюго свирепому Немроду[18], чьи стрелы, выпущенные в небо, падали окровавленными, воображали, будто их стихи наносят смертельные раны властям предержащим, у которых хватало дерзости не склоняться перед ними. Даже иудейские пророки не мечтали о таких разрушениях, чтобы отомстить своему Яхве, о каких мечтали эти литераторы, чтобы удовлетворить свое себялюбие. Когда эта мода на проклятия наконец прошла, разумные люди задумались, не был ли этот показной и фальшивый пессимизм последствием некоего душевного расстройства.

Громадные успехи, достигнутые материальной цивилизацией, заставили нас поверить, что счастье для всего человечества наступит само собой в очень близком будущем. «Наше время, — писал Гартман почти сорок лет назад, — представляет самое начало третьей стадии иллюзии; и читатели, конечно, захотят остаться детьми своего времени и с надеждою идти навстречу обетованиям золотого времени. Провидение заботится о том, чтобы антиципации мирного мыслителя не затруднили течение истории тем, что он преждевременно приобретет слишком много приверженцев».

---

17 «Печаль, ощутимая, словно *предчувствие*, во всех шедеврах греческого искусства, вопреки переполняющей их, на первый взгляд, энергии, [подтверждает], что гениальные художники даже в эту эпоху были способны преодолевать жизненные иллюзии, которым безудержно предавался гений их времени» (*E. Hartmann*, Philosophie de l'inconscient, trad. franç., tome II, p. 436 [Рус. пер.: *Гартман Э. фон.* Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: Метафизика бессознательного. М.: КРАСАНД, 2010. В русское издание не включена глава, содержащая вышеприведенный отрывок. — *Прим. ред.*]). Я хотел бы обратить внимание на эту концепцию исторического предвосхищения в гении великих эллинов: мало найдется учений более важных для понимания истории, чем теория предвосхищений, которой воспользовался Ньюмен в своем исследовании истории догм.

18 Немрод (Нимрод, Немврод) — библейский царь и охотник, один из персонажей поэмы В. Гюго «Конец Сатаны». — *Прим. ред.*

Поэтому Гартман полагал, что его читателям непросто будет согласиться с его критикой иллюзии грядущего счастья. Современных мыслителей на путь оптимизма толкают экономические силы[19].

Таким образом, мы настолько плохо подготовлены к пониманию пессимизма, что чаще всего используем это слово совершенно неправильно, называя пессимистами утративших иллюзии оптимистов. Когда мы видим, как человек совершенно несчастный в своих предприятиях, разочарованный в самых справедливых своих притязаниях, униженный в своих привязанностях дает выход страданиям в неистовом бунте против недобросовестности своих товарищей, глупости общества или слепоты судьбы, мы склонны считать его пессимистом — а ведь почти всегда в нем следует видеть отчаявшегося оптимиста, не нашедшего в себе достаточно храбрости, чтобы изменить направление своей мысли, и не понимающего, почему его постигают такие несчастья, вопреки общему порядку, определяющему наступление счастья.

Оптимист в политике — человек непостоянный и даже опасный, так как он не отдает себе отчета в масштабе трудностей, с которыми сопряжены его замыслы. Ему кажется, что эти замыслы обладают собственной силой, легко и естественно приводящей к их воплощению, поскольку они, по его мнению, направлены на то, чтобы увеличить число счастливых.

Часто ему кажется, что мелких реформ политического устройства и, прежде всего, изменений в составе правительства будет достаточно, чтобы направить общественное движение на смягчение тех ужасов, которые современный мир представляет на суд чувствительных душ. Стоит друзьям оптимиста прийти к власти, как он объявляет, что все должно идти своим чередом, что следует не торопиться и довольствоваться тем, что подсказывает им добрая воля; его удовлетворение диктуется ему не всегда одной лишь корыстью, как полагают многие, — вместе с корыстью в нем говорят себялюбие и иллюзии, порожденные пошлой философией. Оптимист с замечательной легкостью переходит от революционного гнева к самому комичному социальному пацифизму.

Если оптимист обладает пылким темпераментом и, на беду, оказывается наделен большой властью, позволяющей ему воплощать в жизнь придуманный им идеал, то он может привести свою страну к страшнейшим катастрофам.

---

19 *Гартман Э. фон.* Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: Метафизика бессознательного. М.: КРАСАНД, 2010. С. 346.

Он скоро признает, что общественные преобразования не происходят с той легкостью, на какую он рассчитывал, в своих неудачах он винит современников, вместо того чтобы объяснить ход вещей исторической необходимостью, и хочет уничтожить людей, чья злая воля кажется ему опасной для всеобщего счастья. Во время Террора больше всех крови проливали те, которые больше других стремились осчастливить себе подобных золотым веком, о котором они грезили, и больше других сочувствовали человеческим бедам, — чем больше эти чувствительные оптимисты и идеалисты жаждали всеобщего счастья, тем более безжалостно они действовали.

Пессимизм ничуть не похож на карикатуры, в каких его чаще всего представляют. Пессимизм — это не столько теория, объясняющая мир, сколько метафизика нравов; это концепция движения к избавлению, тесно связанная, с одной стороны, с приобретенным нами практическим знанием препятствий, стоящих на пути к удовлетворению наших мечтаний (или, если угодно, связанная с чувством социального детерминизма), с другой стороны, с глубоким убеждением в нашей естественной слабости. Три этих аспекта пессимизма никогда не следует разделять, хотя в повседневной жизни мы едва ли отдаем себе отчет в их тесной взаимосвязи.

1) Понятие «пессимизм» ввели историки литературы, удивленные жалобами великих античных поэтов на бедствия, непрерывно угрожающие человеку. Немного найдется людей, которым никогда не являлась удача, но нас окружают злые силы, постоянно выжидающие удобного момента, чтобы на нас обрушиться, — отсюда проистекают подлинные страдания, вызывающие сочувствие почти у всех, даже тех, кто сам пользуется благосклонностью фортуны; вот почему на протяжении почти всей истории трагизм в литературе пользуется таким успехом[20]. Но наше представление о пессимизме было бы крайне несовершенно, если бы мы рассматривали его в литературных произведениях такого типа: как правило, чтобы оценить ту или иную доктрину, недостаточно изучить ее ни абстрактно, ни даже у отдельно взятых сторонников — необходимо выяснить, как она проявляется в исторических группах, поэтому здесь нам нужно добавить два элемента, упомянутых выше.

2) С точки зрения пессимиста, социальные условия образуют систему, скрепляемую железным законом.

20 Жалобы мнимых отчаявшихся начала XIX века своим успехом отчасти обязаны тому, что имеют формальное сходство с подлинной пессимистической литературой.

Существование этой системы необходимо, и следует подчиняться всей ее совокупности, а исчезнуть она может лишь в результате катастрофы, которая разрушит ее до основания. Поэтому было бы абсурдным, принимая эту теорию, перекладывать на нескольких злосчастных ответственность за недуги, от которых страдает общество. Пессимисту несвойственно кровавое безумие оптимиста, приходящего в бешенство от непредвиденного сопротивления, на которое наталкиваются его замыслы, — пессимист совершенно не думает принести счастье грядущим поколениям, уничтожив нынешних эгоистов.

3) Наиболее глубокая черта пессимизма — то, как понимается стремление к избавлению. Человеку не удалось бы далеко продвинуться в изучении ни законов своего бедственного положения, ни законов рока, которые так оскорбляют наивность нашей гордыни, если бы он не надеялся победить эту тиранию, действуя вместе с целой группой товарищей. Христиане не рассуждали бы так много о первородном грехе, если бы не ощущали необходимости обосновать избавление (которое должна была даровать смерть Иисуса), утверждая, что этой жертвы требовало вмененное человечеству чудовищное преступление. Если людей Запада первородный грех волновал гораздо больше, чем людей Востока, то это связано не только с влиянием римского права, как полагал Тэн[21], но также и с тем, что латиняне, имея более сильное чувство имперского величия, нежели греки, видели в избавляющем самопожертвовании Сына Божьего подлинное чудо — отсюда следовала необходимость углубляться в тайны судьбы и человеческих страданий.

Мне кажется, что оптимизм греческих философов обусловлен во многом экономическими причинами; вероятно, он зародился среди городского населения, в слоях богатых торговцев, которые смотрели на мир как на громадную лавку, заполненную превосходными товарами, дававшими простор для удовлетворения любых их прихотей[22]. Греческий пессимизм, я полагаю, возник в племенах бедных, воинственных горцев, обладавших огромной аристократической гордыней, но живших, напротив, в весьма жалком положении. Поэты этих племен воспевали их, славословя их предков, и наполняли их сердца надеждами на

21 Taine, Le Régime moderne, tome II, p. 121–122 [vol. 2, p. 674].

22 Афинские комические поэты неоднократно изображали прекрасную страну, где больше не нужно трудиться (*Croiset A. et M.*, Histoire de la littérature grecque, tome III, p. 472–474).

победоносные походы под предводительством героических сверхлюдей. Жалкое положение, в котором они жили, поэты объясняли им рассказами о катастрофах, в борьбе с которыми пали их древние могучие вожди, сраженные роком или завистью богов. Храбрость воинов могла сменяться немощью, но лишь на краткое мгновение — они должны были хранить верность древним обычаям и быть в любой момент готовыми к великим и победоносным походам.

Весьма часто восточный аскетизм трактуют как наиболее заметное проявление пессимизма. Гартман, несомненно, справедливо полагает, что пессимизм имеет значение лишь как предвосхищение, напоминание людям об иллюзорности обыденных благ, однако он неправ, когда говорит, что аскетизм поставил людям «предел, которого должны достичь их усилия», и этот предел — упразднение воли[23]; так как освобождение в истории никогда не означало безволия.

В раннем христианстве мы находим вполне развитый и полностью оснащенный пессимизм: человек с рождения обречен на рабство; Сатана — князь мира сего; христианин, уже возрожденный крещением, может обрести воскресение плоти через евхаристию[24], он ожидает, когда Христос вернется во славе, чтобы победить сатанинский рок и призвать своих соратников в небесный Иерусалим. Вся жизнь христианина была подчинена необходимости быть частью святого воинства, постоянно рискующего попасть в сети, расставленные приспешниками Сатаны, — это представление стало причиной множества героических поступков, породило доблестное миссионерство и способствовало значительному моральному прогрессу. Избавления не произошло, но это время дало нам бесчисленные свидетельства того, что стремление к избавлению может приносить великие плоды.

Кальвинизм XVI века являет нам зрелище, может быть, еще более поучительное, однако здесь нужно проявлять осторожность и не смешивать его с современным протестантизмом, как делают многие авторы. Две эти доктрины полностью противоположны друг другу, и я не могу согласиться с Гартманом в том, что протестантизм — «привал в путешествии подлинного христианства» и что он «породнился с возрождением древнего язычества»[25]: эти

---

23 *Hartmann*, op. cit., p. 492. «Презрению к миру в сочетании с трансцендентной жизнью духа следовало в Индии эзотерическое учение буддизма. Но это учение было доступно лишь ограниченному кругу посвященных, давших обет безбрачия. Внешний мир воспринял из него лишь букву, которая мертвит, и влияние его проявлялось лишь в диковинных формах жизни отшельников и кающихся» (p. 439).

24 *Batiffol*, Études d'histoire et de théologie positive, 2^{e} série, p. 162.

25 *Hartmann*, La Religion de l'avenir, trad. franç., p. 27, p. 21.

оценки приложимы лишь к новейшему протестантизму, променявшему собственные основания на принципы Возрождения. Пессимизм никоим образом не находился в русле идей Возрождения[26], однако никто не утверждал его столь настойчиво, как реформаты. Они довели до крайности догмы греха и предопределения, соответствующие двум первым аспектам пессимизма: страданиям рода человеческого и социальному детерминизму. Что же касается избавления, то оно стало пониматься совершенно иначе, чем в раннем христианстве: протестанты объединялись в военные организации повсюду, где это было возможно, и совершали набеги на католические страны, изгоняя священников, насаждая свою религию и вводя законы о высылке папистов. Из апокалипсисов они заимствовали лишь идею последней и великой катастрофы, в которой сподвижники Христа, столь долго отражавшие сатанинские атаки, будут лишь зрителями. Взращенные на чтении Ветхого Завета, протестанты желали подражать подвигам древних покорителей Святой Земли и поэтому шли в наступление, стремясь силой установить Царство Небесное. И они в самом деле устраивали катастрофический переворот в каждом покоренном поселении, меняя до основания весь уклад местной жизни.

В конце концов кальвинизм был побежден Возрождением. Он был полон средневековых теологических воззрений, и пришел день, когда кальвинисты стали бояться, что их сочтут отсталыми. Они хотели идти в ногу с современной культурой, а кончили тем, что превратили свою религию в облегченное христианство[27]. Сегодня лишь немногие имеют представление о том, что реформаторы XVI века понимали под свободой суждения; протестанты применяют к Библии методы, которые филологи применяют к любому светскому тексту, а экзегеза Кальвина уступила место гуманистической критике.

Летописец, который лишь записывает происходящие события, склонен смотреть на избавление как на мечту или заблуждение, но взгляд подлинного историка не таков: если он хочет знать, каково было влияние кальвинистского духа на мораль, право или литературу, ему неизбежно

---

26 «В эту эпоху начался конфликт между языческой любовью к жизни и презрением к миру, бегством от мира, свойственным христианству» (ibid., p. 126). Это языческое представление можно обнаружить в либеральном протестантизме, и поэтому Гартман с полным на то основанием не относит его к религиям. Однако в XVIII веке на это смотрели иначе.

27 Если социализм погибнет, то, очевидно, по той же причине — испугавшись собственного варварства.

приходится заняться рассмотрением того, как влияло на мысль ранних протестантов стремление к избавлению. Опыт той великой эпохи весьма наглядно показывает, что чувство борьбы, сопровождающее эту *волю к избавлению*, может принести человеку благородного духа достаточно удовлетворения, чтобы поддержать его пыл. Поэтому я полагаю, эта история прекрасно иллюстрирует когда-то высказанную Вами мысль, что легенда о Вечном жиде есть символ самых возвышенных чаяний человечества, обреченного вечно блуждать, не ведая покоя.

II

Мои тезисы покоробили и тех, кто так или иначе находился под влиянием идей о естественном праве, внушаемых нашим образованием, — а среди просвещенных людей лишь немногие сумели освободиться от этих представлений. Философия естественного права прекрасно согласуется с понятием силы (в том особом смысле, который я придаю этому слову в главе V, § IV), однако она не может быть совмещена с моим пониманием исторической роли насилия. Школьные доктрины естественного права исчерпывались бы простой тавтологией: справедливое есть благо, а несправедливое — зло, — если бы мы всегда молчаливо не предполагали, что справедливое приспосабливается к тому, что происходит в мире самопроизвольно, автоматически. Так, экономисты длительное время утверждали, что отношения, порожденные в условиях конкуренции при капиталистическом строе, совершенно справедливы, поскольку проистекают из *естественного* хода вещей, а утописты всегда утверждали, что наличный мир — *недостаточно естественный*, и поэтому стремились представить картину общества, лучше отлаженного, лучше работающего автоматически, а значит, и более справедливого.

Я не могу отказать себе в удовольствии сослаться на некоторые из «Мыслей» Паскаля, которые привели его современников в страшное замешательство и были должным образом поняты лишь в наши дни. Паскаль с большим трудом избавлялся от представлений о естественном праве, которые он находил у философов. Отбросил он эти идеи потому, что считал их недостаточно проникнутыми духом христианства: «Я провел большую часть моей жизни, — говорит он, — в убеждении, что справедливость существует, и в этом я не ошибался, ибо она действительно есть — постольку, поскольку Бог пожелал нам ее открыть» (фрагмент

375 по изданию Брунсвика[28]); «Разумеется, естественные законы существуют, но этот хваленый разум, сам извращенный, извратил и все вокруг»[29] (фрагмент 294[30]); «*Veri juris*. Его у нас больше нет» (фрагмент 297[31]).

Впрочем, наблюдение покажет Паскалю абсурдность теории естественного права. Если бы она была верна, мы нашли бы несколько законов, которые действовали бы повсеместно. Однако многие действия, в которых мы видим преступления, когда-то считались добродетельными: «...три градуса широты переворачивают всю юриспруденцию, истина зависит от меридиана. За несколько лет употребления меняются основные законы, у права есть свои эпохи, вхождение Сатурна в созвездие Льва обозначает рождение такого-то преступления. Хороша справедливость, которой речка кладет предел. Истина по сю сторону Пиренеев, заблуждение по другую... Говорят, надо обращаться к изначальным, первейшим законам государства, которые ложный обычай отменил. Это верное средство все разрушить» (фрагмент 294; ср. фрагмент 375).

В отсутствие всякой возможности рассуждать о справедливости нам остается полагаться на обычай, и Паскаль часто пользуется этим правилом (фрагменты 294, 297, 299, 309, 312). Более того, он показывает, что справедливость практически зависит от силы: «О справедливости можно спорить — сила очевидна и бесспорна. Поэтому нельзя было придать силу справедливости, ибо сила восстала против справедливости и заявила, что справедлива не справедливость, а она, сила. И вот, не сумев сделать справедливость сильною, мы сделали так, будто сила справедлива» (фрагмент 298[32]; ср. фрагменты 302, 303, 306, 307, 311).

Такая критика естественного права не обладает той абсолютной ясностью, какой мы могли бы добиться сегодня, когда мы знаем, что тип силы, достигшей полностью автоматического режима действия и тем самым естественно отождествляющейся с правом, следует искать в экономике, — тогда как Паскаль смешивает все проявления силы, относя их к одной разновидности[33].

---

28 Рус. пер.: *Паскаль Б.* Мысли / Пер. с фр., вступ. статья, коммент. Ю.А. Гинзбург. — М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. С. 238. — *Прим. ред.*

29 Мне кажется, что издатели 1670 г. испугались кальвинизма Паскаля, и меня удивляет, что Сент-Бёв ограничился лишь утверждением, что «в христианстве Паскаля было нечто недоступное разуму издателей [...], в чем у Паскаля была еще большая потребность, нежели в том, чтобы быть христианином». (Port-Royal, tome III, p. 383 [vol. 2, p. 347–348].)

30 Там же, с. 93. — *Прим. ред.*

31 Лат. «об истинном праве». Там же, с. 99. — *Прим. ред.*

32 Там же, с. 103. — *Прим. ред.*

33 Ср. мои размышления о силе в главе V.

Изменения, которые претерпевает со временем право, поражали Паскаля и продолжают приводить в замешательство философов: одна внутренне согласованная социальная система разрушается революцией и уступает место другой системе, которую находят столь же разумной, и то, что когда-то было справедливым, становится несправедливым. Философы не скупились на софизмы, чтобы доказать, что во время революций силу ставили на службу справедливости, и хотя было неоднократно доказано, что эти рассуждения абсурдны, но публика все не решается расстаться с ними — настолько она привыкла верить в естественное право!

Естественным правом хотят объяснять даже войну: ее уподобляют суду, в котором народ отстаивает право, неведомое соседу-злодею. Наши предки охотно признавали, что Бог решает распри и битвы в пользу правого. К побежденному следовало относиться как к проигравшему в суде: он должен был уплатить военные издержки и предоставить победителю гарантии, что тот сможет мирно осуществлять свои восстановленные права. Сегодня многие предлагают решать международные конфликты арбитражными судами — это было бы секуляризацией древней мифологии[34].

Сторонники естественного права не являются ярыми противниками ни гражданских войн, ни особенно бурных демонстраций — мы видели этому немало доказательств в ходе дела Дрейфуса. Когда армия и полиция оказываются в руках их противников, они довольно охотно соглашаются, что эти подразделения применяются против справедливости, и тогда доказывают, что вполне допустимо выйти за пределы законности, чтобы вернуться в пределы права (по выражению бонапартистов). Не имея возможности сбросить правительство, они стремятся, по крайней мере, навести на него страх. Но борясь таким образом с теми, кто направляет вооруженные силы, они нисколько не желают эти силы упразднить, так как хотят когда-нибудь использовать их ради своей выгоды. Вот почему все революционные потрясения XIX века заканчивались укреплением государства.

Пролетарское насилие преобразует все конфликты, в которых проявляется, так как отрицает силы, организованные буржуазией, и стремится упразднить государство, формирующее ядро этих сил. В таких условиях больше нет

---

34 Мне не удается найти идею международного арбитража у Паскаля во фрагменте 296, где некоторые ее обнаруживают. Паскаль там лишь отмечает смехотворность притязаний, которые в его время выдвигали в своих манифестах все, кто вел войну, стремясь заклеймить действия противника именем права.

возможности рассуждать об изначальных правах человека. Вот почему все наши парламентские социалисты — а это дети буржуазии, не знающие ничего, кроме государственной идеологии, — теряются, сталкиваясь с пролетарским насилием.

В этом случае они не могут использовать общие места, которыми обычно пользуются, говоря о силе, и с ужасом смотрят на движения, которые в итоге могут разрушить институты, обеспечивающие их существование: революционный синдикализм — это конец речей об имманентной Справедливости, конец парламентского режима на службе у Интеллектуалов — страшнейшая беда! Поэтому не стоит удивляться их гневу, когда они говорят о насилии.

5 июня 1907 года, давая показания в суде присяжных департамента Сены на процессе Буске–Леви[35], Жорес сказал: «Я не испытываю суеверного трепета перед законностью. Она знала столько поражений! Но я всегда советую рабочим пользоваться законными средствами, ведь *насилие есть признак временной слабости*». Здесь мы находим весьма очевидную отсылку к делу Дрейфуса — Жорес вспоминает, что его сторонникам пришлось прибегнуть к революционным манифестациям, — и понимаем, что после этого дела у него не осталось особенного почтения к законности, так как она вошла в противоречие с тем, что, как он полагал, является правом.

Жорес уподобляет положение синдикалистов ситуации, в которой находились дрейфусары: в данный момент они слабы, но рано или поздно им предстоит взять в свои руки армию и полицию, и поэтому с их стороны было бы весьма неосторожно уничтожить насильственным путем ту силу, которая будет им принадлежать. Возможно, иногда им случалось сожалеть, что дрейфусарская агитация слишком уж потрясла государство, подобно тому как Гамбетта сожалел, что правительство утратило былой престиж и дисциплину.

---

35 Амедей Буске (Amédée Bousquet) и Альбер Леви (Albert Lévy) — активисты ВКТ, арестованные в ночь на 1 мая 1907 г. в рамках репрессивной кампании против ВКТ, развернутой Клемансо после забастовки парижских электриков 8 марта того же года. 7 июня они были приговорены к двум годам тюрьмы «за подстрекательство к воровству, убийству и грабежу». — *Прим. ред.*

У одного из самых элегантных министров Республики[36] вошло в привычку сочинять высокопарные изречения, направленные против сторонников насилия: Вивиани очаровывает депутатов, сенаторов и чиновников, созванных для того, чтобы восхищаться Его Превосходительством во время его поездок, рассказывая им, что насилие — это карикатура или же «падшая дочь и выродок силы». Раньше он похвалялся, что величественным жестом погасил небесные огни, теперь же принимает вид матадора, к стопам которого вот-вот упадет разъяренный бык[37]. Если бы у меня было больше литературного тщеславия, я охотно воображал бы, что это именно обо мне думал этот *прекрасный социалист*, когда сказал в Сенате 16 ноября 1906 года, что «не следует принимать одного *крикуна* за партию, а одно *дерзкое заявление* — за систему воззрений». После удовольствия получить признание разумных людей нет большего удовольствия, чем не быть понятым головотяпами, которые могут лишь тарабарщиной выражать то, что заменяет им мысли, — однако у меня есть все основания предполагать, что в блестящем окружении этого *ярмарочного зазывалы*[38] никто и не слышал о Le Mouvement socialiste. Если вы чувствуете себя достаточно хорошо организованными, чтобы одержать верх над государством, то нужно восставать — вот мораль, которую усматривают у нас Вивиани и его помощники из канцелярии. Но пролетарское насилие, не преследующее таких целей, было бы лишь безумием и отвратительной карикатурой на бунт. Делайте всё, что вам угодно, только оставьте нам наши привилегии!

---

36 Газета Le Petit Parisien, которую мы всегда охотно цитировали как справочник по демократической глупости, учит нас, что сегодня «презрительное определение, которое дал элегантный и *аморальный* г-н де Морни: «*Республиканцы — это люди, которые плохо одеваются*», — похоже, совершенно безосновательно». Я позаимствовал это философическое наблюдение из восторженного отчета о свадьбе милейшего министра Клемантеля (22 октября 1905 г.). Меня же это прекрасно осведомленное издание обвиняло в том, что я даю рабочим *бандитские* советы (7 апреля 1907 г.)

37 «С насилием, — сказал Вивиани в Сенате 16 ноября 1906 г., — я сталкивался лицом к лицу. На протяжении долгих дней я находился среди тысяч людей, носивших на лицах следы пугающего неистовства. Я стоял в самой их гуще и смотрел им в глаза». Так он хвалился своей победой над забастовщиками заводов Крезо.

38 В той же речи Вивиани упорно настаивал на том, что он социалист, и заявил, что намеревается «оставаться верным тому идеалу, которым он руководствовался в первые годы своего гражданского служения». Согласно брошюре, опубликованной в 1897 г. германофилами под заглавием «Истина о социалистическом союзе», этим идеалом был оппортунизм. Переехав из Алжира в Париж, Вивиани, по мнению авторов, превратился в социалиста, и новую его позицию эта брошюра объявляет лживой. Это произведение, несомненно, сочинили *крикуны*, ничего не смыслящие в элегантности.

III

В ходе изысканий я обнаружил факт, который казался мне настолько простым, что я не считал нужным заострять на нем внимание: участники крупных общественных движений представляют себе ближайшие свои действия в виде битв, которые принесут их делу победу. Эти важные для историка конструкции[39] я предлагал называть *мифами* — так, всеобщая стачка синдикалистов и катастрофическая революция Маркса суть мифы. В качестве выдающихся примеров я привел мифы, созданные ранним христианством, Реформацией, Революцией, мадзинистами. Я хотел показать, что такие системы образов не следует пытаться анализировать, разлагать на составные части, что их нужно рассматривать в целом, как исторические силы, и что особенно следует остерегаться сравнивать свершившиеся факты с представлениями, принятыми на веру до совершения действия.

Я мог бы привести и другой пример, возможно, еще более яркий: католики не падали духом даже в минуты тяжелейших испытаний, так как представляли себе историю церкви как череду битв между Сатаной и силами Христа. Каждое новое испытание было для них лишь очередным эпизодом этой войны, ведущим в конечном счете к победе католичества.

В начале XIX века новую жизнь в миф о борьбе с Сатаной вдохнули преследования революционеров, примером чего могут служить пламенные речи Жозефа де Местра. Возрождение этого мифа во многом объясняет произошедший тогда религиозный ренессанс. Сегодня католичество находится под угрозой во многом потому, что миф о воинствующей церкви постепенно угасает. Теперь он кажется смешным, чему весьма способствовала церковная литература — так, например, в 1872 году один бельгийский автор предлагал вернуться к практике экзорцизма, видя в ней действенное средство борьбы с революционерами[40]. Многие образованные католики с ужасом признавали, что идеи Жозефа де Местра способствовали невежеству кли-

---

39 Во «Введении в современную экономику» я придавал слову «миф» более общий смысл, неразрывно, впрочем, связанный с узким смыслом, в котором это слово употребляется здесь.

40 *Bureau P,* La Crise morale des temps nouveaux, p. 213. Автор, профессор Католического института в Париже, замечает: «Сегодня этот совет может вызвать лишь насмешку. Мы вынуждены полагать, что странное решение автора в те годы нашло понимание у его многочисленных единоверцев, особенно если вспомним оглушительный успех сочинений Лео Таксиля после его мнимого обращения».

ра, избегавшего знакомства с окаянной наукой. Таким образом, они считают миф о Сатане опасным, отмечают его нелепость, но все же не всегда хорошо понимают его историческое значение. Впрочем, поддержанию этого мифа не благоприятствуют кротость, скепсис и в особенности миролюбие нынешнего поколения, а противники церкви в полный голос заявляют, что не хотят возвращаться во времена гонений и возрождать былое могущество образов войны.

Используя слово «миф», я полагал, что это удачная находка, так как тем самым я покажу, что отказываюсь от всякой дискуссии с теми, кто стремится подвергнуть детальной критике понятие всеобщей стачки и копит возражения против ее практической возможности. Но, по всей видимости, это была, напротив, плохая мысль, так как одни говорят мне, что мифы подходят только для первобытных обществ, а другие воображают, будто я хочу представить движущими силами современного мира мечты, подобные тем, которыми Ренан предлагал заменить религию[41]. Некоторые же пошли еще дальше и заявили, что моя теория мифов — это пристрастное рассуждение, ложная трактовка истинных мыслей революционеров и *интеллектуалистский софизм*.

Если бы это было правдой, то я потерпел бы неудачу, ведь я хотел освободиться от власти интеллектуалистской философии, которая кажется мне серьезным препятствием для приверженного ей историка. Противоречие между этой философией и подлинным пониманием событий часто поражало читателей Ренана: он ежесекундно разрывается между своей прекрасной интуицией и философией, которая впадает в пошлость при каждом обращении к истории. Но он, увы, слишком часто считает себя обязанным рассуждать в соответствии с *научным мнением* своих современников.

Наполеоновский солдат, готовый жертвовать жизнью ради чести трудиться над «вечной» эпопеей и жить ради славы Франции, говорящий при этом, что «он всегда будет простым бедняком»[42]; римляне, проявляющие необычайные добродетели, покоряясь чудовищному неравенству и прилагая столько усилий, чтобы завоевать мир[43]; греки с их «несравненной добродетелью веры в славу», благодаря которой «производился отбор в густой толпе человечества, жизнь получала движущую силу, а тот, кто стремился к

41 Главной целью этих иллюзий, на мой взгляд, было успокоить сохранившиеся у Ренана тревоги относительно потустороннего мира (см. статью магистра д'Юльста в Le Correspondant от 25 октября 1892 г., p. 210, 224–225).

42 *Renan*, Histoire du peuple d'Israël, tome IV, p. 191 [1118].

43 Ibid., p. 267 [1167].

прекрасному и благому, получал награду»[44], — вот чего не может объяснить интеллектуалистская философия. Она, напротив, толкает к тому, чтобы восхищаться в главе LI из Книги Иеремии «снисходительным чувством глубокой печали, с каким миролюбивый человек созерцает обрушение [империй], сострадание, вызываемое в сердце *мудреца* зрелищем *трудящихся впустую* народов, падших жертвой гордыни немногих». Греции, по Ренану[45], это чувство незнакомо, и, по моему мнению, жаловаться здесь не на что. Впрочем, он сам похвалит римлян за то, что они не следовали взглядам иудейского мыслителя: «Они трудятся, изнуряя себя — впустую, ради самого труда, — говорит иудейский мыслитель, — это несомненно; но именно эту добродетель вознаграждает история»[46].

Особую опасность для интеллектуалиста представляют религии, так как он не может ни полностью отрицать их историческое значение, ни объяснить их. Поэтому Ренан иногда писал о них довольно странные вещи: «Религия — необходимый обман. С такой глупой расой, как род человеческий, нельзя пренебрегать самыми грубыми мошенническими средствами, ведь он создан для заблуждений и, даже признавая истину, делает это не по верным причинам. Поэтому ему нужно предоставлять причины ложные»[47].

Сравнивая Джордано Бруно, который «дал себя сжечь на Кампо деи Фьори», с Галилеем, подчинившимся Святому Престолу, Ренан одобряет второго, потому что, по его мнению, ученому совершенно не нужно подтверждать свои открытия ничем, кроме рассуждений. Он полагает, что итальянский философ, сознавая недостаточность своих доказательств, хотел подкрепить их самопожертвованием, и презрительно заявляет: «Мы становимся мучениками лишь за то, в чем не вполне уверены»[48]. Ренан смешивает здесь *убеждение*, которое, по-видимому, было крепким у Бруно, с той особой *уверенностью* в полученных наукой тезисах, которую со временем породит образование. Трудно было

---

44 Ibid., p. 199–200 [1125–1126].

45 Ibid., tome III, p. 458–459 [951].

46 Ibid., tome IV, p. 267 [1167].

47 Ibid., tome V, p. 105–106 [1323].

48 *Renan*, Nouvelles Études d'histoire religieuse, p. VII [710]. До этого он говорил о гонениях: «Мы умираем за *мнения*, а не за *достоверности*, за то, во что мы верим, а не за то, что мы знаем... Коль скоро речь идет о верованиях, величайшим знаком правоты и наиболее действенным ее доказательством является умереть за них» (L'Église chrétienne, p. 317 [576]). Этот тезис предполагает, что мученичество представляет собой своего рода ордалию, что отчасти верно для римской эпохи в связи с тогдашними особыми обстоятельствами (*G. Sorel*, Le Système historique de Renan, p. 335).

бы дать более невнятное представление о реальных силах, руководящих людскими поступками!

Всю эту философию можно резюмировать в следующем высказывании Ренана: «Дела человеческие почти что несерьезны, и в них отсутствует точность». В самом деле, для интеллектуалиста там, где недостает точности, должно не хватать и серьезности. Однако историческое сознание у Ренана все же не может не пробудиться, и он тотчас же поправляет себя: «Увидеть [это] — важное достижение философии; но это означает отказ от всякой активной роли. Будущее принадлежит тем, кто не утратил иллюзий»[49]. Отсюда мы можем заключить, что интеллектуалистская философия показала поистине радикальную несостоятельность в объяснении великих исторических движений.

Пламенным католикам, боровшимся с революционными традициями и долгое время преуспевавшим в этом, интеллектуалистская философия не сумела бы доказать, что миф о воинствующей церкви не соответствует научным построениям, созданным ученейшими авторами согласно наилучшим правилам критики, — ей так и не удалось бы их переубедить. Никакие доводы не смогли бы поколебать веру этих людей в обеты, данные церкви, и пока они сохраняли свою уверенность, их миф не мог быть поставлен под сомнение. Так же и возражения философа против революционных мифов могли бы подействовать лишь на тех, кто ищет предлога, чтобы отбросить «всякую активную роль» и быть революционером только на словах.

Я понимаю, что миф о всеобщей стачке смущает многих *благоразумных людей* своей бесконечностью. Современный мир весьма склонен возвращаться к воззрениям ушедших эпох и подчинять мораль гладкому ходу государственных дел, что заставляет помещать добродетель в область умеренных взглядов. Пока социализм остается *доктриной, выраженной лишь в речах*, его очень легко сдвинуть на умеренные позиции, но такое перерождение становится очевидным образом невозможно, когда мы вводим миф о всеобщей стачке, предполагающий безусловную революцию. Вы, как и я, знаете, что лучшее, что есть в современном сознании, — это страх бесконечности; Вы не из тех, кто считает удачными приемы, позволяющие обманывать читателей словами. Вот почему Вы не будете порицать меня за то, что я так дорожу мифом, придающим социализму столь возвышенное моральное значение и столь бескомпромиссную прямоту. Многие люди не пытались бы оспаривать

[49] *Renan*, Histoire du peuple d'israel, tome III, p. 497 [478].

теорию мифов, если бы мифы не приводили к столь прекрасным последствиям.

IV

Дух человека так устроен, что не довольствуется лишь констатациями, а стремится понять смысл вещей. Поэтому я раздумываю, не следует ли углубить теорию мифов, используя познания, которыми мы обязаны бергсоновской философии? Очерк, который я собираюсь Вам представить, вероятно, весьма несовершенен, однако, на мой взгляд, он выстроен по тому методу, которому нужно следовать для прояснения этой проблемы.

Прежде всего отметим, что моралисты почти никогда не задумываются о подлинно основополагающих чертах нашей личности. Чаще всего они пытаются вписать совершенные нами поступки в границы суждений, заранее выработанных обществом для самых обыкновенных поступков современной жизни. Моралисты говорят, что тем самым они определяют мотивы поступков, но эти мотивы имеют ту же природу, что и описываемые юристами в уголовном праве: это общественная оценка, основанная на общеизвестных фактах. Многие философы, главным образом в Античности, полагали, что все можно свести к вопросу пользы, и если существует некая общественная оценка, то она, несомненно, основывается именно на этом. Теологи помещают проступки на путь, который обычно, согласно усредненному опыту, приводит к смертному греху, — так они определяют меру зла, которое несет в себе вожделение, и покаяние, которое грешник должен понести. Наши современники любят объяснять, что, прежде чем действовать, мы оцениваем наши желания, сравнивая свои личные жизненные правила с общими принципами, которые во многом схожи с декларациями прав человека, — эта теория, весьма вероятно, была вдохновлена восторгом, вызванным биллями о правах, с которых начинаются американские конституции[50].

Все мы настолько озабочены вопросом, что о нас подумают другие, что рано или поздно мысленно воспроизводим

50 Конституция Вирджинии датируется 1776 г. Американские конституции стали известны в Европе по двум французским переводам: 1778 и 1789 гг. Кант опубликовал «Основы метафизики нравственности» в 1785 г., а «Критику практического разума» в 1788 г. Можно было бы сказать, что античная утилитарная система сходна с экономикой, система теологов — с правом, а система Канта — с политической теорией зарождающейся демократии (см. *Jellinek*, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, trad. franç., p 49–50, 89).

соображения, подобные рассуждениям моралистов. Это дало последним повод полагать, будто они в самом деле обращаются к опыту, обнаруживая глубинные основы творческого сознания, тогда как они всего лишь рассматривали поступки людей с общественной точки зрения.

Бергсон, напротив, приглашает нас взглянуть внутрь самих себя и рассмотреть, что происходит во время творческого порыва: «Существуют два различных „Я", — говорит он, — одно из которых является как бы внешней проекцией другого, его пространственным и, скажем так, социальным представлением. Мы достигаем первого из них в углубленном размышлении, представляющем наши внутренние состояния как живые, непрерывно возникающие существа, как взаимопроникающие состояния, не поддающиеся никакому измерению... Но *моменты, когда мы вновь постигаем самих себя, очень редки*, и поэтому мы редко бываем свободными. Большей частью мы существуем как бы вне самих себя... Мы живем больше для внешнего мира, чем для себя; больше говорим, чем мыслим; мы больше *подвергаемся действиям*, чем действуем сами. Действовать свободно — значит вновь овладевать самим собой, снова помещать себя в чистую длительность»[51].

Чтобы по-настоящему понять эту психологию, необходимо «мысленно перенестись в те моменты нашего существования, когда нам предстояло выбрать определенное, очень важное решение, в те единственные в своем роде мгновения, которые уже не повторятся, как не вернутся никогда исчезнувшие моменты истории какого-либо народа»[52]. Совершенно очевидно, что мы пользуемся этой свободой прежде всего, когда пытаемся создать в себе новых людей, чтобы уничтожить стесняющие нас исторические рамки. Возможно, в первую очередь достаточно сказать, что в такие моменты нами движут глубочайшие переживания, но сегодня все соглашаются, что основа чувственной жизни в движении, а значит, именно в категориях движения следует говорить о творческом сознании.

Глубинную психологию, на мой взгляд, нужно представлять себе следующим образом. Необходимо отбросить мысль, что душа сравнима с движущимся телом, влекомым под воздействием более или менее непреодолимого механического закона к тем или иным заданным природой

---

51 *Бергсон А.* Собр. соч., т. 1, М. 1992, с. 150–151, пер. Б.С. Бычковского. В этой философии различается текучая *длительность*, в которой проявляется наша личность, и математическое время — *мера*, в соответствии с которой наука выстраивает порядок свершившихся фактов.

52 Там же. С. 154.

мотивам. Когда мы действуем, то это означает, что мы создали совершенно искусственный мир, который мы ставим перед существующим и который состоит из движений, зависящих от нас самих. Таким образом, наша свобода становится полностью интеллигибельной. Так как эти построения охватывают все, что нас интересует, некоторые философы, руководствующиеся бергсоновским учением, пришли к несколько необычной теории. «Наше подлинное тело, — говорит, к примеру, Эдуар Леруа, — это весь мир в качестве переживаемого нами. А то, что здравый смысл называет нашим телом в более точном значении слова, есть всего лишь зона наименьшей бессознательности и наиболее свободной деятельности, часть, за которую мы непосредственно держимся и благодаря которой можем воздействовать на остальное»[53]. Не стоит повторять частой ошибки этого утонченного философа и смешивать мимолетное состояние нашей сознательной деятельности со строгими научными утверждениями[54].

Эти искусственные миры обычно без следа исчезают из нашего разума. Но когда страстью одушевляются массы, мы можем описать картину, образующую социальный миф.

Вера в славу, которую так превозносит Ренан, быстро растворяется в песнях и поэмах, если ее не поддерживают мифы, сильно менявшиеся от эпохи к эпохе: гражданин греческой республики, римский легионер, солдат эпохи революционных войн, художник Возрождения в своих представлениях о славе обращались к разным системам образов.

Ренан сетует на то, что «вера в славу подорвана *близорукими взглядами на историю*, обыкновенно преобладающими в наши дни. Немногие люди, — говорит он, — действуют, имея в виду вечность [...]. Мы стремимся наслаждаться славой; мы едим ее, словно траву, при нашей жизни; мы не соберем ее в сноп после смерти»[55]. На мой взгляд, следует говорить о том, что близорукие взгляды на историю являются не причиной, а следствием. Они проистекают из ослабления героических мифов, пользовавшихся столь большой популярностью в начале XIX века. Вера в славу

---

53 *Éd. Le Roy*, Dogme et Critique, p. 239.

54 Нетрудно заметить переход, с помощью которого здесь вводится софизм: *переживаемый нами мир* может быть реальным миром, где мы живем, или же миром, вымышленным для действия.

55 *Renan*, Histoire du peuple d'Israël, tome IV, p. 329 [1204].

прошла, и преобладать стали близорукие взгляды на историю, в то время как мифы постепенно исчезали[56].

Пока нет мифов, в которые верили бы массы, можно бесконечно говорить о бунтах, но так никогда и не вызвать революционного движения. Именно поэтому столь большое значение имеет всеобщая стачка, и именно это делает ее столь ненавистной для тех социалистов, которые боятся революции. Они прилагают все усилия, чтобы поколебать веру трудящихся в подготовку революции, и для этого пытаются осмеять идею всеобщей стачки, которая только и может быть ее движущей силой. Одно из главных их средств состоит в представлении всеобщей стачки как утопии, и это дается им довольно легко, так как мифы почти никогда не бывают полностью лишены утопической примеси.

Подлинные революционные мифы почти беспримесны. Они дают ключ к пониманию деятельности, чувств и мыслей народных масс, готовящихся вступить в решительную борьбу; это не описания явлений, но выражения воли. Утопия, напротив, представляет собой продукт умственного труда. Это произведение теоретиков, которые, увидев и обсудив факты, пытаются создать модель, с которой можно будет сравнивать существующие общества, чтобы измерить заключенное в них добро и зло[57]. Утопия есть совокупность воображаемых учреждений, но предлагающая достаточно ясные аналогии с реальными учреждениями для того, чтобы о ней могли рассуждать юристы. Это разборная конструкция, определенным деталям которой придается такая форма, чтобы они могли быть (после небольшой дополнительной пригонки) встроены в следующий свод законов. (Если наши сегодняшние мифы побуждают людей готовиться к борьбе, чтобы разрушить существующее, то утопия всегда направляет умы к реформам, которые могут быть осуществлены при распаде системы. Поэтому не стоит удивляться, что утописты по мере приобретения поли-

---

56 «Сколь бы могущественным ни было согласие, соединяемое с живейшими образами, — говорит Ньюмен, — это еще не делает его эффективным. Строго говоря, не воображение порождает действие, а надежда или страх, любовь или ненависть, желания, страсти, порывы эгоизма, собственного «Я». Единственная роль воображения — запускать эти движущие силы, и удается это ему, когда оно являет нам предметы, достаточно мощные для пробуждения этих сил» (op. cit., p. 69). Мы видим, что прославленный мыслитель очень близок к теории мифов. Впрочем, при чтении Ньюмена невозможно не поразиться сходству его мысли с мыслью Бергсона. Любители связывать историю идей с этническими традициями не преминут здесь отметить, что Ньюмен — последователь мыслителей древнего Израиля.

57 Очевидно, именно в этот круг понятий поместили себя греческие философы, стремившиеся рассуждать о морали, не принимая обычаев, учрежденных в Афинах силой истории.

тического опыта так часто становились ловкими государственными деятелями.) Миф невозможно опровергнуть, так как он по сути тождествен убеждениям данной группы, является выражением этих убеждений на языке движения, а значит, неразложим на части, которые можно было бы использовать в плане исторических описаний. Утопия, напротив, может обсуждаться так же, как и любое построение общества: можно сравнивать предполагаемые ею автоматические движения с теми, которые действительно имели место на протяжении истории, и тем самым оценивать ее правдоподобие; можно и отвергать ее, показывая, что экономика, на которую она опирается, несовместима с потребностями современного производства.

Либеральная политическая экономия представляет собой один из лучших примеров утопии: она рисует общество, где все сводится к типам торговых отношений и подчинено закону всеобщей конкуренции. Сегодня признают, что это идеальное общество было бы столь же трудно воплотить в жизнь, как и идеальное общество Платона; но немало заметных министров в наши дни добились славы тем, что попытались ввести в промышленное законодательство некоторые элементы этой экономической свободы.

Здесь перед нами утопия, свободная от всякого мифа. Между тем история французской демократии являет нам весьма примечательное сочетание мифов и утопий. Теории, вдохновлявшие авторов наших первых конституций, сегодня считаются совершенно химерическими, зачастую им отказывают даже в той ценности, которую ранее признавали, — ценности идеала, о котором постоянно должны помнить законодатели, магистраты и чиновники, чтобы люди могли рассчитывать хоть на малую толику справедливости. К этим утопиям примешивались мифы о борьбе со Старым режимом, и пока они сохранялись, опровержения либеральных утопий могли умножаться безо всяких последствий: миф защищал утопию, к которой был примешан.

Длительное время социализм был не более чем утопией, и марксисты не без основания приписывают своему наставнику честь изменения этого положения: сегодня социализм стал орудием подготовки масс, занятых в крупной промышленности и стремящихся упразднить государство и собственность. Отныне никто уже не будет искать способов объединения людей ради наслаждения грядущим счастьем — все сводится к *революционному ученичеству* пролетариата. К несчастью, у Маркса перед глазами не было фактов, которые сегодня хорошо нам знакомы. Мы знаем лучше него, что такое стачки, так как нам довелось

наблюдать выдающиеся и масштабом, и продолжительностью экономические конфликты. Миф о всеобщей стачке получил распространение и прочно воцарился в умах. О насилии у нас есть такие идеи, какие Марксу было бы трудно сформировать. Все это дает нам возможность дополнять его учение, а не комментировать написанные им тексты, как очень долго делали его незадачливые ученики.

Таким образом, из социализма постепенно уходит утопия. Ему больше не нужно искать способы организации труда, поскольку это дело капитализма. К тому же мне, кажется, удалось показать, что всеобщая стачка воплощает чувства, настолько близкие тем, которые необходимы для налаживания производства в самом прогрессивном промышленном режиме, что революционное ученичество может быть и обучением производителей.

Входя на территорию мифов, мы получаем защиту от любых опровержений, и это дало многим повод утверждать, что социализм есть своего рода религия. Ведь уже давно высказывается удивление тем, что религиозные убеждения не поддаются критике, а из этого считается возможным делать вывод, что все, что хочет находиться выше науки, является религией. Мы также видим, что в наше время христианство делается не столько догматикой, сколько христианской жизнью, то есть моральным совершенствованием, направленным на самые сокровенные глубины души. Следовательно, мы обнаружили новую аналогию между религией и революционным социализмом, который ставит себе целью ученичество, подготовку и даже перестройку индивида, сопряженную с гигантским трудом. Но Бергсон научил нас, что глубинную сферу сознания занимает не только религия — в той же мере там присутствуют и революционные мифы. Поэтому я полагаю, что аргументы Ива Гюйо[58] против социализма, основанные на его трактовке как религии, происходят от недостаточного знания новой психологии.

Ренан был весьма удивлен, когда понял, что социалисты не поддаются унынию: «После каждого неудачного опыта они начинают заново. Если они не нашли решения, значит, они его найдут. Им никогда не приходит в голову, что решения не существует, и в этом-то их сила»[59]. Приведенное Ренаном объяснение поверхностно: он считает социализм

---

58 Ив Гюйо (Yves Guyot, 1843–1928) — экономист, министр гражданского строительства в 1889–1892 гг., позже глава экономического издания Journal des économistes. Сторонник фритредерства, автор ряда текстов, направленных против социализма. — *Прим. ред.*

59 *Renan*, Histoire du peuple d'Israël, tome III, p. 497 [978].

утопией, то есть тем, что можно сравнивать с наблюдаемой реальностью, и не понимает, как вера социалистов может пережить столько неудачных экспериментов. Но бок о бок с утопиями всегда существовали мифы, способные поднять трудящихся на бунт. Долгое время эти мифы основывались на преданиях о Революции, и они сохраняли значимость до тех пор, пока эти предания не начали забываться. Сегодня вера социалистов стала гораздо сильнее, чем когда-либо прежде, — она укрепилась с тех пор, как над всем подлинно рабочим движением царит миф о всеобщей стачке. Неуспех больше не может быть аргументом против социализма, ведь это стало подготовительным трудом. Если мы терпим поражение, это просто показывает, что пройденного обучения недостаточно и нужно вновь приняться за работу с еще большей смелостью, настойчивостью и верой, чем прежде. Опыт труда научил рабочих, что высокую квалификацию получают путем терпеливого учения. Это же и единственный способ стать настоящим революционером[60].

V

Труды моих друзей были с большим презрением встречены социалистами-политиками, но нашли сочувствие у людей, далеких от парламентских забот. Нас невозможно заподозрить в желании заниматься *интеллектуальным промыслом*, и мы возражаем всякий раз, когда кто-нибудь пытается причислить нас к интеллектуалам, то есть к людям, профессионально занятым эксплуатацией мысли. Демократам старой закалки невдомек, к чему мы столько трудимся, если у нас нет скрытого намерения управлять рабочим классом. Однако мы не можем действовать иначе.

Создателю утопии, цель которой — счастье человечества, нравится думать, будто он имеет право собственности на свое изобретение. Он полагает, что никто лучше него не сможет применить его систему, и находит весьма неразумным, что его произведения не приносят ему важного государственного поста. Но мы не придумали вовсе ничего и беремся даже утверждать, что изобретать нечего, — мы довольствуемся признанием исторического значения понятия всеобщей стачки. Мы попытались показать, что из борьбы, которую ведут революционные профсоюзы против

60 Чрезвычайно важно выявлять сходства между революционным состоянием духа и тем настроением, которое соответствует *морали производителей*; в конце исследования я отметил несколько важных аналогий, но в дальнейшем можно будет обнаружить еще множество других.

хозяев предприятий и против государства, может возникнуть новая культура. Главная наша оригинальность состоит в утверждении, что пролетариат может освободиться, не прибегая к наставлениям профессиональных буржуазных мыслителей. Поэтому мы отводим ключевую роль среди современных явлений тому, что ранее считалось второстепенным, — тому, что имеет подлинно воспитательное значение для революционного пролетариата, обучающегося в борьбе. На такую образовательную работу мы не можем оказывать прямого влияния. Мы можем приносить пользу лишь при условии, что будем ограничиваться отрицанием буржуазной мысли, чтобы предостеречь пролетариат от вторжения мыслей и нравов вражеского класса.

Люди, получившие начальное образование, как правило, суеверно относятся к книгам и легко приписывают гениальность тем, кто привлекает большое внимание образованного мира. Они воображают, что могли бы очень многому поучиться у авторов, которых хвалят в газетах, и с необычайным уважением слушают выступления лауреатов всевозможных конкурсов. Бороться с такими предрассудками нелегко, однако это очень полезное дело. Мы считаем эту работу первостепенной и можем довести ее до конца, не беря на себя при этом роль руководителей рабочего класса. Нельзя допустить, чтобы с пролетариатом произошло то же, что и с германцами, завоевавшими Римскую империю: они устыдились своего варварства и принялись учиться у риторов латинского упадка. В таком стремлении к цивилизованности нет ничего похвального.

В своих исследованиях я рассматривал множество тем, которые, казалось бы, не должны входить в круг интересов автора-социалиста. Я поставил перед собой цель показать моим читателям, что наука, чудесными достижениями которой с таким постоянством похваляется буржуазия, не столь достоверна, как уверяют те, кто живет за счет ее эксплуатации, и что часто наблюдение происходящего в социалистическом мире могло бы открыть философам истины, каких не найти в ученых трудах. Поэтому я полагаю, что мой труд не напрасен, ведь я помогаю подорвать авторитет буржуазной культуры, до сих пор противостоящий развитию принципа классовой борьбы.

В последней главе книги я сказал, что искусство — это предвосхищение труда, каким он должен стать в режиме высокоразвитого производства. Эта мысль была, очевидно, весьма плохо понята некоторыми из моих критиков — они сочли, будто я выдвигаю идею эстетического воспитания пролетариата как способ построения социализма и предлагаю рабочим

учиться у современных художников. С моей стороны это было бы диковиннейшим парадоксом, ведь наше сегодняшнее искусство представляет собой *рудимент*, унаследованный нами от аристократического общества и к тому же сильно извращенный буржуазией. Лучшие умы говорят о желательности обновления современного искусства путем более тесного взаимодействия с ремесленниками. Академическое искусство уничтожило своих величайших гениев, но не произвело ничего сравнимого с тем, что дали нам поколения ремесленников. Когда я говорил о предвосхищении, я вовсе не имел в виду такую имитацию — я хотел показать, что в искусстве (создаваемом его наилучшими представителями и, что особенно важно, в наилучшие эпохи) можно найти аналогии, позволяющие понять, какими будут качества трудящихся будущего. При этом я совершенно не думал требовать от школ изящных искусств давать пролетариату соответствующее образование — я вижу основание морали производителей не в эстетическом воспитании, передаваемом буржуазией, а в чувствах, возникающих в борьбе трудящихся против их хозяев.

Эти соображения приводят нас к осознанию громадного различия между «новой школой» и анархизмом, процветавшим в Париже двадцать лет назад. Буржуазия в то время гораздо меньше восхищалась своими литераторами и художниками, чем анархисты, чья увлеченность знаменитостями-однодневками нередко превосходила благоговение учеников перед величайшими учителями прошлого. Неудивительно поэтому, что романисты и поэты, встретившись с такими восторгами, справедливо отвечали анархистам симпатией, зачастую изумлявшей тех, кто недооценивал роль самолюбия в мире эстетики.

Таким образом, этот анархизм был *совершенно буржуазным в интеллектуальном плане*, и гедисты[61] никогда не упускали случая упрекнуть его за это. Они говорили, что их противники, непрестанно провозглашая себя непримиримыми врагами прошлого, являются раболепными учениками того же проклятого прошлого. Они замечали, что красноречивые рассуждения о бунте не могут ничего произвести и что ход истории невозможно изменить с помощью одной лишь литературы. Анархисты в ответ доказывали, что их противники встали на путь, который не может привести к провозглашенной ими революции. Участвуя в политических дебатах, говорили они, социалисты станут более или менее радикальными реформаторами, а их революционные максимы утратят смысл. И вскоре опыт показал, что анархисты были правы и что, входя в буржуазные уч-

61 Гедизм — господствующее течение французского социализма до 1914 г. Названо по имени одного из лидеров Жюля Геда (Jules Guesde, 1845–1922). — *Прим. ред.*

реждения, революционеры меняются, проникаясь духом этих учреждений. Все депутаты говорят, что никто так не похож на представителя буржуазии, как представитель пролетариата.

Многие анархисты в конечном итоге устали от постоянного чтения одних и тех же велеречивых проклятий в адрес капиталистического строя и принялись искать путь к подлинно революционным действиям. Они начали сотрудничать с профсоюзами, которые в насильственных стачках с грехом пополам вели ту социальную войну, о которой анархисты столько слышали. Настанет день, когда историки усмотрят в этом вступлении анархистов в профсоюзы одно из величайших событий нашего времени, и тогда получит заслуженную известность имя моего бедного друга Фернана Пеллутье[62].

Те авторы-анархисты, кто остался верен прежней революционной литературе, кажется, не одобрили переход своих друзей в профсоюзы. Их позиция доказывает, что анархисты, ставшие синдикалистами, совершили нечто по-настоящему новое, а не воплощали теории, сочиненные в философских кружках. Первое, чему они научили рабочих, — что актов насилия не нужно стыдиться. Прежде социалисты пытались преуменьшать или оправдывать насилие забастовщиков, новые же члены профсоюзов начали рассматривать акты насилия как нормальные проявления борьбы, и благодаря этому были отброшены тред-юнионистские устремления. К таким взглядам их привел революционный темперамент, так как было бы грубой ошибкой предполагать, будто эти анархисты принесли в рабочие ассоциации идеи пропаганды фактами.

Стало быть, революционный синдикализм, вопреки мнению многих, не первая смутная форма рабочего движения, которому предстоит в конечном итоге избавиться от этой ошибки молодости. Он явился, напротив, продуктом улучшения, осуществленного людьми, который остановил отклонение в сторону буржуазных представлений. В этом революционный синдикализм можно уподобить Реформации, стремившейся уберечь христианство от влияния гуманистов: как и Реформация, революционный синдикализм может потерпеть крах, если утратит, как утратила Реформация, понимание собственной новизны. Именно поэтому исследование пролетарского насилия имеет столь больше значение.

15 июля 1907 г.

---

62 Полагаю, что первым, кто воздал должное высоким качествам Фернана Пеллутье, был Леон де Сейяк (Les Congrès ouvriers en France, p. 272). [Фернан Пеллутье (Fernand Pelloutier, 1867–1901) — французский анархо-синдикалист, с 1895 г. — секретарь Федерации бирж труда. Организовал на биржах труда вечерние курсы для рабочих, возродил интерес к наследию Прудона и Бакунина. — *Прим. ред.*]

Предуведомление к третьему изданию

В последнее время мне неоднократно задавали вопрос: не довелось ли мне с 1906 года заметить факты, опровергающие некоторые из положений этой книги? Я, напротив, больше, чем когда-либо прежде, убежден в значении философии насилия. Мне даже показалось полезным добавить к этому переизданию «апологию насилия», которую я опубликовал в газете Le Matin 18 мая 1908 года, в момент выхода первого издания.

Эта книга принадлежит к категории тех, которые общее мнение не позволяет автору совершенствовать; я позволил себе лишь изменить кое-где отдельные слова ради прояснения смысла.

Февраль 1912 г.

Предисловие к первому изданию[63]

Размышления по поводу насилия, которые я представляю читателям Mouvement socialiste, были вдохновлены несколькими очень простыми наблюдениями касательно весьма очевидных фактов, которые играют все более заметную роль в истории современных классов.

Я давно с удивлением замечаю, что *нормальный ход* стачки включает в себя целый ряд актов насилия[64], хотя некоторые ученые-социологи стараются не замечать явление, которое очевидно всякому, кто готов посмотреть, что происходит вокруг него. Революционный синдикализм поддерживает в массах дух стачки, и процветает он лишь там, где происходят крупные стачки с применением насилия. Социализм все чаще представляется теорией революционного синдикализма — или же философией современной истории в той мере, в коей последняя находится под влиянием революционного синдикализма. Из этих неоспоримых данных следует, что серьезный разговор о социализме необходимо начинать с выяснения роли насилия в современных общественных отношениях[65].

---

63 «Размышления о насилии» были впервые опубликованы в журнале Le Mouvement socialiste в течение первого полугодия 1906 г.

64 См. Les grèves, в La Science sociale, octobre–novembre 1900.

65 В «Социальных очерках современной экономики» (написаны в 1903 г., а изданы только в 1906 г.) я уже отмечал, пусть и слишком кратко, роль насилия в разделении общества на *пролетариат* и *буржуазию*.

На мой взгляд, этому вопросу еще не уделялось должного внимания, и я надеюсь, что настоящие размышления побудят мыслителей заняться детальным изучением вопроса пролетарского насилия. Я могу настоятельно рекомендовать эти исследования «новой школе», которая, вдохновляясь скорее принципами Маркса, нежели формулами официальных наследников марксизма, возвращает социалистическим доктринам чувство реальности и серьезность, которых им в последние годы так недоставало. Поскольку «новая школа» называет себя марксистской, синдикалистской и революционной, ничто не должно занимать ее больше, чем установление исторического масштаба возникающих в рабочих массах стихийных движений, которые могут придать общественному будущему направление, соответствующее идеям Маркса.

Социализм есть философия истории современных институтов, а Маркс всегда рассуждал как философ истории, кроме случаев, когда личная полемика заставляла его игнорировать законы собственной системы.

Итак, социалист воображает, что он перенесся в отдаленное будущее, так что может рассматривать нынешние события как элементы длительного, но истекшего процесса и давать им ту оценку, которую им, вероятно, даст будущий философ. Такой метод, конечно, предполагает, что важное место отводится гипотезам, однако не бывает ни социальной философии, ни размышлений об эволюции, ни даже значимых действий в настоящем без гипотез о будущем. Задача моего исследования — углубить знание нравов, а не обсуждать заслуги или ошибки выдающихся личностей. Необходимо исследовать, как вызревают чувства, захватывающие массы, поэтому рассуждения моралистов о мотивах поступков, совершенных заметными фигурами, и психологический анализ характеров здесь второстепенны или даже вовсе не заслуживают внимания.

Между тем, когда речь идет об актах насилия, кажется, что рассуждать таким образом труднее, чем при иных обстоятельствах. Это связано с тем, что мы привыкли рассматривать заговор как вид насилия или как *предвосхищение революции*: это заставляет нас задаваться вопросом, не могут ли некоторые преступные деяния считаться героическими или хотя бы похвальными ввиду результатов, которых совершившие их надеялись добиться во благо сограждан. Индивидуальный террор оказал демократии достаточно услуг, чтобы она возвеличила людей, которые с опасностью для жизни попытались избавить ее от врагов. Демократия возвела их на пьедестал тем охотнее, что их

уже не было на этом свете, когда настал час делить победные трофеи, — а мы знаем, что мертвым воздавать почести легче, чем живым.

Поэтому всякий раз, когда происходит покушение, кишащие в журналистике доктора этико-социальных наук предаются возвышенным рассуждениям, чтобы решить, может ли преступное деяние быть извинено или даже оправдано с точки зрения высшей справедливости. И тогда в демократическую печать вторгается вся та казуистика, в которой столь часто упрекали иезуитов.

Здесь мне кажется небесполезным вспомнить заметку об убийстве великого князя Сергея Александровича, опубликованную в L'Humanité от 18 февраля 1905 года. Ее автор не принадлежит к числу тех пошлых блокаров[66], которые по уму едва ли превосходят дикарей, — это светоч французского Университета Люсьен Эрр[67], человек из тех, кто должен отдавать себе отчет в том, что говорит. Заголовок «Заслуженное возмездие» извещает нас, что вопрос будет рассматриваться с точки зрения большой морали и по делу будет вынесен *светский приговор*[68]. Автор подробно рассматривает ответственность разных людей, рассчитывает соотношение преступления и искупления вины, возвращается к первоначальным ошибкам, вызвавшим в России череду актов насилия, — все это есть философия истории по чистейшим принципам корсиканских подпольщиков, то есть психология вендетты. Увлекшись лиризмом своей темы, Люсьен Эрр заключает в пророческом стиле: «Так и будет продолжаться эта ужасная, гнусная борьба, несущая страдания и кровь, до того *неотвратимого дня*, до близкого дня, когда сам престол, престол палача, множащий преступления, обрушится в вырытую сегодня яму». Это пророчество не сбылось, но таков подлинный характер великих пророчеств — они никогда не сбываются. *Престол палача* оказался гораздо прочнее, чем касса L'Humanité. А впрочем, чему все это в конечном счете учит нас?

Историк не должен ни выдавать премии за добродетель, ни предлагать, кому воздвигнуть памятник, ни писать кредо. Его роль — выявлять в событиях то, что в них наименее

---

66 Блокары — члены Левого блока, созданного в преддверии парламентских выборов 1899 г. в результате перегруппировки левых сил после дела Дрейфуса. — *Прим. ред.*

67 Люсьен Эрр (Lucien Herr, 1864–1926) — социалист и видный интеллектуал своего времени, библиотекарь Высшей нормальной школы, повлиявший на интеллектуальное становление многих социалистов, в частности Жореса и Пеги. — *Прим. ред.*

68 Это не слишком сильное выражение, так как автор занимался в основном изучением Гегеля.

индивидуально, а вопросы, интересующие хроникеров и вдохновляющие романистов, он оставляет в стороне прежде всех других. Здесь речь пойдет не об оправдании *применяющих насилие*, а об установлении роли *насилия рабочих масс* в современном социализме.

Мне кажется, многие социалисты чрезвычайно плохо ставят вопрос о насилии. В доказательство могу привести статью Раппопорта, опубликованную в газете Le Socialiste[69] от 21 октября 1905 года. Автор книги по философии истории[70], казалось бы, должен строить рассуждение с учетом долгосрочных последствий того или иного события, однако он, напротив, рассматривает их с самой сиюминутной, мелкой, а значит, наименее исторической стороны. По его мнению, синдикализм неизбежно тяготеет к оппортунизму, а поскольку во Франции этот закон, по всей видимости, не подтверждается, он добавляет: «Хотя в нескольких романских странах он принимает революционный облик, это не более чем видимость. В этих странах он кричит громче, но всегда лишь для того, чтобы призвать к реформам в рамках существующего общества. Пусть это реформизм с кулаками, но он остается реформизмом».

Выходит, что есть два реформизма: один, которому покровительствуют Социальный музей, Управление труда[71] и Жорес, действует посредством призывов к вечной справедливости, максим и полуправды, а другой действует кулаками, и только он доступен грубым и недалеким людям, еще не осененным благодатью возвышенной социальной экономии. *Порядочные люди*, демократы, преданные делу Прав человека и Долгу доносчика, блокары-социологи полагают, что насилие исчезнет с развитием народного образования, и поэтому рекомендуют проводить больше курсов и публичных лекций в надежде затопить революционный социализм слюнями господ профессоров. Весьма странно, что такой революционер, как Раппопорт, в оценке содержания синдикализма соглашается с *порядочными людьми* и их приспешниками. Найти этому объяснение можно, только если предположить, что вопросы насилия

---

69 Шарль Раппопорт (Charles Rappoport, 1865–1941) — марксист российского происхождения, член Французской секции Рабочего интернационала, позже Коминтерна. Le Socialiste — небольшая газета, основанная Жюлем Гедом. — *Прим. ред.*

70 *Rappoport Ch.*, La Philosophie de l'histoire comme science de l'évolution.

71 Социальный музей — учреждение, созданное в 1894 г. для экспозиции материалов, собранных в павильоне социальной экономики на Всемирной выставке 1889 г., и одновременно выполнявшее функции исследовательского центра, где, в частности, готовились многие законы, касающиеся социальной политики. Управление труда — подразделение Министерства труда и взаимопомощи, образованного в 1906 г. — *Прим. ред.*

до сих пор оставались неясны даже для самых сведущих из социалистов.

Воздействие насилия следует рассматривать, исходя не из непосредственных результатов, которые оно может принести, но из его отдаленных последствий. Не нужно выяснять, может ли оно принести нынешним рабочим больше или меньше прямой выгоды, чем умелая дипломатия, — следует поставить вопрос о том, к чему приводит введение насилия в отношения пролетариата с обществом. Мы не сравниваем два реформистских метода — мы хотим знать, что значит сегодняшнее насилие для грядущей социальной революции.

Многие не преминут упрекнуть меня за то, что я не дал никаких полезных тактических указаний — ни формул, ни рецептов. Зачем тогда было писать? Проницательные люди скажут, что эти исследования обращены к людям, живущим в отрыве от повседневной жизни и подлинного движения, то есть за пределами редакций, политических собраний и приемных финансистов-социалистов. Те, кто стал учеными, нахватавшись кое-каких знаний из бельгийской социологии, обвинят меня в том, что метафизика занимает меня больше, чем наука[72]. Такие оценки меня не задевают, так как я привык не принимать во внимание взгляды людей, называющих вершиной мудрости заурядный вздор и превозносящих людей, которые говорят и пишут не думая.

Марксу тоже приходилось получать от сановных господ позитивистов обвинения в том, что в «Капитале» он занимался метафизической политэкономией; многие удивлялись, что он ограничился «критическим расчленением данного, а не сочиня[л] рецептов... для кухни будущего»[73]. Этот упрек его, по всей видимости, не слишком волновал, хотя в предисловии к своей книге он уведомил читателя, что не будет определять социальное положение какой-либо страны, а ограничится исследованием законов капиталистического производства, «тенденций, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью»[74].

Не нужно быть выдающимся знатоком истории, чтобы заметить, что тайна исторического движения доступна лишь тем, кто отдаляется от поверхностных волнений.

---

72 Эта догадка сбылась: 11 мая 1907 года в речи в палате депутатов Жорес назвал меня «метафизиком от синдикализма» — конечно, с ироническим подтекстом.

73 *Маркс К.* Капитал // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. — М.: ГИПЛ, 1960. — Т. 23, с. 19.

74 Там же, с. 6.

Хроникеры и участники драмы никогда не увидят того, что впоследствии будет считаться основополагающим, так что можно вывести следующее парадоксальное правило: «Чтобы увидеть внутреннее, нужно находиться вовне». Применяя этот принцип к современным событиям, мы рискуем прослыть метафизиками, но это совершенно неважно, ведь мы, знаете ли, не в Брюсселе[75]. Если мы не хотим довольствоваться бесформенными очерками на основе здравого смысла, то нужно придерживаться противоположных методов, чем те, что в ходу у социологов, зарабатывающих себе репутацию у глупцов пошлой и туманной болтовней. Нужно решительно выйти за пределы вопросов непосредственного применения и заниматься только разработкой понятий, нужно отбросить в сторону все заботы, милые сердцу политиков. Надеюсь, читатель убедится, что я не погрешил против этого правила.

У этих размышлений, возможно, нет бесспорных достоинств, кроме одной заслуги, в которой едва ли кто-то усомнится: очевидно, что они вдохновлены страстной любовью к истине. Любовь к истине становится довольно редким качеством: блокары ее глубоко презирают, официальные социалисты находят в ней анархические устремления, политиканы и их прихвостни не устают оскорблять несчастных, предпочитающих истину расположению власти. Но есть еще во Франции и честные люди, а я всегда писал только для них.

С опытом я все больше убеждался, что для изучения исторических вопросов любовь к истине важнее самых затейливых методологий. Она позволяет срывать привычные покровы, проникать в сущность вещей и схватывать действительность. Нет великого историка, который не был бы подвержен этой страсти, и если задуматься, именно благодаря ей было сделано множество счастливых догадок.

---

75 Некоторые бельгийские товарищи были уязвлены этими невинными шутками, от которых я, однако, не готов отказаться. Бельгийский социализм во Франции знают, в первую очередь, по Вандервельде, а это персонаж в высшей степени надоедливый, который все не может утешиться от того, что родился в слишком маленькой для его гения стране, и поэтому ездит в Париж читать лекции на самые разнообразные темы. Один из главных упреков, которые ему можно сделать, — это несметное количество переработок, которые он производит из одного не слишком интересного оригинала. Я уже высказывал мнение о нем во «Введении в изучение современного хозяйства» (См. *Сорель Ж.* Введение в изучение современного хозяйства. М.: КРАСАНД, 2011).

***

Я не стремился представить здесь все, что можно сказать о насилии, и еще меньше пытался создать систематическую теорию насилия. Я всего лишь объединил и отредактировал ряд статей, опубликованных в итальянском журнале Il Divenire sociale[76], ведущем по ту сторону Альп успешную борьбу с эксплуататорами народной доверчивости. Эти статьи писались без общего плана, и я не пытался их переделать, не зная, как придать изложению дидактический вид. Мне даже показалось, что лучше сохранить эту неоднородную редакцию, так как она, возможно, скорее подтолкнет читателя к самостоятельным размышлениям. При изучении малоизвестных тем всегда следует опасаться чересчур строго очерчивать границы исследования, поскольку таким образом можно невольно исключить из рассмотрения множество новых фактов, непрестанно порождаемых непредвиденными обстоятельствами. Сколько раз современная история приводила теоретиков социализма в замешательство? Они выстраивали прекрасные, чеканные и симметричные формулы, но не могли согласовать их с действительностью и вместо того, чтобы отказаться от своих построений, заявляли, что самые серьезные факты суть лишь аномалии, которые наука должна отбросить во имя верного понимания целого.

76 Четыре последних главы разработаны гораздо подробнее, чем в итальянском тексте, что позволило мне уделить больше места философским соображениям. Итальянские статьи выходили в брошюре под заглавием Lo sciopero generale e la violenza [«Всеобщая стачка и насилие». — *Прим. пер.*] с предисловием Энрико Леоне. [Il Divenire sociale — журнал, заложивший теоретическую базу итальянского революционного синдикализма. Издавался в Риме. — *Прим. пер.*]

ГЛАВА I

Классовая борьба и насилие

I. — *Борьба бедных групп с богатыми. — Противодействие демократии разделению на классы. — Как покупается социальный мир. — Корпоративный дух.*

II. — *Иллюзии об исчезновения насилия. — Механизм примирения и воодушевление, которое оно несет стачечникам. — Влияние страха на социальное законодательство и результаты этого влияния.*

I

Все жалуются, что рассуждения о социализме обычно очень туманны; эта туманность происходит во многом оттого, что теперешние социалистические писатели, как правило, пользуются терминологией, которая не соответствует уже сущности их идей. Наиболее видные из тех, кто называет себя *реформистами*, не хотят явно отказываться от некоторых фраз, долго служивших лишь ярлыками для обозначения социалистической литературы. Когда Бернштейн, заметив огромное противоречие между языком социал-демократии и истинной природой ее практики, призвал своих немецких товарищей найти в себе смелость открыто заявить о том, кем они в действительности являются[1], и пересмотреть учение, сделавшееся ложным, то в ответ на его дерзость зазвучал целый хор возмущенных голосов. И реформисты были не последними, кто встал на защиту старых формулировок: мне приходилось слышать от видных французских социалистов, что они скорее согласятся принять тактику Мильерана, чем положения Бернштейна.

Это поклонение словам играет важную роль в истории любой идеологии, однако сохранение марксистского языка людьми, не имеющими уже никакого отношения к мысли Маркса, представляет большое несчастье для социализма. В частности, особенно широко злоупотребляют термином «классовая борьба» — до тех пор пока не удастся придать ему совершенно точный смысл, нечего и думать о разумном изложении идей социализма.

---

1 Бернштейн сетует на то, что в социал-демократии царит крючкотворство и ханжество (Socialisme théorique et social-démocratie pratique, trad.franç., p. 277 [220]). Он обращается к социал-демократии словами Шиллера: «Так пусть она дерзнет показать, какова она!» (p. 238 [193]).

А. — В глазах подавляющего большинства классовая борьба есть *принцип социалистической тактики*. Это значит, что успехи социалистической партии на выборах основаны на остром противоречии интересов известных групп населения и что по мере надобности социалисты могут еще сильнее обострить это противоречие. Кандидаты убедят наиболее бедный и многочисленный класс в том, что он составляет некую корпорацию, и предложат себя в защитники этой корпорации: влияние, которое они приобретут, получив звание народных представителей, они используют для смягчения участи обездоленных. Таким образом, мы не так далеки от происходившего в греческих полисах: наши парламентские социалисты весьма похожи на тех демагогов античной Греции, которые настойчиво требовали отмены долговых обязательств и передела земель, возлагали на богатых все государственные расходы и выдумывали заговоры для конфискации крупных состояний. «В демократиях, где народная масса господствует над законами, — говорит Аристотель, — демагоги своей борьбой с состоятельными людьми постоянно разделяют государство на две части. И клятвенное обещание олигархи должны были бы давать противоположное тому, какое они дают теперь. В настоящее время в некоторых олигархиях клянутся так: „И буду я враждебно настроен к простому народу и замышлять против него самое что ни на есть худое“»[2]. Вот, без сомнения, как нельзя более ясное описание классовой борьбы; но, по моему мнению, было бы нелепо предполагать, что Маркс так именно понимал классовую борьбу, которую он делал сущностью социализма.

Вероятно, головы авторов французского закона от 11 августа 1848 года были забиты такого рода классическими примерами, когда они назначали кару для тех, кто в устных выступлениях или газетных статьях пытается «нарушать общественное спокойствие, возбуждая презрение или ненависть одних граждан к другим». Только что пережив ужасное июньское восстание, буржуазия была убеждена, что победа парижских рабочих привела бы если не к полному осуществлению коммунизма, то по меньшей мере к колоссальному отчуждению богатств в пользу бедных, и авторы этого закона надеялись положить конец гражданским войнам, затрудняя пропаганду доктрин ненависти, которые могли бы поднимать пролетариев на борьбу с буржуазией.

---

2 *Аристотель*. Политика. Собр. соч., Т.4, М., 1984, стр. 550–551, пер. С.А. Жебелева.

В настоящее время парламентские социалисты уже не помышляют о восстании, а если иногда еще говорят о нем, то лишь для того, чтобы придать себе внушительный вид. Они учат, что на смену ружью пришел избирательный бюллетень, но изменение способа завоевания власти необязательно сопряжено с переменой чувств. Литература по вопросам выборов, похоже, вдохновляется чисто демагогическими приемами — социализм обращается ко всем недовольным, совершенно не интересуясь, какое место они занимают в мире производства. В обществе столь сложном и столь подверженном экономическим потрясениям, как наше, в каждом классе находится огромное количество недовольных — вот почему социалисты нередко обнаруживаются там, где, казалось бы, встретить их труднее всего. У парламентского социализма столько же наречий, сколько и различных категорий сторонников; он обращается к рабочим, мелким собственникам, крестьянам; вопреки Энгельсу, он занимается фермерами[3]; он то патриотичен, то яростно выступает против армии. Никакое противоречие не останавливает его — опыт показал, что во время избирательной кампании возможно сплотить силы, которые по марксистским представлениям должны быть враждебны друг другу. Впрочем, разве депутат не может оказывать услуги своим избирателям, каково бы ни было их экономическое положение?

Слово «пролетарий» в конце концов становится синонимом угнетаемого, а таковые есть во всех классах[4] — немецкие социалисты проявили исключительное сочувствие злоключениям принцессы Кобургской[5, 6]. Один из самых видных наших реформистов, Анри Тюро, многолетний

---

3 *Энгельс Ф.* Крестьянский вопрос во Франции и Германии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. — М.: ГИПЛ, 1962. — Т. 22, с. 502. Неоднократно отмечалось, что кандидаты от социалистов пользуются одними афишами для городов, а другими для сельской местности.

4 Так, например, мелкие биржевые маклеры, притесняемые монополией крупных дельцов, являются *финансовыми пролетариями*, и среди них найдется немало социалистов — поклонников Жореса.

5 Депутат от социалистов Зюдекум, *самый элегантный мужчина Берлина*, сыграл важную роль в похищении принцессы Кобургской; надеемся, что у него нет финансовых интересов в этом *дельце*. В то время он представлял в Берлине газету Жореса.

6 Речь идет о Луизе Марии Амелии, принцессе Бельгийской, Саксен-Кобургской и Готской (1858–1924), которая была отправлена мужем, принцем Саксен-Кобург-Готским, в психиатрическую лечебницу после того, как попыталась развестись с ним, чтобы выйти замуж по любви. (*Прим. 6–10 – Ред.*)

редактор La Petite République[7, 8] и советник парижского магистрата, написал книгу «о пролетариях любви» — этими словами он обозначает уличных проституток. Если когда-нибудь женщины получат избирательные права, то, без сомнения, ему будет поручено составить наказ от имени этой пролетарской группы.

В. — Во Франции современная демократия оказывается несколько дезориентирована тактикой борьбы классов, и это объясняет, почему парламентский социализм никак не опирается на радикальные левые партии.

Чтобы понять причину этой ситуации, нужно вспомнить о той решающей роли, которую сыграли в нашей истории революционные войны. Война — источник огромного количества наших политических идей, война подразумевает сплочение воедино сил нации перед лицом врага, и наши французские историки всегда резко отзывались о восстаниях, затруднявших защиту отечества. Кажется, наша демократия относится к бунтовщикам гораздо суровее всякой монархии: вандейцы и теперь еще постоянно выставляются подлыми изменниками. Все статьи Клемансо против Эрве[9] возникли под влиянием чистейшей революционной традиции — он сам открыто говорит об этом: «Я выступал и всегда буду выступать за старомодный патриотизм наших предков времен Революции», — и смеется над теми, кто хочет «уничтожить международные войны, чтобы *мирно ввергнуть нас в радости войн гражданских*» (Aurore, 12 mai 1905).

Республиканцы во Франции довольно долго отрицали борьбу классов; они так боялись возмущений, что даже отказывались признавать очевидные факты. Они судили обо всем с точки зрения отвлеченной Декларации прав человека и утверждали, что законодательство 1789 года было создано именно для того, чтобы уничтожить всякое различение классов в области права. Именно поэтому они выступали против проектов социального законодательства, которые почти всегда предлагали вернуть понятие класса и выделяли среди граждан группы, которые не могут пользоваться свободой. «Революция полагала, будто она уничтожила

---

7 А. Тюро довольно долго был редактором националистической газеты L'Éclair и одновременно La Petite République. Жюде, возглавив L'Éclair, поблагодарил своего коллегу-социалиста.

8 La Petite République — ежедневная газета республиканской направленности, основанная в 1876 г.

9 Гюстав Эрве (Gustave Hervé, 1871–1944) — социалист и ярый антимилитарист, неоднократно подвергавшийся преследованиям за антивоенные выступления. Во второй половине жизни перешел на позиции национал-социализма и фашизма.

классы, — меланхолично писал Жозеф Рейнак[10] в Le Matin 19 апреля 1895 года, — но они возрождаются с каждым нашим шагом... Необходимо признать это повторное наступление прошлого, но не мириться с ним надо, а воевать»[11].

В ходе избирательных кампаний многие республиканцы увидели, что социалисты добиваются больших успехов, пользуясь существующими в нашем обществе страстями: завистью, обманом и ненавистью. С этих пор они стали замечать классовую борьбу и в значительной степени заимствовали у парламентских социалистов их жаргон — так возникла партия так называемых радикалов-социалистов. Клемансо даже уверяет, что знает *умеренных*, которые в одночасье сделались социалистами: «Во Франции, — говорит он, — мои знакомые социалисты[12] — отменные радикалы, которые убеждены, что социальные реформы не продвигаются в нужном им направлении, и говорят, что верная тактика велит требовать наибольшего, чтобы получить немногое. Сколько имен, сколько потаенных доказательств мог бы я привести в подтверждение моих слов; в этом, впрочем, и нет надобности — все это хорошо известно» (Aurore, 14 août 1905).

Леон Буржуа, не пожелавший поддаться этой новой моде и, быть может, из-за этого променявший палату депутатов на Сенат, говорил на съезде своей партии в июле 1905 года: «Борьба классов — непререкаемый факт, но факт жестокий. Я не верю, что, продлевая ее, можно приблизиться к разрешению проблемы, — я думаю, что цели можно достичь, подавляя и уничтожая классовую борьбу, чтобы все люди чувствовали себя товарищами по общему делу». Нужно, стало быть, установить социальный мир законодательным путем, показывая бедным, что у правительства нет большей заботы, чем улучшать их участь, и требуя необходимых жертв от людей, чье состояние слишком велико, чтобы не нарушать гармонии классов.

Капиталистическое общество настолько богато, а его представления о будущем настолько оптимистичны, что оно переносит самые ужасные вещи без особенных жалоб: в Америке политики бесстыдно растрачивают огромные налоги, в Европе военные приготовления поглощают с

---

10 Жозеф Рейнак (Joseph Reinach, 1856–1921) — редактор газеты La République Française депутат парламента от «умеренных республиканцев». Видный защитник Дрейфуса, автор семитомной «Истории дела Дрейфуса».

11 *J. Reinach*. Démagogues et Socialistes, p. 198.

12 Клемансо давно и близко знаком со всеми социалистами в парламенте.

каждым днем все более значительные суммы[13] — ценой некоторых дополнительных уступок вполне можно было бы купить и социальный мир[14]. Опыт показывает, что буржуазия легко дает себя ощипать, если только на нее немного надавить и припугнуть революцией. Будущее принадлежит той партии, которая будет смелее всех манипулировать призраком революции. Радикальная партия уже начинает это понимать, но как ни ловки эти клоуны, все же им придется немало потрудиться, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы втереть очки крупным еврейским банкирам так же ловко, как это делают Жорес и его друзья.

С. — Третий взгляд на борьбу классов дают профессиональные союзы. Во всякой отрасли промышленности хозяева и трудящиеся составляют враждующие между собой группы, которые вступают в конфликты, ведут переговоры и заключают соглашения. Социализм вносит в их отношения свою терминологию социальной борьбы и тем самым осложняет эти споры, которые без него продолжали бы носить частный характер. Это ведет к укреплению веры в корпоративную исключительность, очень напоминающей дух местной или расовой общности, и ее приверженцы любят воображать, что они исполняют высокий долг и заняты истинным социализмом.

Известно, что когда в торговых судах рассматривается дело, в котором одну из сторон представляет заезжий человек, то судья обычно очень немилостив к нему и стремится решить дело в пользу своего земляка. Железнодорожные компании платят за земли по немыслимым таксам, которые устанавливаются присяжными, набранными из местных землевладельцев. Я видел береговых инспекторов, которые под предлогом вымышленных нарушений душили штрафами итальянских рыбаков, приезжавших в их местность и составлявших конкуренцию тамошним жителям, и приводили в свое оправдание древние забытые договоры. Точно так же очень многие рабочие склонны думать, что во всех спорах, возникающих между ними и хозяином, мораль и правда непременно на их стороне. Я слышал, как один

---

13 На Гаагской конференции германский делегат заявил, что его страна с легкостью переносит издержки вооруженного мира. Леон Буржуа заявил, что Франция «тоже легко переносит личные и финансовые обязательства, которые накладывает на ее граждан национальная оборона». А Ш. Гийес, цитирующий эти слова, полагает, что царь потому потребовал ограничения военных расходов, что Россия еще недостаточно богата, чтобы жить так же широко, как и главные капиталистические державы. (*Ch. Guieyesse*, La France et la Paix armée, p. 45.)

14 Вот почему Бриан 9 июня 1907 г. заявил своим избирателям в Сент-Этьене, что Республика взяла на себя *священное* обязательство, касающееся пенсий для рабочих.

секретарь профсоюза, фанатичный реформист, отрицавший даже ораторский талант Геда, утверждал, что ни в ком нет столь развитого классового чувства, каким обладает он — на основании вышеприведенного рассуждения, — и заключал из этого, что у революционеров нет монополии на верное понимание борьбы классов.

Нетрудно понять, почему многие оценивают такой узкокорпоративный дух не выше узкого патриотизма и предпринимают попытки его уничтожить средствами, подобными тем, какие когда-то умерили соперничество между провинциями. Провинциализм быстро исчезает с развитием общей культуры и знакомством с выходцами из других местностей. Нельзя ли рассеять корпоративный дух, часто сводя видных профсоюзных деятелей с хозяевами и предоставляя им возможность в смешанных комиссиях вступать в прения по поводу общих дел? Опыт показал, что это возможно.

II

Усилия, которые были приложены к тому, чтобы уничтожить причины взаимной ненависти, существующие в современном обществе, привели к неоспоримым результатам, хотя сами миротворцы глубоко заблуждались относительно значения своей деятельности. Указывая некоторым профсоюзным работникам, что буржуа вовсе не так ужасны, как им казалось, осыпая их любезностями в комиссиях, учрежденных при министерствах или при *Социальном музее*, внушая им, что существует *естественная республиканская справедливость*, стоящая выше классовых предубеждений и классовой ненависти, они сумели изменить взгляды некоторых бывших революционеров[15]. Это обращение старых вождей вызвало в рабочем классе глубокое смятение. Не у одного социалиста прежний энтузиазм сменился разочарованием, и многие рабочие задумались, не станет ли профсоюзная организация разновидностью политики, средством сделать карьеру.

Но в то самое время, как происходили эти изменения, наполнившие радостью сердца миротворцев, значительная часть пролетариата возвращалась к революционному образу мыслей. С тех пор как республиканское правительство и филантропы задались целью уничтожить социализм,

15 Ничто не ново под луной в делах социального клоунства. Аристотель уже сформулировал правила социального мира, сказав: «Демагогам, наоборот, следовало бы всегда говорить в пользу состоятельных, а в олигархиях олигархи должны были бы радеть об интересах народа» (там же, с. 550). Вот текст, который следовало бы написать на дверях отделений Управления труда.

развивая социальное законодательство и сдерживая сопротивление хозяев во время стачек, конфликты стали все чаще приобретать небывалую остроту[16]. Зачастую это объясняют как пережиток старых заблуждений, ведь многие любят баюкать себя надеждой, что стоит только промышленникам лучше понять обычаи социального мира, как все пойдет прекрасно[17]. Я, напротив, утверждаю, что это явление проистекает из тех самых обстоятельств, в которых происходит мнимое примирение.

Прежде всего, я замечаю, что теория и поступки этих миротворцев основаны на понятии долга, а между тем это понятие совершенно неопределенное, тогда как право требует строгих определений. Это различие происходит от того, что право имеет реальный базис в производственных отношениях, а понятие долга опирается на чувства смирения, сердечной доброты, самопожертвования; и кто же осудит того, кто подчиняется долгу, за то, что он достаточно смирен, добр или способен на жертву! Христианин убежден, что никогда не сможет исполнить всего, что ему предписывает Евангелие: избавившись от всяких экономических уз (в монастыре), он налагает на себя всевозможные благочестивые обязанности, стремясь приблизить свою жизнь к жизни Христа, который возлюбил людей так сильно, что ради искупления их грехов принял позорную казнь.

В сфере же экономических отношений каждый определяет свой долг по степени сожаления, с каким он отказывается от той или иной выгоды. И если хозяин полагает, что исполнил свой долг, то трудящийся будет как раз противоположного мнения, и никакими доводами их не заставить рассуждать иначе: первый может думать, что он вел себя героически, а второй — видеть в этом мнимом героизме постыдную эксплуатацию.

Для наших великих жрецов долга договор о найме — это не акт купли-продажи. Ничего нет проще купли-продажи: никто не стремится узнать, кто прав — лавочник или покупатель, когда они не сходятся в цене сыра. Покупатель идет туда, где рассчитывает купить дешевле, а лавочник принужден понизить цены, чтобы не остаться без покупателей. Но когда вспыхивает стачка, картина меняется: тут

16 См. *G. Sorel*, Insegnamenti sociali, p. 343.

17 11 мая 1907 г., выступая с речью, Жорес сказал, что нигде не было столько насилия, как в Англии, пока хозяева и правительство отказывались признавать профсоюзы. «Они пошли на уступки, и теперь профсоюзы приобрели силу и твердость, но действуют законно и мудро».

все доброхоты, сторонники прогресса и друзья Республики принимаются обсуждать, которая из двух сторон права, — *быть правым значит исполнить свой гражданский долг.* Множество советов, на каких началах следует организовать труд для всемерного исполнения долга, дал Ле Пле, но он не мог точно установить границы обязательств одних по отношению к другим: он отсылал к такту, к точному чувству ранга, к разумной оценке хозяином истинных потребностей рабочего[18].

Обыкновенно хозяева охотно принимают такое рассуждение и в ответ на требования трудящихся заявляют, что дошли до предела уступок, на которые могли согласиться, в то время как филантропы интересуются, не позволяют ли отпускные цены еще немного увеличить заработную плату. Такой спор предполагает понимание того, как далеко простирается общественный долг и какие отчисления следует делать хозяину, чтобы *соответствовать своему рангу.* Так как нет никакого рассуждения, которое помогло бы разрешить эту задачу, *благоразумные люди* советуют обратиться в суд. Рабле предложил бы просто бросать жребий. Когда стачка достигает значительного размаха, депутаты громко требуют расследования, чтобы установить, исполняют ли промышленники *обязанности добрых хозяев.*

Этот путь приводит к определенным результатам, хотя он и кажется нелепым, так как, с одной стороны, крупные хозяева воспитаны в духе гражданских, филантропических и религиозных идей[19], а с другой — они не могут быть слишком строптивыми перед лицом требований, которые им предъявляют высокопоставленные государственные чиновники. В стремлении преуспеть примирители рискуют собственным самолюбием, и если бы промышленники препятствовали им в достижении социального мира, то это бы их сильно уязвило. Рабочие находятся в более выгодном положении, потому что престиж примирителей в их глазах вовсе не так велик, как в глазах капиталистов — поэтому и последние уступают с гораздо большей легкостью, чем первые, позволяя доброхотам получать лавры за улаживание конфликта. Замечено, что когда дело находится в руках разбогатевших рабочих, то эти средства редко приводят к успеху, так как литературные, нравственные и социологи-

18 *F. Le Play*, L'Organisation du travail, chap. II, § 21. По его мнению, чтобы более или менее автоматически регулировать зарплату, необходимо учитывать в первую очередь моральные силы, а не вымышленные системы.

19 О силах, поддерживающих чувства умеренности, см.: *Insegnamenti sociali,* 3[e] partie, chap. V.

ческие соображения мало трогают людей, родившихся вне буржуазной среды.

Те, кому выпадает вести такие переговоры, неверно истолковывают поведение некоторых профсоюзных секретарей, находя их гораздо менее непримиримыми, чем они предполагали, и вполне готовыми к восприятию идеи социального мира. Так как на примирительных заседаниях немало революционеров выказывают тяготение к мелкой буржуазии, многие весьма разумные люди воображают, будто революционные и социалистические концепции — лишь досадное недоразумение, которое можно устранить, выработав лучшие способы организации отношений между классами. Они полагают, что весь рабочий люд воспринимает экономику с точки зрения долга, и внушают себе, что согласие будет достигнуто, если дать гражданам хорошее социальное воспитание.

Рассмотрим теперь, под какими влияниями складывается другое течение, стремящееся усилить остроту конфликтов.

Рабочие прекрасно понимают, что работа примирительных и арбитражных комиссий не имеет под собой никаких экономических или юридических оснований, и, может быть, инстинктивно выбирают соответствующую тактику. Так как в процессе примирения затронуты чувства и в особенности самолюбие миротворцев, то лучше всего посильнее воздействовать на их воображение, внушая, что им предстоит титанический труд. Поэтому рабочие расширяют список требований и выбирают цифры наобум, не боясь их завысить. Часто успех стачки зависит от ловкости одного из членов профсоюза, который, хорошо понимая дух *социальной дипломатии*, сумеет выдвинуть требования, по сути совершенно случайные, но при этом создающие впечатление, что хозяева предприятия не исполняют своего социального долга. Нередко авторы, изучающие эти вопросы, удивляются тому, что стачка длится несколько дней, прежде чем бастующие сговорятся о требованиях, и что в их окончательном перечне появляются такие пункты, о которых не было и помину в предварительных переговорах. Это легко объясняется, если только поразмыслить о тех странных условиях, при которых происходит соглашение между заинтересованными сторонами.

Меня же удивляет, что нет еще профессиональных стачечников, которые бы брали на себя задачу предъявлять требования от лица рабочих. Они добивались бы тем большего успеха в советах по примирению, что не верили бы

красивым словам, часто усыпляющим бдительность рабочих делегатов[20].

Когда переговоры заканчиваются, многие рабочие вспоминают, что поначалу хозяева утверждали, будто никакие уступки с их стороны невозможны. Из этого рабочие делают вывод, что хозяева либо невежды в своем деле, либо лгуны, а такие итоги едва ли могут способствовать социальному миру!

Пока рабочие беспрекословно соглашались на хозяйские требования, они полагали, что воля их хозяев полностью подчинена экономическим потребностям. Но после стачки они ясно видят, что эти потребности далеко не так суровы и что если оказать снизу сильное давление на волю предпринимателей, то эта воля всегда сумеет вырваться из мнимых экономических пут. Таким образом, преследуя реальные цели и держась в рамках практики, рабочие представляют себе капитализм как *свободную* силу и рассуждают уже так, будто он в самом деле совершенно свободен. По их мнению, ограничивает эту свободу не необходимость конкуренции, но невежество крупных промышленников. Так появляется понятие о *безграничности производства* — один из постулатов социалистической теории Маркса о классовой борьбе[21].

Зачем тогда говорить о социальном долге? Долг понятен в том обществе, где все части вполне солидарны между собой, но если капитализм неограничен, то общность интересов не основана больше на экономике, и рабочие считают, что были бы дураками, если бы не пытались требовать всего, что они могут получить. Они смотрят на хозяина как на противника во время переговоров по окончании войны. *Нет долга социального, как нет долга международного.*

Охотно допускаю, что большинству умов эти мысли не вполне ясны, но все же они занимают там гораздо более прочное положение, чем думают сторонники социального мира. Эти люди доверяют кажимостям и не видят скрытые корни современных социалистических тенденций.

Прежде чем перейти к другим соображениям, следует заметить, что наши романские страны представляют большое препятствие для осуществления социального мира, потому что по внешним признакам классы здесь разделены гораздо отчетливее, чем в странах германской расы. Эти внешние отличия очень стесняют многих профсоюзных вождей, когда они оставляют свой прежний образ жизни и переходят в

20 Французский закон от 27 декабря 1892 г. как будто бы предвидел эту возможность: он постановил, что делегаты комитетов примирения должны набираться из числа заинтересованных лиц. Тем самым он исключает возможность участия профессионалов, чье присутствие подорвало бы престиж представителей власти и филантропов.

21 *G. Sorel,* Insegnamenti sociali, p. 390.

официальную или филантропическую среду[22]. С тех пор как в этом кругу знают, что тактика постепенного обуржуазивания профсоюзных функционеров может принести превосходные результаты, их принимают там очень радушно, но их собственные товарищи уже им не доверяют. Во Франции это недоверие сделалось особенно заметным, когда в профсоюзном движении стало участвовать много анархистов, так как всякий анархист питает отвращение к методам и обычаям политиков, одержимых мечтой пробраться в высшие классы, капиталистов по духу, пусть и без гроша в кармане[23].

Социальная политика вызвала к жизни новые явления, которые теперь необходимо учитывать. Прежде всего, можно заметить, что рабочие сегодня стали так же *важны*, как и другие группы производителей, требующие защиты; они нуждаются в таком же попечении, как виноградари или сахарозаводчики[24]. В протекционизме нет ничего определенного — размер таможенных пошлин устанавливается в соответствии с аппетитами влиятельных людей, желающих увеличить свои доходы, — так же действует и социальная политика. Протекционистское правительство делает вид, будто располагает сведениями, которые позволяют ему отмерять, сколько полагается той или иной группе, и покровительствовать промышленникам без ущерба для потребителей; точно так же социальная политика возвещает, что она примет во внимание интересы как хозяев, так и рабочих.

В то, что государство может выполнить подобную программу, могут верить разве что на юридических факультетах. В действительности депутаты принимают решения так, чтобы удовлетворить интересы самых влиятельных избирателей и в то же время не возбудить особенно громких протестов в лагере тех, кого приносят в жертву. Для них нет другого

---

22 Все, кто наблюдал вблизи профсоюзных вождей, поражаются тому, насколько они непохожи в Англии и во Франции. Вожди тред-юнионов стремительно превращаются в джентльменов, и никто их за это не критикует (P. de Rousiers, Le Trade-unionisme en Angleterre, p. 309, 322). В момент исправления гранок этой книги я прочел статью Жака Барду, где сообщается, что Эдуард VII посвятил в рыцари одного плотника и одного шахтера (Les Débats, 16 décembre 1907).

23 Несколько лет назад Арсен Дюмон предложил термин «социальная капиллярность», чтобы выразить медленное восхождение по классовой лестнице. Если бы синдикализм следовал упованиям примирителей, он был бы мощным инструментом социальной капиллярности.

24 Часто отмечали, что в Англии профсоюзы занимаются защитой простейших интересов и имеют в виду непосредственные материальные выгоды. Некоторые авторы очень этим довольны, так как не без оснований видят здесь препятствие для социалистической пропаганды. Докучать социалистам, пусть даже ценой экономического прогресса и спасения культуры будущего, — вот главная цель, которую ставят перед собой некоторые выдающиеся идеалисты из филантропической буржуазии.

правила, кроме действительной или предполагаемой выгоды избирателей: каждый день таможенная комиссия пересматривает тарифы и объявляет, что не прекратит пересматривать их до тех пор, пока ей не удастся прочно зафиксировать цены, которые, по ее мнению, будут удовлетворять тех людей, которым она стремится содействовать. Она зорко следит за сделками импортеров: малейшее понижение цен беспокоит ее, и она изыскивает возможность поднять их искусственным путем. Социальная политика проводится точно так же: 27 июня 1905 года докладчик по законопроекту о продолжительности рабочего дня шахтеров объявил палате депутатов: «В случае если применение этого закона вызовет недовольство рабочих, *мы обязуемся* незамедлительно внести другой законопроект». Этот добрейший человек говорил в точности как докладчик по таможенному законопроекту.

Большинство рабочих отлично понимают, что весь этот ворох парламентской писанины нужен лишь для прикрытия истинных побуждений, которыми руководствуются правительства. Протекционисты добиваются своего, субсидируя видных партийных вождей или газеты, которые поддерживают политику этих партийных вождей. У рабочих же нет денег, но в их распоряжении есть средство гораздо более действенное — они могут *пугать*, и вот уже несколько лет они не чураются применения этого оружия.

При обсуждении закона о рабочем дне шахтеров неоднократно упоминалось об угрозах в адрес правительства. 5 февраля 1902 года председатель комиссии сообщил палате депутатов, что власть «внимательно прислушалась ко всем волнениям и толкам извне, прониклась чувством великодушного расположения и вняла требованиям рабочих и страдальческим воплям шахтеров, *в каком бы тоне они ни выражались*». Далее он добавил: «Мы исполнили дело социальной справедливости... и благое дело, шагнув навстречу трудящимся и страдающим; это наши друзья, желающие только одного — трудиться в мире и в достойных человека условиях, и мы не должны, поддаваясь жестокой и эгоистической непримиримости, толкать их во власть порывов, которые *если и не приведут к восстаниям*, то все же сделают их жертвами новых невзгод». Все эти неясные фразы должны были скрыть непреодолимый страх, которым был охвачен этот любитель пышных выражений[25]. На заседании

25 Этот глупец стал министром торговли. Все его речи по этому вопросу полны галиматьи. Ранее он был врачом-психиатром и, возможно, подвергся влиянию логики и языка своих клиентов. [Речь идет о Фернане Дюбьефе (Fernand Dubief, 1850–1916), занимавшем пост министра торговли в 1905 г. — *Прим. ред.*]

6 ноября 1904 года в Сенате министр заявил, что правительство не может уступать тем, кто ему угрожает, однако «почтительные ходатайства» (!) следует не только выслушать и понять, но и принять в свое сердце. Между тем не так много воды утекло с тех пор, как правительство обещало издать закон под угрозой всеобщей стачки[26].

Можно было бы привести и другие примеры в подтверждение тому, что решающим фактором социальной политики является трусость правительства. Самым очевидным образом это проявилось в недавних прениях по поводу, во-первых, упразднения бюро по найму и, во-вторых, закона, передавшего жалобы на решения примирительных комиссий в ведение гражданских судов. Почти все профсоюзные вожди умеют извлекать из этого положения существенные выгоды и учат рабочих, что нужно не просить милости, а пользоваться *трусостью буржуазии*, чтобы навязать ей волю пролетариата. Успешность этой тактики подтверждается столь многими фактами, что она не может не прижиться в рабочем классе.

В ряду наиболее поразительных для самих трудящихся явлений последних лет я отмечаю робость полиции и армии перед лицом волнений: магистраты до последнего момента не пользуются правом призывать войско, а полицейские переносят оскорбления и побои с невиданным прежде терпением. Опыт неизменно показывает, что насилие со стороны рабочих во время стачек обладает удивительной действенностью: префекты боятся необходимости применить законную силу против мятежного насилия и оказывают давление на хозяев, чтобы заставить их уступить. Спокойствие заводов и фабрик теперь считается всецело зависящим от префекта, и поэтому он определяет меру вмешательства полиции, чтобы подавить обе стороны и ловко привести их к замирению.

Руководителям профсоюзного движения не нужно было много времени, чтобы уяснить себе эту ситуацию, и надо признать, что они с редкостной сноровкой воспользовались попавшим к ним в руки оружием. Они стремятся устрашить префектов народными демонстрациями, способными привести к крупным столкновениям с полицией, и ратуют за бурные действия, видя в них лучшее средство добиться уступок. Обыкновенно бывает так, что осажденная и запуганная администрация в скором времени начинает наседать

26 Министр заявил, что он осуществляет «подлинную демократию» и что было бы демагогией «подчиняться внешнему давлению и надменным ультиматумам, которые по большей части суть лишь преувеличения и низменные приманки, взывающие к доверчивости тех, чья жизнь преисполнена тягот».

на промышленников и навязывает им переговоры, что, конечно, служит поощрением для пропагандистов насилия.

Признавайте или осуждайте тактику так называемого *прямого революционного действия*, но очевидно, что она далека от исчезновения. В стране столь воинственной, как Франция, есть важные причины, которые обеспечили бы этому методу большую популярность, даже если бы в истории не было многочисленных подтверждений его необычайной действенности. Этот факт занимает важное место в современной общественной жизни, и нужно попытаться определить его значение.

Не могу удержаться, чтобы не привести рассуждение Клемансо о наших отношениях с Германией, которое так же хорошо применимо к социальным конфликтам, когда они приобретают насильственный характер (а это, вероятно, будет случаться все чаще по мере того, как трусливая буржуазия будет все больше увлекаться погоней за химерой социального мира). «Нет лучшего средства, — говорит Клемансо, — подвигнуть противную сторону повышать свои требования [чем политика бесконечных уступок]. Всякий человек, всякая держава, если они лишь уступают, в конце концов добровольно изгоняют себя из жизни. Кто живет, тот сопротивляется, а кто не сопротивляется, того растащат по кусочкам» (Aurore, 15 août 1905).

Социальная политика, основанная на трусости буржуазии и состоящая в постоянном отступлении перед угрозами насилия, не может не заронить в людях мысль, что буржуазия обречена на смерть и что ее исчезновение есть лишь вопрос времени. Поэтому каждое столкновение, которое дает повод к насилию, становится сражением на передовой, и никто не может предвидеть, что выйдет из этого дальше. И пусть генеральное сражение все откладывается, но в данном случае каждый раз, когда дело доходит до столкновения, стачечники надеются на начало великой *наполеоновской битвы* (то есть такой, которая окончательно раздавит побежденных). Так в практике стачек рождается представление о революции как катастрофе.

То же замечает мудрый наблюдатель современного рабочего движения: «Подобно своим предкам, [французские революционеры] выступают за борьбу, за завоевание; они хотят силой свершить великие дела. Но захватнические войны уже не манят их. Они мечтают теперь не о битве, а о стачке; свой идеал они видят не в боях против европейских армий, но во всеобщей стачке, в которой испустит последний вздох капиталистический строй»[27].

27 *Ch. Guiyesse*, op. cit., p. 125.

Теоретики социального мира не хотят замечать эти неудобные для них факты. Наверное, им стыдно сознаться в трусости, так же как правительству стыдно признать, что его социальная политика есть ряд уступок перед угрозой восстания. Любопытно, что люди, хвастающиеся тем, что читали Ле Пле, не заметили, что он был совершенно иного мнения об условиях социального мира, чем его недалекие последователи. Он предполагал существование буржуазии, твердой в своих принципах, проникнутой глубоким сознанием собственного достоинства и обладающей необходимой энергией, чтобы управлять страной, не обращаясь за помощью к старой традиционной бюрократии. Этим-то людям, располагавшим богатством и властью, он хотел привить сознание *социального долга по отношению к их подданным*. Его система предполагает неоспоримый авторитет власти. Известно, что свободу печати, царившую при Наполеоне III, он считал возмутительной и опасной — его размышления по этому поводу заставят улыбнуться тех, кто захотел бы сравнить тогдашние газеты с современными[28]. В его время никто бы не предположил, что великая страна станет добиваться мира любой ценой, — в этом его точка зрения не очень сильно отличается от взглядов Клемансо. Он никогда не допускал возможности, что можно дойти до такой степени низости и лицемерия, чтобы прикрывать именем социального долга трусость буржуазии, неспособной себя защитить.

Трусость буржуазии очень сходна с трусостью английской либеральной партии, которая на каждом шагу выражает полное доверие к международному суду: суд почти всегда выносит решения, разорительные для Англии[29], но эти *добрые* люди предпочитают платить и даже рисковать будущим своей страны, лишь бы только не испытывать ужасов войны. У английской либеральной партии всегда на устах словечко «справедливость» — в точности как и у нашей буржуазии. Интересно было бы задуматься: не основывается ли вся высокая мораль великих современных мыслителей на упадке чувства чести?

---

28 Рассуждая о выборах 1869 г., он утверждал, что тогда «применялось такое неслыханное насилие в сфере языка, какого не бывало во Франции даже в наихудшие дни революции» (*F. Le Play*, L'organisation du travail, 3e édition, p. 340). Очевидно, речь идет о революции 1848 г. В 1873 г. он объявил, что императору не следовало бы хвалиться тем, что он отменил систему ограничений в печати, прежде чем исправить нравы в стране (La réforme sociale en France, 5^{e} édition, tome III, p. 356).

29 Самнер Мэн уже довольно давно заметил, что Англию постигла участь отвратительных сутяг (*Sumner Maine H.*, Le droit international, trad. franc., p. 279). Многие англичане полагают, что, унижая свою страну, они завоюют расположение других, однако доказательств этому не находится.

ГЛАВА II

Упадок буржуазии и насилие

I. — *Парламентариям необходимо устрашать. — Методы Парнелла. — Казуистика: глубинное единство групп парламентского социализма.*

II. — *Вырождение буржуазии благодаря мирной жизни. — Концепции Маркса о необходимости. — Роль насилия для восстановления прежних социальных отношений.*

III. — *Отношения между революцией и экономическим процветанием. — Французская революция. — Христианское завоевание мира. — Грозящие миру опасности.*

I

Понять пролетарское насилие очень тяжело, если исходить из тех понятий, которые распространила буржуазная философия: согласно этой философии, насилие есть пережиток варварства, которому предстоит исчезнуть под влиянием прогресса. Вполне понятно поэтому, что Жорес, воспитанный на буржуазной идеологии, питает глубокое презрение к людям, восхваляющим пролетарское насилие. Он удивляется, как образованные социалисты могут действовать совместно с синдикалистами, и вопрошает, какие чудеса лицемерия позволяют людям, зарекомендовавшим себя мыслителями, нагромождать софизмы для придания разумного вида мечтаниям *неотесанных персонажей, совершенно не умеющих мыслить*[30]. Этот вопрос сильно беспокоит друзей Жореса, которые охотно клеймят представителей «новой школы» демагогами и обвиняют их в погоне за одобрением импульсивных масс.

Парламентские социалисты не могут понять целей «новой школы». Они воображают, что весь социализм сводится к изысканию средств для захвата власти. Не хотят ли случаем представители «новой школы» лживыми обещаниями переманить на свою сторону наивных избирателей и отбить несколько депутатских мест у социалистов-богачей? Кроме того, апология насилия может привести к пренеприятным результатам, отвращая рабочих от избирательной политики, что значительно уменьшит шансы

30 Похоже, именно в таких выражениях говорит о пролетарском движении бомонд рафинированного социализма.

кандидатов-социалистов за счет роста числа воздержавшихся. Неужели кто-то хочет новых гражданских войн? Нашим великим государственным деятелям это кажется безумием.

С момента появления нового огнестрельного оружия и устройства в городах прямых улиц гражданская война стала почти невозможна[31]. Последние события в России показали даже, что правительство может рассчитывать на усердие офицеров в гораздо большей степени, чем предполагалось. Когда русские потерпели поражение в Маньчжурии, почти все французские политические деятели предсказывали неминуемую гибель царизма, но во время вспыхнувших волнений русская армия не выказала и тени той мягкости, которой отличалась французская армия в продолжение наших революций, и почти везде восстания были подавлены быстро, жестко или даже беспощадно. Прения на съезде германских социал-демократов в Йене[32] показали, что парламентские социалисты уже вовсе не рассчитывают на вооруженную борьбу как средство завоевания государственной власти.

Значит ли это, что они, безусловно, против насилия? Полное спокойствие народа не в их интересах — им на руку небольшие волнения, но необходимо, чтобы оно оставалось в известных границах и управлялось политиками. Жорес заигрывает с Всеобщей конфедерацией труда[33], когда это кажется ему выгодным. Иногда он рекомендует своим миролюбивым подчиненным наполнить газету[34] революционными фразами; его считают мастером извлечения выгоды из народного гнева. Ловко направляемые волнения в высшей степени выгодны парламентским социалистам, которые хвастаются перед правительством и богатой буржуазией умением сдерживать революцию. Так они могут устраивать интересующие их финансовые аферы, оказывать маленькие услуги влиятельным избирателям и проводить через парламент социальные законы, чтобы придать себе больше важности в глазах болванов, воображающих, будто эти социалисты — великие пре-

---

31 См. размышления Энгельса в предисловии к переизданию статей Маркса, вышедшему в 1895 г. под заглавием «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.». Этого предисловия нет во французском переводе. В немецком издании имеются купюры, так как вожди социал-демократии нашли некоторые фразы Энгельса недостаточно корректными.

32 В 1905 г. в Йене прошел съезд Социал-демократической партии Германии.

33 В зависимости от своих нужд он выступает то за всеобщую стачку, то против нее. Одни утверждают, что на Международном [социалистическом. — *Прим. ред.*] конгрессе 1900 г. он голосовал за нее, другие — что воздержался от голосования.

34 Речь идет о L'Humanité, которую Жорес основал в 1904 г.

образователи права. Но для того, чтобы все это удалось, нужны постоянные нарушения спокойствия, при помощи которых можно наводить страх на буржуа.

Эти люди думают, что всякий раз, как между рабочими и хозяевами вспыхивает экономический конфликт, можно наладить регулярные дипломатические переговоры между социалистической партией и государством, чтобы частные разногласия решали *две власти*. В Германии правительство вступает в торг с церковью каждый раз, когда клерикалы начинают наседать на администрацию. Социалистам неоднократно ставили в пример Парнелла, которому весьма часто удавалось навязать Англии свою волю. Сходство с Парнеллом в данном случае тем более велико, что его авторитет покоился не только на большом количестве избирательных голосов, но также и главным образом на том ужасе, который испытывали все англичане при первых же признаках аграрного движения в Ирландии. Небольшая порция насилия, контролируемого группой парламентариев, сослужила добрую службу политике Парнелла, так же как теперь оно помогает политике Жореса: в обоих случаях парламентская группа *продает общественное спокойствие консерваторам*, которые не смеют проявлять свою силу.

Нелегко последовательно держаться такой дипломатии, и нельзя сказать, чтобы ирландцы после смерти Парнелла проводили ее столь же успешно, как при его жизни. Во Франции она встречает особое затруднение, так как управление рабочим классом нигде, вероятно, не вызывает столько сложностей: возбудить гнев народа довольно легко, но не так-то легко его погасить. Пока у нас не будет очень богатых и сильно централизованных профсоюзов, руководители которых будут поддерживать постоянные отношения с политиками[35], — до тех пор будет совершенно невозможно определить, какой размах может принять насилие. Жорес очень хотел бы, чтобы такие рабочие организации существовали, потому что в тот день, когда широкая публика заметит, что он не может сдерживать революцию, его престиж исчезнет в один миг.

---

35 Гамбетта сетовал, что французское духовенство оказалось «безголовым»: он хотел, чтобы в его рядах сформировалась элита, с которой могло бы дискутировать правительство (*Garilhe*, Le Clergé séculier français au XIX siècle, p. 88–89). У синдикализма нет головы, с помощью которой можно было бы успешно заниматься дипломатией.

Все становится вопросом оценки, меры, целесообразности, и чтобы вести такую дипломатию, нужна большая проницательность, такт и спокойная решимость: рабочих надо уверять, что вы несете знамя революции, буржуазию — что отдаляете грозящую ей опасность, а страну — что выражаете несокрушимое направление мысли. Громадное большинство избирателей совершенно не осведомлено в экономической истории и вовсе не понимает, что происходит в политике. Оно принимает сторону тех, кто кажется ему сильнее, и эти люди могут добиться от него чего угодно, если только сумеют ему доказать, что им под силу заставить правительство капитулировать. Однако не следует заходить слишком далеко, потому что буржуазия может опомниться, и тогда страна очутится во власти какого-нибудь убежденного консерватора. Пролетарское насилие, которое не поддается никакой оценке, не подчиняется соображениям умеренности или целесообразности, может нарушить любое равновесие и свести на нет социалистическую дипломатию.

Эта дипломатия разыгрывается на всех уровнях: в правительстве, с руководителями парламентских групп, с влиятельными избирателями. Политики стараются извлечь возможно большую выгоду из разногласий групп, борющихся на политической арене.

Парламентский социализм испытывает некоторое стеснение от того, что социализм изначально строился на абсолютных принципах и долго взывал к тем же протестным чувствам, что и самые радикальные республиканцы. Эти два обстоятельства мешают ведению партикуляристской политики вроде той, которую неоднократно рекомендовал Шарль Бонье: этот автор, долго бывший главным теоретиком гедистов, хотел бы, чтобы социалисты точно следовали примеру Парнелла, который вел переговоры со всеми английскими партиями, не подчиняясь при этом полностью ни одной из них. Подобным образом можно было бы даже заключить соглашение с консерваторами, если бы они предложили пролетариату более подходящие условия, чем радикалы (Le Socialiste, 27 août 1905). Многим такая политика казалась возмутительной. Шарлю Бонье пришлось смягчить свою позицию, и он ограничился требованием действовать в интересах пролетариата (Le Socialiste, 17 septembre 1905). Но как понять, в чем заключаются эти интересы, если в качестве единственного и абсолютного мерила больше не использовать принцип классовой борьбы?

Парламентские социалисты полагают, будто они обладают особыми сведениями, позволяющими им судить не

только о непосредственных материальных выгодах, получаемых рабочим классом, но и о нравственных основаниях, с необходимостью включающих социализм в большую республиканскую семью. На своих конгрессах они бьются над составлением формул для регулирования социал-дипломатии, над определением, какие союзы позволительны, а какие недопустимы, над сочетанием отвлеченного принципа классовой борьбы — которого они стремятся придерживаться на словах — с реальностью согласия между политиканами. Такое предприятие безумно, и поэтому оно либо приводит к недоразумениям, либо вынуждает депутатов занимать жалкую лицемерную позицию. Ежегодно все эти вопросы приходится обсуждать заново, потому что всякая дипломатия требует известной гибкости подхода, несовместимой с соблюдением вполне ясных положений устава.

По изощренности и бессмысленности казуистика, которую можно встретить в спорах между так называемыми *социалистическими школами*, превосходит даже ту, которую высмеивал Паскаль, — во всех различиях, проводимых Жоресом, с трудом разобрался бы даже Эскобар[36]. Моральная теология серьезных социалистов — не самая мелкая буффонада наших дней.

Всякая моральная теология непременно делится на два течения: казуисты говорят, что надо довольствоваться хоть сколько-нибудь правдоподобными мнениями, другие, напротив, стоят за мнения решительные и непреложные. Это различие неизбежно должно было сказаться и у наших парламентских социалистов. Жорес — сторонник мягкого и примирительного подхода, лишь бы только его можно было — худо ли, хорошо ли — сочетать с основными принципами социализма и лишь бы его поддержали несколько признанных авторитетов. Это пробабилист в полном смысле этого слова или даже лаксист. Вайян, напротив, придерживается решительного и воинственного образа действий, который, по его мнению, единственно совместим с принципом классовой борьбы и имеет на своей стороне единодушное сочувствие всех старых учителей, — он тутиорист[37] и почти янсенист.

---

36 Имеется в виду испанский иезуитский проповедник Антонио Эскобар-и-Мендоса (1589–1669).

37 Тутиоризм и пробабилизм — два типа систем моральной теологии, выработанных иезуитами. Согласно тутиоризму, сомнительный закон следует применять так, как если бы он был безошибочным. По пробабилизму, сомнительный закон необязательно исполнять, если против него есть разумные аргументы и мнение авторитетного теолога. Янсенисты тяготели к тутиоризму и критиковали лаксизм — одно из крайних проявлений пробабилизма.

Жорес, конечно, полагает, что действует на благо социализма, подобно тому, как мягкие казуисты считали себя наилучшими и самыми полезными защитниками церкви. Они действительно удерживали слабо верующих христиан от полного неверия и побуждали их исполнять таинства — совершенно так же, как Жорес не дает богатым интеллектуалам, пришедшим к социализму через дрейфусизм, отступить в страхе перед классовой борьбой и побуждает их финансировать партийные печатные органы. Вайян в его глазах — мечтатель, который не видит действительности, упивается химерами о восстании, сделавшемся при настоящих условиях невозможным, и совершенно не понимает, какие выгоды может извлечь из всеобщего избирательного права ловкий политик.

Между этими двумя методами нет различия по существу, как думают парламентские социалисты, величающие себя революционерами, а есть только различие в оттенках. С этой точки зрения Жорес имеет большое преимущество перед своими противниками, так как он всегда подчеркивал основополагающее тождество этих двух подходов.

Оба подхода равно предполагают, что буржуазное общество совершенно распадается, зажиточные классы утратили всякое сознание своих классовых интересов, а люди склонны слепо следовать внушениям тех, кто завладел и управляет общественным мнением. Дело Дрейфуса показало, что просвещенная буржуазия находится в состоянии странного умственного брожения: люди, которые долго и шумно выражали поддержку консерваторам, начали бороться бок о бок с анархистами, приняли участие в жестоких нападках на армию или даже окончательно перешли в лагерь социалистов; с другой стороны, газеты, ставившие себе целью защиту традиционных институтов, поливали грязью чинов Кассационного суда. Этот странный эпизод нашей современной истории обнаружил распадение классов.

Жорес, который так настойчиво вмешивался во все перипетии взаимоотношений дрейфусаров, очень быстро понял душу богатейшей прослойки буржуазии, в которую ему еще не удалось пробраться. Он увидел, что богатейшие буржуа чудовищно невежественны, полны пустого ханжества и политически совершенно бессильны. Он сообразил, что с людьми, не имеющими представления о принципах капиталистической экономики, легко вести политику соглашательства на основах чрезвычайно широко понятого социализма. Наконец, он определил, в каком соотношении

нужно смешать льстивые слова о выдающемся уме тех дураков, которых требуется соблазнить, обращения к бескорыстию пустых мечтателей, приписывающих каждый себе изобретение идеала, и запугивание революцией, чтобы стать повелителем всего этого безыдейного мирка. Опыт показал, что он с замечательной точностью предугадал развитие сил, существующих в современном буржуазном обществе. Вайян, напротив, довольно плохо знает эту среду: он считает, что единственно оружие, пригодное для принуждения буржуазии к уступкам, — это страх. Несомненно, страх — превосходное оружие, но если пользоваться им без соблюдения должной меры, то он легко может вызвать упорное противодействие. Ум Вайяна не отличает замечательная изворотливость и, быть может, даже крестьянская двуличность, которыми блещет Жорес и за которые его неоднократно сравнивали с удачливым торговцем скотом.

Чем ближе мы всматриваемся в историю последних лет, тем больше убеждаемся, что споры по поводу этих двух тактик наивны: сторонники как одной, так и другой одинаково враждебны к пролетарскому насилию, так как оно неподвластно управлению профессиональных парламентских политиков. Революционный синдикализм не нуждается в руководстве со стороны парламентских социалистов, даже если они и называют себя революционерами.

II

Обе тактики официального социализма предполагают одну и ту же историческую данность. К вырождению капиталистической экономики прибавляется идеология боязливой, сострадательной буржуазии, стремящейся освободить свою мысль от условий своего существования. Поколения смелых предпринимателей, которым современное производство обязано своей мощью, уступили место сверхучтивой аристократии, стремящейся жить в мире со всеми. Это вырождение наполняет радостью сердца наших парламентских социалистов. Их роль была бы ничтожной, если бы перед ними была полнокровная буржуазия, устремленная к прогрессу капитализма, видящая в робости позор, а в заботе об интересах своего класса — свое достоинство. Но перед лицом буржуазии, столь же опустившейся, как знать XVIII века, их могущество огромно. Если вырождение высших слоев буржуазии будет продолжаться так же быстро, как в течение последних лет, то

наши официальные социалисты могут вполне основательно рассчитывать на скорое осуществление своих мечтаний: в один прекрасный день они поселятся в роскошных дворцах.

Кажется, лишь два вида случайностей способны остановить этот процесс: большая внешняя война, которая снова вызовет приток энергии и во всяком случае, несомненно, поставит у власти людей, в самом деле желающих управлять[38], или же резкое распространение пролетарского насилия, которое покажет буржуазии революционную действительность и отвратит ее от тех гуманистических пошлостей, какими ее усыпляет Жорес. Именно из-за этих двух главных опасностей Жорес пускает в ход все навыки народного оратора: надо во что бы то ни стало поддерживать мир в Европе, надо положить предел пролетарскому насилию.

Жорес убежден, что Франция будет вполне счастлива в тот день, когда редакторы и меценаты его газеты смогут свободно брать средства из государственной казны. Здесь можно повторить знаменитую поговорку: «Когда Август[39] пил, вся Польша была пьяна». Такое социалистическое правительство, несомненно, разорило бы страну, так как ее управление было бы устроено с той же заботой о порядке в финансах, что царит в L'Humanité. Но стоит ли задумываться о будущем страны, если только новый режим позволит приятно провести время нескольким профессорам, воображающим, будто они выдумали социализм, да нескольким банкирам-дрейфусарам?

Чтобы рабочий класс мог примириться с этой *диктатурой бездарности*, он должен пасть так же низко, как и буржуазия, и потерять всю революционную энергию в то самое время, как его господа потеряют всю энергию капиталистическую. Такое будущее вполне возможно, и сейчас делается все, чтобы заморочить головы рабочим: Управление труда и Социальный музей отдают все силы чудной работе идеалистического воспитания, которое прикрывается самыми пышными именами и выставляется как дело цивилизации пролетариата. Синдикалисты очень стесняют наших профессиональных социалистов, и опыт показывает, что одной стачки порой бывает достаточно, чтобы разрушить весь *труд по воспитанию*

38 См. *G. Sorel*, Insegnamenti sociali, p. 388. Гипотеза о великой европейской войне представляется в настоящий момент неправдоподобной.

39 Имеется в виду польский король и курфюрст Саксонии Август II Сильный (1670–1733). — *Прим. ред.*).

масс, которому фабриканты социального мира терпеливо отдавались в течение нескольких лет.

Чтобы вполне уяснить себе последствия того особенного режима, при котором мы живем, надо обратиться к концепции Маркса о переходе от капитализма к социализму. Эта схема общеизвестна, однако ее приходится повторять, потому что она часто забывается или по меньшей мере не пользуется любовью авторов — официальных социалистов. На ней следует упорно настаивать каждый раз, когда приходится рассуждать о тех антимарксистских изменениях, которым подвергается современный социализм.

По Марксу, капитализм в силу основных свойств своей природы движется по пути, который ведет современное человечество к вратам будущего со всей неукоснительной последовательностью, какая характеризует эволюцию в органической жизни. Это движение заключает в себе продолжительный рост капитализма и оканчивается быстрым его разрушением от рук пролетариата. Капитализм создает сразу и наследие, которое получит социализм, и людей, которые сокрушат существующий режим, и средства, которыми они это сделают; при этом разрушении сохраняются результаты, достигнутые в производстве[40]. Капитализм порождает новые модели производства, толкает рабочий класс в мятежные объединения путем постоянного понижения заработной платы, сужает собственную политическую базу из-за конкуренции, непрерывно устраняющей крупных предпринимателей. Таким образом, решив великую задачу организации труда, что так долго пытались сделать утописты, выдвигая наивные и вздорные гипотезы, капитализм сам подготовляет почву для своего уничтожения — и это обесценивает все, что писали утописты, чтобы подтолкнуть просвещенных людей к проведению реформ. Капитализм постепенно разрушает традиционный строй, против которого с таким прискорбным неуспехом выступали критики идеологов. Можно сказать, что капитализм играет схожую роль с той, которую Гартман отводит в природе Бессознательному: он подготовляет появление социальных форм, которые он не стремится создать. Без общего плана, без всякой руководящей идеи, без идеала будущего общества капитализм

40 Это понятие революционного сохранения весьма важно; нечто похожее я отмечал в переходе от иудаизма к христианству (Le système historique de Renan, p. 72–73, 171–172, 467).

обусловливает собой неизбежные изменения. Он берет от настоящего все, что оно может дать для исторического развития, делает все, что нужно, чтобы новая эра наступила почти механически и порвала всякую связь с нынешней идеологией, сохраняя лишь положительные завоевания капиталистического способа производства[41].

Поэтому социалисты должны прекратить поиски (которые они ведут вслед за утопистами) способов убедить просвещенную буржуазию в том, что она должна сама подготовить переход к более совершенной форме права. Единственная их задача — объяснить пролетариату величие выпавшей ему революционной роли. Надо непрестанной критикой побуждать его к постоянному совершенствованию его организаций; надо показывать ему, как он может развивать зарождающиеся в недрах его протестных объединений формы, чтобы создать из них новые институты, не имеющие прообраза в истории буржуазного общества, чтобы выработать идеи, основанные единственно на его положении как производителя в крупной промышленности и ничего не заимствующие у буржуазной мысли, наконец, чтобы приобрести такие *обычаи* свободы, каких буржуазия сегодня уже не знает.

Ясно, что это учение несостоятельно, если буржуазия и пролетариат не противостоят друг другу — во всеоружии, со всей решимостью, на которую только они способны: чем пламеннее будет отстаивать капитализм буржуазия, тем воинственнее будет настроен пролетариат, тем крепче он будет верить в силу революции и тем больше выиграет движение.

Буржуазия, которую Маркс наблюдал в Англии, была по большей части преисполнена тем завоевательным, неутолимым и беспощадным духом, каким отличались основатели новой промышленности и первооткрыватели, отправлявшиеся на поиски неизведанных земель. При изучении современной экономики всегда нужно иметь в виду это родство между типами капиталиста и воина — людей, возглавляющих гигантские предприятия, во Франции вовсе неслучайно стали называть «капитанами индустрии»[42]. Сегодня этот тип еще можно встретить в чистом виде в Соединенных Штатах: там вы найдете неукротимую энергию, смелость, основанную на верной оценке своих сил, холодный расчет — все качества,

41 См. мои замечания об изменениях, привнесенных Марксом в социализм: Insegnamenti sociali, p. 179–186.

42 Capitaine d'industrie (фр.) — промышленный магнат. — *Прим. пер.*

присущие великим полководцам и великим капиталистам[43]. По словам Поля де Рузье, всякий американец чувствует себя вполне способным попытать счастья (*to try his luck*) в сражении на биржевом поле[44], так что общий дух страны вполне соответствует характеру миллиардеров. Наши литераторы бесконечно удивляются тому, что последние обрекают себя на каторжный труд до конца своих дней, вовсе не стремясь, подобно Ротшильдам, устроить себе аристократическую жизнь.

В обществе, охваченном лихорадочной страстью к успеху и готовом к бесконечному соперничеству, все деятели, подобно автоматам, идут прямо по лежащему перед ними пути, не заботясь о построениях социологов. Они подчинены очень простым силам, и никто из них не думает уклоняться от условий своего положения. Только при таких условиях развитие капитализма идет с той неукоснительностью, которая так поразила Маркса и которую он уподобил естественному закону.

Если же, напротив, буржуа, сбитые с толку *байками* проповедников морали или социологии, возвращаются к *идеалу консервативной умеренности*, пытаются исправить *злоупотребления* экономики и хотят порвать с варварством своих предков, то часть сил, которые должны обеспечивать продвижение капитализма в определенном историей направлении, тормозит это продвижение, в ход исторического развития вторгается случайность и будущее человечества представляется совершенно неопределенным.

Эта неопределенность еще больше усиливается, если пролетариат начинает верить в социальный мир вместе со своими хозяевами или даже если он рассматривает все с корпоративной точки зрения, в то время как социализм выделяет во всех экономических конфликтах общие, революционные черты.

Консерваторы нисколько не ошибаются, видя в компромиссах, принимающих форму коллективных договоров и корпоративной обособленности, верные средства

---

43 Я вернусь к этому сравнению в главе VII (III).

44 *P. de Rousiers*, La Vie américaine, L'éducation et la société, p. 19. «Отцы семейств почти не дают своим детям советов, предоставляя им самим набивать себе шишки, как там говорят» (p. 14). «[Американец] не только стремится быть независимым — он хочет быть еще и могущественным» (La Vie américaine. Ranches, fermes et usines, p. 6).

избежать марксистской революции[45], но они попадают из огня да в полымя, так как рискуют быть поглощенными парламентским социализмом[46]. Жорес, как и клерикалы, с воодушевлением относится к мерам, отдаляющим трудящиеся классы от социальной революции, и я думаю, он лучше их понимает, что может дать социальный мир. Свои надежды он возлагает на одновременное разрушение как капиталистической предприимчивости, так и революционного духа.

Защитникам марксистской концепции обыкновенно возражают, что они не в силах помешать двойному вырождению буржуазии и пролетариата, в силу которого оба класса далеко отклоняются от пути, указанного Марксом. Наверное, они еще могут влиять на трудящиеся классы, и никто не спорит с тем, что вспышки насилия в виде стачек способны по своему характеру поддерживать революционный дух — но как можно надеяться вернуть буржуазии ее прежний, угасающий сегодня пыл?

И особенно важной с исторической точки зрения здесь представляется роль насилия, так как оно может, косвенно влияя на буржуа, разбудить в них классовое сознание. Многие указывали на опасность некоторых видов насилия, которые будто бы подрывали некоторые *замечательные общественные начинания*, отвращали хозяев, готовых позаботиться о благе своих рабочих, и порождали эгоизм там, где до тех пор царили самые благородные побуждения.

Отвечать *черной неблагодарностью* на *расположение* тех, кто хочет защитить трудящихся[47], грубостью — на назидания защитников всеобщего братства и кулаками — на заигрывания пропагандистов социального мира — все

---

45 Сегодня непрестанно говорят об организации труда. Это означает использование корпоративного духа через подчинение его руководству очень серьезных людей и освобождение рабочих от ига софистов. Очень серьезные люди — это де Мен, Шарль Бенуа (забавный специалист по конституционным законам), Артюр Фонтен с его бандой аббатов-демократов и, наконец, Габриэль Анотo! [Альбер де Мен (Albert de Mun, 1841–1914) — крайне правый депутат, роялист и антидрейфусар. Шарль Бенуа (Charles Benoist, 1861–1936) — политик и дипломат либерально-консервативных взглядов, один из авторов проекта Трудового кодекса 1905 г. Артюр Фонтен (Arthur Fontaine, 1860–1931) — крупный промышленник и чиновник Управления труда, реформатор, один из учредителей Международной организации труда. Габриэль Аното (Gabriel Hanotaux, 1853–1944) — республиканец, дипломат, дважды министр иностранных дел. — *Прим. ред.*]

46 Вильфредо Парето высмеивает наивных буржуа, которые радуются, что избавились от опасности со стороны непримиримых марксистов и попали в зависимость от марксистов, готовых к переговорам (см. *Парето В.* Социалистические системы // Теоретическая социология. Антология. В 2-х ч. (Составление, научная редакция, предисловие С.П. аньковская). Ч. 1. М.: Книжный Дом «Университет», 2002).

47 Ср. *G. Sorel,* Insegnamenti sociali, p. 33.

это, конечно, противоречит правилам великосветского социализма в духе г-на Жоржа Ренара и его супруги[48], но зато это очень действенное средство, чтобы указать буржуазии, что она должна заниматься своими делами и ничем больше.

Также, полагаю, было бы очень полезно поколотить демократических ораторов и представителей государственной власти, чтобы ни у кого не осталось иллюзий по поводу характера насилия. Насилие может иметь историческое значение только в том случае, если оно есть *грубое и ясное выражение классовой борьбы*. Буржуазия не должна вообразить, что ловкость, научные знания об обществе или возвышенные чувства могут помочь ей завоевать любовь пролетариата.

В тот день, когда хозяева увидят, что не могут ничего выиграть с помощью социального мира или демократии, они поймут, что напрасно послушались совета тех, кто убеждал их оставить стезю творцов производительных сил ради благородной профессии воспитателей пролетариата. Тогда, можно надеяться, они возвратят себе часть былой энергии и умеренная или консервативная экономика покажется им такой же бессмыслицей, какой она представлялась Марксу. Во всяком случае, если классовый антагонизм будет обнаруживаться более ясно, движение будет иметь больше шансов на правильное развитие, чем теперь.

Таким образом, оба враждующих класса влияют друг на друга — до некоторой степени косвенно, но решительно. Капитализм толкает пролетариат к восстанию, потому что каждый день хозяева пользуются силой в целях, прямо противоположных интересам рабочих. Но это восстание не является полностью определяющим для будущего пролетариата — он организуется под влиянием многих других причин, а социализм, внушая ему революционные идеи, приготовляет его к ниспровержению враждебного класса. В основе всего этого процесса лежит непреодолимая сила капитализма[49]. Маркс

---

48 Г-жа Ренар опубликовала в газете La Suisse от 26 июля 1900 г. полную высокоученых социологических соображений статью о празднике для рабочих, устроенном Мильераном (*Léon de Seilhac,* Le monde socialiste, p. 307–309). Ее супруг решил важнейший вопрос о том, кто в будущем обществе будет пить Кло-Вужо [знаменитое бургундское вино. — *Прим. ред.*]. (*G. Renard,* Le Régime socialiste, p. 175.)

49 В статье, написанной в сентябре 1851 г. (первой из серии, опубликованной под заглавием «Революция и контрреволюция»), Маркс утверждает параллелизм развития буржуазии и пролетариата: многочисленной, богатой, сплоченной и могущественной буржуазии соответствует многочисленный, сильный, сплоченный и сознательный пролетариат. Он, таким образом, полагает, что сознательность пролетариата зависит от исторических условий, обеспечивающих могущество буржуазии в обществе. Маркс также говорит, что подлинный характер классовой борьбы проявляется лишь в странах, где буржуазия переустроила правительство согласно своим потребностям.

полагал, что для применения силы буржуазии не потребуется давление извне. Мы же видим новое и совершенно непредвиденное явление: перед нами буржуазия, стремящаяся уменьшить свои силы. Следует ли теперь считать, что марксизм мертв? Вовсе нет, потому что в то время как социальный мир стремится смягчить социальные конфликты, на сцену выходит пролетарское насилие. Оно возвращает хозяев к их роли производителей и способствует восстановлению классовых различий тогда, когда они, казалось, начали смешиваться в демократическом болоте.

Пролетарское насилие не только делает возможной грядущую революцию, но и представляет собой, по всей видимости, единственное средство, которым располагают отупевшие от гуманизма европейские нации, чтобы вновь обрести прежнюю энергию. Такое насилие заставляет капитализм вернуться к своей чисто материальной роли и помогает ему возвратить себе те воинственные качества, которыми он некогда обладал. Растущий и хорошо организованный рабочий класс может принудить класс капиталистов продолжать вести ожесточенную промышленную борьбу. Если навстречу богатой, истосковавшейся по победам буржуазии поднимется сплоченный революционный пролетариат, то капиталистическое общество достигнет своего исторического совершенства.

Итак, пролетарское насилие становится необходимым фактором марксизма. Еще раз подчеркнем, что оно приведет, если только будет осуществляться надлежащим образом, к устранению с политической арены парламентских социалистов, которые утратят репутацию вождей рабочего класса и стражей порядка.

III

Марксистская теория революции предполагает, что капитализм будет поражен в самое сердце в момент расцвета, когда он будет завершать свою историческую миссию, когда его промышленная мощь будет сохраняться, а производство — продолжать наращиваться. Судя по всему, Маркс не задавался вопросом, что будет, если экономика окажется в состоянии упадка. Он не думал о возможности революции, имеющей идеалом возвращение назад или даже сохранение прежних форм жизни.

Теперь же мы видим, что это легко может случиться: друзья Жореса, клерикалы и демократы помещают свой идеал будущего в Средние века: они хотят, чтобы

конкуренция была умеренной, богатство — ограниченным, производство — подчиненным потребностям. Эти мечтания Маркс считал реакционными[50], а следовательно, не заслуживающими внимания, поскольку капитализм казался ему влекомым по пути неостановимого прогресса. Но сегодня стремление законодательным путем реформировать капиталистическое производство в духе средневековья объединяет значительные силы. Парламентский социализм склоняется к союзу с церковью и демократией с целью задержать рост капитализма, и, пожалуй, они имеют шансы на успех, принимая во внимание трусость буржуазии.

Маркс сравнивал переход от одной исторической эпохи к другой с имущественным наследованием: грядущие времена наследуют все прежние приобретения. Если революция произойдет в период экономического упадка, то не будет ли такое наследство основательно испорчено и можно ли будет надеяться на скорое возрождение экономики? Идеологи совершенно не занимаются этим вопросом; они уверяют, что упадок производства прекратится сразу же, как только государственная казна окажется в их распоряжении. Их ослепляет необъятный запас богатств, который может быть отдан им на расхищение: сколько банкетов, сколько кокоток, сколько способов потешить самолюбие! Мы же, не имея перед собой подобной перспективы, должны обратиться к истории, чтобы понять, может ли она дать нам какие-либо сведения об этом, и попытаться предположить, что представляет собой революция, происходящая в период упадка.

Рассмотреть с этой точки зрения Французскую революцию нам позволяют исследования Токвиля. Полвека тому назад он немало удивил современников, показав им, что революция была гораздо более консервативна, чем считали до тех пор. Он продемонстрировал, что главные институты современной Франции: централизация, избыточная регламентация, административная опека, судебный иммунитет чиновников — зародились при Старом режиме. Токвиль обнаружил одно-единственное важное новшество — сосуществование отдельных чиновников и консультативных

---

50 «Те, которые, подобно Сисмонди, хотят возвратиться к правильной пропорциональности производства и при этом сохранить современные основы общества, суть *реакционеры*, так как они, чтобы быть последовательными, должны бы были стремиться к восстановлению и других условий промышленности прежних времен. [...] В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, будучи *источником стольких бедствий*, есть в то же время *причина прогресса*» (*Маркс К.* Нищета философии. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2 изд. Т. 4. С. 101).

советов, учрежденное в VIII году Революции. В 1800 году принципы Старого режима были возрождены, и прежние обычаи снова оказались в чести[51]. Тюрго представляется Токвилю превосходным типом наполеоновского администратора, руководствовавшимся идеалом «чиновника в демократическом обществе, подчиненном абсолютной власти»[52]. Наконец, Токвиль считал, что раздел земельной собственности — который обыкновенно ставится в заслугу Революции — начался задолго до нее и под ее влиянием не двигался вперед особенно быстро[53].

Несомненно, Наполеону не стоило больших трудов восстановить в стране монархию. Он получил Францию вполне готовой для этого, и ему понадобилось лишь внести небольшие поправки, чтобы воспользоваться опытом, полученным после 1789 года. Административное и фискальное право было написано во время Революции людьми, применявшими методы Старого режима, и все это существует еще до сих пор почти без изменений. Нанятые Наполеоном люди получили образование при Старом режиме и Революции, и все похожи между собой: по методам управления все это люди старомодные и все они работают с равным усердием во славу Его Величества[54]. Истинная заслуга Наполеона заключалась в том, что он не слишком доверял своему гению и не поддавался тем мечтам, которые столько раз ослепляли деятелей XVIII века, возбуждая в них желание переделать все коренным образом, — словом, в том, что он признавал принцип исторической преемственности. Отсюда следует, что наполеоновский режим можно рассматривать как опыт, показывающий, насколько велика роль сохранения старых учреждений и понятий даже во времена величайших революций.

Я думаю, что принцип сохранения вполне можно распространить даже на военное дело, показав, что армии Революции и Империи были не более чем продолжением прежних военных институтов. Во всяком случае, любопытно, что Наполеон не ввел никаких серьезных новшеств в вооружение, а победе революционных войск так сильно способствовало огнестрельное оружие Старого режима. Артиллерия была усовершенствована только в эпоху Реставрации.

---

51 *Токвиль А.* Старый порядок и Революция. Пер. с фр. Л.Н. Ефимова. Спб.: Алетейя, 2008. Книга II. Главы I, III, IV.

52 *Tocqueville*, Mélanges, p. 155–156 [383].

53 *Токвиль А.* Старый порядок и Революция. С. 32.

54 Именно к такому выводу о префектах Наполеона I приходит также и Л. Мадлен в статье, вышедшей в Les Débats от 6 июля 1907 г.

Легкость, с какой Революция и Империя достигли желанного результата, сохраняя при коренном преобразовании всей страны столько приобретений Старого режима, связана с обстоятельством, на которое наши историки не всегда обращают должное внимание и которого, кажется, не заметил даже Тэн: производственная экономика двигалась вперед, причем настолько быстро, что к 1780 году все верили в бесконечный прогресс человечества[55]. Эта догма, которой было суждено оказать столь сильное влияние на современную мысль, покажется странным и необъяснимым парадоксом, если не рассматривать ее как результат экономического прогресса и той безусловной веры, которую он вызывал. Войны Революции и Империи лишь еще больше подогревали это чувство, не только потому, что они были победоносными, но еще и потому, что они принесли в страну много денег и тем самым послужили развитию производства[56].

Триумф Революции очень удивил почти всех ее современников, и, кажется, больше других были поражены самые образованные, самые серьезные и самые осведомленные в политике люди — ведь этот ошеломляющий успех нельзя было объяснить никакими идеологическими причинами. И в наши дни, по-моему, это обстоятельство остается для историков таким же непонятным, каким оно было для наших отцов. Главную причину этого триумфа надо искать в экономических условиях: Старый режим был сокрушен быстрыми ударами в то самое время, когда производство стремительно росло, потому-то рождение современного мира прошло относительно легко и ему так быстро было обеспечено мощное развитие.

С другой стороны, у нас есть и пугающий исторический пример грандиозного переворота, происшедшего в период экономического упадка, — я имею в виду победу христианства и последовавшее за ним падение Римской империи.

Все старые христианские авторы сходятся во мнении, что новая религия никак не улучшила положение в мире: народ продолжали угнетать, как и в прошлом, продажность властей, насилие, всевозможные бедствия. Это стало огромным разочарованием для Отцов Церкви: в эпоху гонений

55 *Токвиль А.* Старый порядок и Революция. С. 157, а также *Tocqueville*, Mélanges, p. 62 [373]. Ср. главу IV (IV) моего исследования «Иллюзии прогресса» (Les illusions du progrès).

56 Каутский всегда подчеркивал роль захвата сокровищниц французскими войсками (*Каутский К.* Классовые противоречия в эпоху Французской революции. М.: УРСС, 2011).

христиане верили, что, как только империя прекратит гонения за веру, Бог осыплет Рим милостями, но вот империя христианизирована, епископы становятся первыми лицами в государстве, однако ничто не изменилось к лучшему. Еще большее отчаяние вызывало то обстоятельство, что дурные нравы, которые так часто обличались как следствие идолопоклонства, были усвоены сторонниками Христа. Вместо того чтобы осуществить глубинные преобразования светского мира, Церковь сама развратилась под его влиянием и переняла черты имперской администрации, а раздиравшие ее ереси происходили больше от жажды власти, чем от религиозных причин.

Часто спрашивали, не было ли христианство причиной или по крайней мере одной из главных причин падения Рима. Гастон Буасье возражает против этого мнения, стараясь показать, что движение к упадку, которое отмечают после Константина, началось задолго до него и что нельзя определить, ускорило или задержало христианство умирание античного мира[57]. Иными словами, степень сохранения старых порядков была огромна. Можно по аналогии представить себе, чем окончилась бы сегодня революция, которая привела бы к власти наших официальных социалистов: поскольку все институты остались бы приблизительно такими же, каковы они сегодня, вся буржуазная идеология была бы сохранена, господствовала бы буржуазная государственная власть со всеми своими пороками, а если бы к этому времени начался экономический упадок, то после такой революции он обострился бы.

Спустя короткое время после победы христианства начались нашествия варваров, и многие христиане надеялись, что установится порядок, отвечающий принципам новой религии. Эти ожидания были тем более обоснованными, что варвары, селясь в границах Империи, принимали новую веру, а кроме того, они были чужды порокам римского общества. Возрождения можно было ожидать и в экономике: хозяйство гибло под гнетом городской эксплуатации, новые же господа с их нравами грубых земледельцев, вероятно, стали бы вести жизнь не знатных богачей, а крупных фермеров — может быть, при этих условиях земля стала бы лучше обрабатываться. Иллюзии христианских авторов эпохи варварских завоеваний можно сопоставить с идеями многих утопистов, которые надеялись на обновление современного мира благодаря добродетелям, которые они

57 *Буасье Г.* Падение язычества. Перевод с французского / *Буасье Г.*; Пер. под ред., с предисл.: М.С. Корелин. — М.: К.Т. Солдатенков, 1892. Книга IV, глава III.

находили в людях среднего достатка: замена класса богачей новыми социальными слоями, по их мысли, должна была принести с собой нравственность, счастье и всеобщее преуспеяние.

Варвары не создали прогрессивных обществ: они были слишком малочисленны, почти повсюду просто заменили собой прежних властителей, ведя такую же жизнь, как их предшественники, и были в конце концов поглощены городской цивилизацией. Французское королевство Меровингов было подвергнуто особенно глубокому изучению: Фюстель де Куланж применил всю эрудицию, чтобы выявить консервативный характер этого государства. Сохранение прежних порядков казалось ему таким важным, что он не побоялся написать, что никакой революции в действительности не произошло, и представил всю историю раннего Средневековья как продолжение того же процесса, который совершался в Римской империи, но только с небольшим ускорением[58]: «Правление Меровингов, — говорит он, — больше чем на три четверти есть лишь продолжение того, что дала Галлии Римская империя»[59].

При королях-варварах еще резче обозначился экономический упадок, и возрождение наступило лишь гораздо позже, в результате длинной череды испытаний. По меньшей мере четыреста лет варварства понадобилось для того, чтобы в обществе наметилось прогрессивное течение. Но до этого общество было принуждено опуститься до состояния, близкого первобытным людям, — в этом феномене Вико, вероятно, нашел подтверждение своей теории исторического круговорота. Таким образом, революция, происшедшая в период экономического упадка, заставила мир вновь пережить период почти первобытного варварства и на несколько столетий задержала всякое развитие.

Этот ужасный опыт неоднократно приводился в пример противниками социализма. Оставляя в стороне его содержание, я хочу подчеркнуть две подробности, которые, быть может, покажутся профессиональным социологам малозначащими: этот опыт предполагает 1) экономический упадок и 2) организацию общества, обеспечивающую совершенное сохранение прежней

58 *Fustel de Coulanges*, Les origines du régime féodal, pp. 566–567. Не спорю, что в утверждениях Фюстеля де Куланжа было немало преувеличений, однако неоспоримо и сохранение в раннем Средневековье римских черт.

59 *Fustel de Coulanges*, La monarchie franque, p. 650.

идеологии. *Цивилизованный* социализм наших официальных ученых много раз называли стражем цивилизации, но я думаю, что он может привести к тем же результатам, что и классическое образование, полученное королями-варварами при посредстве церкви: пролетариат развратится и отупеет, подобно Меровингам, а экономический упадок благодаря влиянию этих мнимых цивилизаторов обозначится еще яснее.

Опасность, угрожающая будущему мира, может быть устранена, если пролетариат станет упрямо придерживаться революционных идей с тем, чтобы воплотить в жизнь Марксово учение, насколько это будет в его силах. Все может быть спасено, если посредством насилия он сумеет упрочить классовое разделение и вернуть буржуазии часть былой энергии — вот та главная цель, к которой должны стремиться мыслью люди, не зачарованные текущими делами, но готовые задуматься об условиях будущего. Пролетарское насилие, осуществляемое как чистое проявление чувства классовой борьбы, предстает, таким образом, как нечто возвышенное и героическое. Оно служит основным интересам цивилизации, и хотя это, быть может, не самое подходящее средство для получения прямых материальных выгод, но оно может спасти мир от варварства.

С тех же, кто обвиняет синдикалистов в грубости и тупоумии, мы имеем право спросить за экономический упадок, которому они способствуют. Поприветствуем же революционеров, как греки приветствовали спартанцев, которые героической обороной Фермопил сохранили просвещение в античном мире.

ГЛАВА III

Предубеждения против насилия

I. — *Устаревшие представления о Революции. — Изменения в результате войны 1870 года и парламентского режима.*

II. — *Замечания Дрюмона о буржуазной жестокости. — Юристы третьего сословия и история судов. — Капитализм против культа государства.*

III. — *Позиция дрейфусаров. — Суждение Жореса о Революции: его преклонение перед успехом и ненависть к побежденным.*

IV. — *Антимилитаризм как свидетельство отказа от буржуазных традиций.*

I

Представления широкой публики о пролетарском насилии не основаны ни на изучении современных фактов, ни на разумном истолковании современного профсоюзного движения. Эти ошибочные мнения суть плод умственной работы неизмеримо более поверхностной — сближения настоящего с прошлыми эпохами — и определяются воспоминаниями, которые почти неизбежно приходят при слове «революция». Потому только, что синдикалисты называют себя революционерами, люди полагают, будто они хотят повторить историю революционеров 1793 года. Бланкисты, которые считают себя законными наследниками традиции терроризма, думают, что уже в силу этого они призваны управлять пролетарским движением[60]. К синдикалистам они выказывают гораздо больше снисходительности, чем остальные парламентские социалисты, и склонны думать, что рабочие организации рано или поздно поймут, что самое лучшее для них — перейти в веру бланкистов. Кажется, и Жорес, когда писал «Социалистическую историю» 1793 года, не раз мечтал найти в безвозвратно умершем прошлом указания относительно тактики настоящего.

---

60 Читатель может найти полезным обращение к интереснейшей главе из книги *Bernstein*, Socialisme théorique et Socialdémocratie pratique, p. 47–63 [58–67]. Бернштейн, чуждый заботам нашего сегодняшнего синдикализма, по-моему, взял из марксизма меньше, чем из него можно было извлечь. Впрочем, его книга была написана в эпоху, когда еще невозможно было понять революционное движение, ради которого написаны эти размышления..

Обыкновенно не обращают достаточного внимания на то, что с 1870 года полностью изменился взгляд на Революцию, а между тем эти изменения необходимо учитывать, чтобы понять современные представления о насилии.

Революция очень долго представлялась исключительно как череда победоносных войн, которые вел жаждущий свободы и вдохновленный благороднейшими стремлениями народ против союза всех сил угнетения и невежества. Восстания и государственные перевороты, соперничество партий, часто совершенно беспринципных, и высылки побежденных, парламентские дебаты и приключения знаменитых людей — одним словом, все события политической истории были в глазах наших отцов лишь второстепенными, малозначащими эпизодами революционных войн.

В течение приблизительно двадцати пяти лет смена режима во Франции подвергалась сомнению. После походов, перед которыми померкли воспоминания о Цезаре и Александре Македонском, хартией 1814 года в национальной традиции были окончательно закреплены парламентская система, наполеоновское законодательство и церковный конкордат. Война вынесла по поводу этих институтов бесповоротное суждение, мотивировки которого, по словам Прудона, были даны при Вальми, Жеммапе и в десятках других таких же сражений, а логическое завершение представлено Людовиком XVIII в Сент-Уане[61]. Осененные славой революционных войн, новые институты стали неприкосновенными, а идеология, созданная для их объяснения, сделалась для французов как бы верой, долгое время имевшей такое же значение, как откровение Иисуса Христа для католиков.

Многие красноречивые авторы думали, что им удастся создать реакционные учения, направленные против новых доктрин, а церковь надеялась, что преодолеет «либеральные заблуждения», как она их называла. Долгий период восхищения Средневековьем и презрения к вольтерьянской эпохе, казалось, грозил уничтожить новую идеологию, но все стремления вернуть страну в прошлое оставили следы лишь в истории литературы. Были, правда, времена, когда власть управляла страной далеко не в либеральном духе, но серьезной угрозы основам нового строя никогда не было. Этот факт не объяснить силой разума или каким-нибудь

61 *Прудон П.Ж.* Война и мир: Исследование о принципе и содержании международного права. М., 1964. Книга V, глава III.

законом прогресса — причина его в том, что череда войн наполнила души французов воодушевлением, подобным религиозному восторгу.

Эта военная эпопея придала всем событиям внутренней политики эпический оттенок. Соперничество партий было возведено на высоту новой «Илиады», политики стали гигантами, а Революция, которую Жозеф де Местр объявил сатанинской, была обожествлена. Кровавые сцены Террора были не столь значительны, как колоссальная бойня войны, и их удалось окружить драматической мифологией. Отдельные вспышки восстаний были поставлены на одну доску со знаменитыми битвами, и тщетно более вдумчивые историки пытались вернуть Революцию и Империю в сферу общей истории: чудесные триумфы революционных и имперских армий исключали всякую критику.

Война 1870 года все это изменила. В момент падения Второй империи подавляющее большинство французов твердо верило в легенды о добровольческих армиях, о плодотворной деятельности народных представителей, о самопровозглашенных полководцах — жизнь жестоко разбила эти иллюзии. Токвиль писал: «Конвент создал политику невозможного, тактику яростного безумия, культ слепого геройства»[62]. Поражения 1870 года заставили страну обратиться к политике практичной, благоразумной и прозаичной, и ближайшим результатом этих поражений стало широкое распространение идеи, прямо противоположной тому, что описал Токвиль, — идеи целесообразности, которая сегодня проникла даже в социализм. Другим последствием войны стало переосмысление всех революционных ценностей и, в частности, изменение взгляда на насилие.

После 1871 года все во Франции были заняты поиском лучших средств для восстановления страны. Тэн решил применить для этого самые последние выводы научной психологии и описал Революцию как социальный эксперимент. Он надеялся разоблачить опасность, которую, по его мнению, представлял якобинский дух, и тем самым повлиять на ход французской политики: он хотел, чтобы его современники отказались от понятий, освященных национальной традицией и тем более укоренившихся в сознании каждого гражданина, что никто никогда не исследовал их происхождения. Тэн разделил участь Ле Пле и Ренана: его предприятие потерпело крах, и это неизбежный удел каждого, кто будет пытаться обосновывать интеллектуальную

62 *Tocqueville*, Mélanges, p. 189 [255].

и нравственную реформу научными исследованиями, обзорами и доказательствами.

Нельзя, однако, утверждать, что титанический труд Тэна оказался совершенно бесполезен. История Революции была в корне переработана, и военная эпопея перестала быть центральным пунктом любых рассуждений о политических событиях. На первый план теперь выступила сама жизнь людей, сокровенные замыслы фракций, материальные потребности, определяющие характер массовых движений. Депутат Юбер, выступая 24 сентября 1905 года на открытии памятника Тэну в Вузье и воздавая должное великому и многостороннему таланту своего знаменитого земляка, выразил вместе с тем сожаление, что тот неизменно отодвигал на второй план эпическую сторону Революции. Жалеть об этом нечего — теперь эпопея уже не будет господствовать над политической историей того времени. Читая «Социалистическую историю» Жореса, ясно видишь, к каким гротескным последствиям приводит стремление вернуться к старинным приемам: сколь мелодраматические образы ни извлекал бы Жорес из чуланов старой риторики, ему не удается вызвать у читателя ничего, кроме смеха.

Обаяние великих революционных событий сильно пострадало при сравнении с сегодняшней гражданской борьбой внутри государства, ведь в эпоху Революции не было ничего подобного сражениям, залившим кровью Париж в 1848 и 1871 году, — 14 июля и 10 августа кажутся теперь не более чем дерзкими выходками, которые не могли угрожать серьезному правительству.

Впрочем, есть и еще один фактор, пока не отмеченный профессиональными историками революции, который немало способствовал тому, чтобы лишить эти события поэтической окраски. Невозможно сделать национальную эпопею из событий, которые, по мнению народа, не могут повториться в ближайшем будущем. Народная поэзия чаще имеет в виду будущее, чем прошлое, поэтому повествования о подвигах галлов, Карла Великого, крестоносцев, Жанны д'Арк могут увлекать только начитанных людей[63]. С тех пор как люди начали верить, что современное правительство не может быть

63 Весьма примечательно, что уже в XVII веке Буало высказался против эпопей со сверхъестественным христианским элементом. Ведь его современники, как бы религиозны они ни были, отнюдь не ожидали, что занять ту или иную крепость Вобану помогут ангелы. Они не сомневались в достоверности библейских сюжетов, но не усматривали в них предмета для эпопей, потому что библейским чудесам не суждено повториться.

свергнуто восстанием, подобным 14 июля или 10 августа, эти дни перестали казаться эпическими. Парламентские социалисты, пытающиеся использовать воспоминания о Революции для возбуждения в народе пламенных чувств и одновременно предлагающие народу целиком довериться парламентаризму, обнаруживают совершенную непоследовательность, так как сами же разрушают ту эпопею, блеск и обаяние которой они стараются поддерживать во всех своих речах.

Но что же останется от Революции, если отнять эпопею войн против европейской коалиции и годовщины народных восстаний? Останется нечто малопривлекательное: полицейские распоряжения, высылки да заседания рабски-покорных судилищ. Применение государственной силы против побежденных поражает нас тем неприятнее, что многие из корифеев Революции вскорости отличились среди прислужников Наполеона, проявляя во имя императора то же полицейское рвение, как и во имя Террора. В стране, видевшей столько смен режима и, следовательно, столько отречений, политическое правосудие носит особенно отталкивающий характер, потому что вчерашний преступник может завтра превратиться в судью: в 1812 году генерал Мале[64] имел полное основание заявить осудившему его военному трибуналу, что, если бы его предприятие было успешным, вся Франция и сами судьи стали бы его сообщниками.

Эти мысли незачем развивать дальше — не требуется особенной наблюдательности, чтобы понять, что пролетарское насилие вызывает в памяти массу тяжелых событий прошлого: невольно вспоминаются комитеты революционного надзора, жестокость подозрительных агентов, грубых и вместе с тем обезумевших от страха, и трагедии гильотины. Легко понять, почему парламентские социалисты так стараются убедить публику, что они обладают душами чувствительных пастушков, что сердца их переполнены добротой и что единственная их страсть — *отвращение к насилию*. Они охотно выдали бы себя за защитников буржуазии от пролетарского насилия и, стремясь подчеркнуть свой престиж как новых гуманистов, не упускают случая откреститься от всякой связи с анархистами, причем иногда делают это с бесцеремонностью, не исключающей определенной доли трусости и лицемерия.

---

64 *Ernest Hamel*, Histoire de la conspiration du général Malet, p. 241. Как утверждают некоторые газеты, Жорес, давая показания в суде присяжных департамента Сена 5 июня 1907 г. на процессе Буске–Леви, сказал, что когда подсудимый Буске станет законодателем, агенты безопасности будут свидетельствовать в его пользу.

Когда Мильеран был еще неоспоримым лидером социалистов в парламенте, он советовал *страшиться вызывать страх*, и действительно депутаты-социалисты привлекли бы мало избирателей, если бы не делали все возможное, чтобы убедить широкую публику, что они люди вполне рассудительные, заклятые враги прежних кровавых методов, занятые единственно философскими размышлениями о будущем праве. В длинной речи, произнесенной 8 октября 1905 года в Лиможе, Жорес так старался успокоить буржуа, как никто раньше не делал: он возвестил им, что победивший социализм будет добрым принцем и что он изучает различные способы возместить бывшим владельцам убытки, причиненные им отчуждением собственности. Несколько лет назад Мильеран обещал вознаградить лишь бедняков (La Petite République, 25 mars 1898), а теперь всех уравняли — при этом Жорес уверяет, что ряд глубоких мыслей по этому поводу высказал Вандервельде. Я готов поверить ему на слово.

Жорес понимает социальную революцию как банкротство: сегодняшние буржуа станут получать ежегодные доходы, которые будут уменьшаться с каждым поколением. Этот план должен понравиться финансистам, привыкшим нагревать руки на банкротствах, и я не сомневаюсь, что у акционеров L'Humanité идеи Жореса вызывают восторг: при этом банкротстве они будут назначены синдиками и получат отличные гонорары, которые покроют убытки, принесенные им газетой.

В глазах современной буржуазии все то хорошо, что исключает самое понятие о насилии. Наши буржуа хотят почить с миром, а после них хоть потоп.

II

Рассмотрим теперь несколько подробнее насилие 1793 года, чтобы выяснить, можно ли приравнять его к насилию современного синдикализма.

Около пятнадцати лет тому назад Дрюмон, говоря о социализме и его будущем, написал следующие слова, многим тогда показавшиеся весьма парадоксальными: «Приветствуйте рабочих вождей Коммуны, — может сказать консерваторам историк (а историк — всегда немного пророк), — больше вы их не увидите! [...] Те, кто придет им на смену, будут жестоки, злы и мстительны иначе, чем деятели 1871 года. Новое чувство завладевает сердцами

французского пролетариата, и чувство это — ненависть»[65]. Эти слова не были пустозвонством какого-нибудь литератора — сведения о Коммуне и социалистах Дрюмон получил от Малона[66], которому он дал в своей книге восторженную характеристику.

Это мрачное предсказание основано на предположении, что рабочий все больше удаляется от национальной традиции и приближается к буржуа, который гораздо более рабочего восприимчив к дурным чувствам. «Наиболее жестоким элементом Коммуны, — говорит Дрюмон, — была развращенная и ветреная буржуазия Латинского квартала. Простой народ посреди этого ужасного кризиса оставался *человечным, то есть французским*... Из всех интернационалистов, участвовавших в Коммуне, лишь четверо высказались за насильственные меры»[67]. Как мы видим, Дрюмон разделяет еще наивную философию XVIII века и утопистов до 1848 года, у которых выходило, что люди тем лучше выполняют предписания нравственного закона, чем менее они испорчены цивилизацией. Спускаясь от богатых классов к бедным, эти авторы обнаруживали все больше хороших качеств и считали добродетель естественно присущей лишь тем, кто остался близок к «природному состоянию».

Эта классовая философия приводит Дрюмона к довольно курьезной исторической теории: ни одна из наших революций не была столь кровавой, как первая, именно потому, что она была проведена буржуазией; «чем больше народ вмешивался в революции, тем менее жестокими они становились» — «когда пролетариат впервые на деле получил в свои руки часть власти, он оказался бесконечно менее кровожаден, чем буржуазия»[68]. Мы не можем ограничиться поверхностными рассуждениями, какими довольствуется Дрюмон, однако ясно, что с 1793 года что-то переменилось. Мы должны задуматься, не была ли в самом деле жестокость прежних революционеров обусловлена историей буржуазии, ведь тогда было бы абсурдным смешивать злоупотребления властью со стороны революционной буржуазии 1793 года с насилием наших революционеров-синдикалистов: слово «*революционер*» получает, таким образом, два значения, взаимно друг друга исключающие.

---

65 *Drumont*, La Fin d'un monde, p. 137–138.

66 Бенуа Малон (Benoît Malon, 1841–1893) — рабочий-красильщик, организатор стачек, журналист и писатель, участник Парижской коммуны. — *Прим. ред.*

67 Ibid., p. 128.

68 Ibid., p. 136.

Третье сословие, заполнившее ассамблеи революционной эпохи, или официальное третьим сословие, как его можно назвать, состояло вовсе не из фермеров и крупных промышленников — власть перешла тогда отнюдь не к производителям, а к судейским. Тэн был поражен тем, что из 577 депутатов третьего сословия в Учредительном собрании 373 были «безвестными адвокатами, юристами второго разряда, нотариусами, королевскими прокурорами, землемерами, членами и заседателями суда, бальи и их заместителями, наконец, простыми стряпчими, с юных лет запертыми в затхлом кругу мелкого правосудия и бумажного делопроизводства и не имевшими никакой отдушины, кроме философских прогулок по воображаемым пространствам под руководством Руссо и Рейналя»[69]. Сегодня нам трудно оценить роль юристов в старой Франции: тогда существовало множество юрисдикций, собственники с чрезвычайным себялюбием обращались в суд по вопросам, которые сейчас представляются нам мелкими, но для них имели огромную важность из-за запутанных отношений между феодальным правом и правом собственности. Чиновники-юристы встречались в старой Франции повсюду и пользовались большим авторитетом у населения.

Этот класс дал Революции много людей, обладавших административными способностями. Именно благодаря им страна довольно легко выбралась из кризиса, потрясавшего ее десять лет, и благодаря им же Наполеон смог стремительно восстановить регулярность государственного механизма, но вместе с тем этот класс принес с собой массу предрассудков, приведших к серьезнейшим ошибкам тех его представителей, которые занимали видные посты в государстве. Так, нельзя понять поведение Робеспьера, если сравнивать его с современными политиками — необходимо всегда иметь в виду, что это был строгий юрист, преисполненный чувством профессионального долга и озабоченный соблюдением чести судебного оратора, к тому же образованный человек и ученик Руссо. Его принципиальность в юридических вопросах поражает современного историка: когда ему приходилось принимать решения о казнях и отстаивать их перед Конвентом, он выказывал наивность, граничащую с глупостью. Знаменитый закон от 22 прериаля, так сильно ускоривший деятельность революционного трибунала и так часто вменяемый Робеспьеру в вину, представляет собой настоящий шедевр его законнического ума, лапидарное воплощение Старого режима.

---

69 *Taine*, La Révolution, tome I, p. 155 [vol. I, p. 397].

Одна из основополагающих идей Старого режима заключалась в применении карательных мер против всякой силы, представлявшей препятствие для королевской власти. Кажется, что в первобытном обществе право карать поначалу было мерой защиты вождя племени и нескольких избранных, которых он удостаивал особой милости, и лишь намного позднее сила закона начинает служить для охраны личности и имущества всех жителей страны без различия. Поскольку Средние века были возвратом к первобытным временам, вполне естественно, что они возродили весьма архаические понятия о правосудии и сделали суды местом утверждения королевского величия. Особенно благоприятствовало чрезвычайному развитию такого уголовного режима одно историческое обстоятельство. Инквизиция создала образец суда, который на основании самых слабых улик настойчиво преследовал людей, неугодных Церкви, и лишал их возможности наносить ей ущерб. Королевская власть заимствовала у инквизиции многие ее методы и почти всегда следовала ее принципам.

Монархия постоянно требовала от судов, чтобы они расширяли ее территорию. Теперь нам кажется странным, что Людовик XIV объявлял об аннексиях через собрания магистратов, но такова была традиция. Многие из его предшественников конфисковали владения феодальных сеньоров посредством парламента, руководствуясь совершенно произвольными мотивами. Правосудие, которое теперь кажется нам созданным для того, чтобы обеспечивать процветание все разрастающегося свободного производства, тогда считалось предназначенным для возвеличения королевской власти. *Основной целью правосудия было не право, а государство.*

Поддерживать строгую дисциплину среди военной и гражданской королевской администрации было делом необычайной трудности: на каждом шагу приходилось производить расследования, чтобы наказывать строптивых и недобросовестных. Для этой цели короли использовали юристов из своих судов, смешивая таким образом дисциплинарный надзор и борьбу с преступлениями. А юристы накладывали на все отпечаток собственных настроений, поэтому небрежность, злая воля или халатность рассматривались как бунт, оскорбление власти или государственная измена.

Революция почтительно переняла эту традицию, и воображаемые преступления имели для нее тем большее значение, что политические трибуналы действовал среди обезумевшего от страха населения. Тогда находили вполне естественным объяснять военные поражения генералов

преступными замыслами и отправлять людей на гильотину только за то, что они не сумели оправдать общественных надежд, нередко выросших из детских суеверий. Наш уголовный кодекс все еще содержит немало написанных тогда парадоксальных статей: теперь трудно представить себе, как можно всерьез обвинять гражданина в построении козней или сношениях с иностранной державой или ее агентами с целью склонить эту державу к враждебным действиям, войне или поискам средств для войны против родины. Статья за такое преступление основывается на предположении, что государство может быть подвергнуто опасности действиями одного человека — нам это представляется невероятным[70].

Процессы против королевских врагов всегда велись при исключительных условиях: судебную процедуру упрощали, как только могли, довольствуясь мелкими уликами, которые не признали бы достаточными при обыкновенных преступлениях, в целях устрашения выносили особенно суровые приговоры. Все эти черты мы находим в законодательных актах Робеспьера. Определение политического преступления в законе от 22 прериаля написано крайне расплывчато, чтобы от такого обвинения не смог уклониться ни один враг Революции, а раздел об уликах составлен в чистейших традициях Старого режима и инквизиции: «Доказательствами, необходимыми для осуждения *врагов народа*, являются документы всякого рода — как вещественные, так и моральные, писаные и устные, могущие получить естественное одобрение любого справедливого и здравого ума. Правилом для вынесения приговора послужит совесть присяжных, просвещенных любовью к отечеству. Их цель есть *победа Республики и уничтожение ее врагов*». В этом знаменитом террористическом законе мы находим самое полное воплощение доктрины государства[71].

Сделать эти методы еще более устрашающими помогла философия XVIII века. Она стремилась выразить возврат к естественному праву: до последнего времени человечество было якобы развращено по вине небольшой кучки людей, которым был выгоден этот обман, но теперь наконец найдено средство воскресить первобытную доброту, истину и справедливость. Всякое противодействие такой прекрасной

---

70 Между тем именно эту статью применили к Дрейфусу, хотя никто не пытался доказать, что Франция находилась в опасности.

71 Отдельные части этого закона невозможно объяснить, не сопоставляя их со статьями прежнего уголовного кодекса.

и легко исполнимой реформе, которой, очевидно, был уготован успех, почиталось наитягчайшим преступлением. Новаторы решили быть безжалостными, чтобы устранить пагубное влияние тех граждан, которые пожелали бы ради личной выгоды помешать возрождению человечества. Снисходительность была преступной слабостью, так как она вела к принесению счастья масс в жертву капризу неисправимых людей, которые, обнаруживая непонятное упрямство, отказывались признавать самое очевидное и жили лишь ложью.

На пути от инквизиции к королевскому политическому правосудию, а от него к революционным трибуналам происходил непрерывный рост произвола, расширение применения силы и укрепление власти. Церковь в течение долгого времени не решалась признать законность многих исключительных процедур, практиковавшихся инквизиторами[72]. Монархия проявляла уже меньше щепетильности, особенно когда она вступила в полную силу, а Революция уже самым бесстыдным образом щеголяла своим суеверным культом государства.

Одно обстоятельство экономического характера сообщило тогда государству силу, какой никогда не обладала церковь. На заре Нового времени правительства, благодаря морским экспедициям и поощрению промышленности, сыграли видную роль в развитии производства, но в представлениях теоретиков XVIII века эта роль была еще более грандиозна. Тогда все умы были полны неслыханными проектами; королевства представлялись большими торговыми компаниями, стремящимися поднять цену земли, и потому все усилия были направлены на то, чтобы обеспечить в работе этих компаний строгий порядок. Государство было кумиром этих реформаторов: «Они хотят, — пишет Токвиль, — позаимствовать у центральной власти ее руку и воспользоваться ею, чтобы все разрушить и переделать согласно новому плану, который измыслили сами; она одна кажется им способной выполнить подобную задачу. Власть государства должна быть безграничной, как и его право, говорят они, надо лишь убедить его распорядиться ими надлежащим образом»[73]. Физиократы были готовы пожертвовать правом индивидов ради общей пользы: они придавали свободе очень мало значения, находили нелепой идею

72 Современные авторы, истолковав некоторые папские документы буквально, утверждают, будто инквизиция действовала довольно мягко в сравнении с тогдашними нравами.

73 *Токвиль А.* Старый порядок и революция. С. 68.

равновесия властей и надеялись изменить к лучшему весь государственный строй. Токвиль назвал их систему «деспотизмом демократии»: в теории правительство, контролируемое просвещенным общественным мнением, представлялось всеобщим доверенным, но в действительности оно было неограниченным властителем[74]. Особенно поразило Токвиля, когда он изучал Старый режим, преклонение физиократов перед Китаем, представлявшимся им идеалом благоустроенного государства, потому что там есть только слуги и приказчики, тщательно разделенные на категории и назначаемые по конкурсу[75].

Со времен Революции произошел такой переворот в умах, что нам затруднительно как следует понять взгляды и мнения наших отцов[76]. Капиталистическая экономика выявила необычайное могущество отдельной личности. Надежды, возлагавшиеся авторами XVIII века на промышленные возможности государства, кажутся ребяческими тем, кто изучал производство не по скучным книжонкам социологов, тщательно сберегающим все глупости былых времен. «Естественное право» сделалось темой бесконечных насмешек для всех, кто хоть слегка знаком с историей, а использование суда как средства давления на политических противников вызывает теперь всеобщее негодование, и все трезво мыслящие люди полагают, что оно в корне подрывает всякое понятие о правосудии.

Самнер Мэн очень хорошо показал, как с конца XVIII века коренным образом изменились отношения между правительством и гражданами: раньше государство неизменно считалось добрым и мудрым и поэтому всякое противодействие ему рассматривалось как тяжкое преступление — либеральная же система подразумевает, напротив, что гражданин, получив свободу, принимает наилучшие решения и что критиковать правительство, которое из господина становится слугой, — его первейшее право[77]. Мэн не выясняет причины такой перемены, но, по моему мнению, их надо искать в экономике. При новом порядке вещей государственное преступление есть просто бунт: он не заключает в себе ничего оскорбительного, его сдержи-

74 Там же. С. 146.

75 Там же.

76 При рассмотрении истории французской юридической мысли необходимо учитывать раздел земельной собственности, увеличивший число собственников сельскохозяйственного производства и тем самым больше способствовавший распространению в массах юридических идей, чем самые лучшие философские трактаты, которые не привили таких представлений даже образованным классам.

77 *Sumner Maine H.*, Essais sur le gouvernement populaire, trad. franç., p. 20.

вают мерами предосторожности, но он уже не заслуживает называться преступлением, так как совершающий его ничем не походит на преступника.

Может быть, мы нисколько не лучше, не гуманнее и не сострадательнее людей 1793 года, и я готов даже допустить, что страна в нравственном отношении, вероятно, теперь ниже, чем тогда. Но мы не находимся уже во власти предрассудка о государстве-Молохе, которому наши отцы принесли столько жертв. Жестокость членов Конвента легко объясняется пагубным влиянием идей, которые третье сословие почерпнуло из гнусных обычаев Старого режима.

III

Было бы странно, если бы старые представления исчезли совершенно. Дело Дрейфуса показало нам, что подавляющее большинство офицеров и духовенства смотрит на правосудие еще с точки зрения Старого режима и находит вполне естественным осуждение человека ради государственного интереса[78]. Это не должно нас удивлять, ведь две эти категории граждан никогда не имели прямого отношения к производству, а потому ничего не понимают и в праве. Среди просвещенной публики действия военного министерства вызвали огромное возмущение, и ненадолго можно было поверить, что у пресловутого государственного интереса скоро вовсе не останется сторонников, за исключением разве что читателей Petit journal[79] (да лиц двух вышеупомянутых категорий), чье мышление можно уподобить образу мыслей, господствовавшему в прошлом веке. К сожалению, мы убедились на собственном горьком опыте, что идея государственного интереса еще имеет своих жрецов и страстных поклонников даже среди дрейфусаров.

Едва закончилось дело Дрейфуса, как правительство республиканской концентрации начало новое политическое дело во имя государственного интереса и нагромоздило, пожалуй, не меньше лжи, чем генеральный штаб в процессе

---

78 Крайняя и беззаконная жестокость, с которой исполняли наказание, объясняется тем, что целью процесса было устрашение некоторых шпионов, оказавшихся вне досягаемости властей благодаря своему положению. При этом никого особенно не заботил вопрос, виновен ли Дрейфус, — важно было обезопасить государство от измен и успокоить французов, до безумия боявшихся войны.

79 Petit journal — одна из самых популярных ежедневных газет сорелевского времени. Отличалась дешевизной, аполитичностью и преимущественно развлекательным содержанием. — *Прим. ред.*

Дрейфуса. В самом деле, ни один серьезный человек уже не сомневается, что нашумевший заговор, по обвинению в котором были осуждены Дерулед, Бюффе и Люр-Салюс, был выдуман полицией, а осада так называемого форта Шаброль[80] представляла собой инсценировку с целью внушить парижанам, что страна находится на пороге гражданской войны. Позже жертвы этого судебного преступления были амнистированы, но этого недостаточно: будь дрейфусары вполне искренними, они потребовали бы, чтобы Сенат публично признал свою позорную ошибку, к которой привели подлоги в полиции. Похоже, дрейфусары, напротив, полагают, что как можно дольше поддерживать приговор, основанный на очевидном мошенничестве, вполне соответствует принципам вечной Справедливости.

Жорес и многие другие видные дрейфусары одобряли систему доносов, устроенную генералом Андре и Комбом[81]. Каутский резко осуждал поведение Жореса, настаивая, что социалисты не могут представлять «презренные ухищрения буржуазной республики» великими демократическими деяниями и что они должны быть «верны принципу, гласящему, что доносчик — последняя каналья» (Les Débats, 13 novembre 1904). Печальнее всего то, что Жорес обвинил в применении таких же методов полковника Гартмана (который протестовал против создания *картотеки*)[82]. Тот ответил Жоресу: «Мне жаль Вас, потому что Вы дошли сегодня до защиты столь недостойными методами преступных деяний, которые Вы клеймили

80 Поль Дерулед (Paul Déroulède, 1846–1914), Андре Бюффе (André Buffet, 1857–1909) и Эжен де Люр-Салюс (Eugène de Lur-Saluces, 1852–1922) — трое из заметных политиков-националистов, осужденных в 1899 г. по делу о попытке государственного переворота. (Согласно общепринятой позиции историков, это дело было сфабриковано правительством Вальдека-Руссо, опасавшимся мятежа националистов и монархистов в связи с повторным слушанием дела Дрейфуса.) Один из обвиняемых в заговоре отказался сдаваться полиции и забаррикадировался со сторонниками в доме на парижской улице Шаброль. Осада «форта Шаброль» продолжалась 38 дней, после чего осажденные сдались. — *Прим. ред.*

81 Луи Андре (Louis André, 1838–1913), генерал-реформатор и защитник Дрейфуса, министр войны, и Эмиль Комб (Emile Combe, 1835–1921), председатель Совета министров, были вынуждены покинуть посты в 1905 г. в результате раскрытия «дела о картотеке» — тайном сборе данных о политических и религиозных взглядах армейских офицеров, который Андре поручил масонской ложе «Великий восток Франции» с целью способствовать продвижению по службе офицеров-республиканцев. — *Прим. ред.*

82 В L'Humanité от 17 ноября 1904 г. находим письмо Поля Гийеса и Вазея, в котором они заявляют, что нет ни одного подобного факта, который бы можно было вменить в вину полковнику Гартману. Жорес сопровождает это письмо странным комментарием: он считает, что доносчики проявили полную лояльность, и сожалеет, что полковник «неосторожно льет воду на мельницу систематической кампании реакционных газет». Жорес не отдавал себе отчета в том, что этот комментарий сильно подпортил его репутацию и что он мог бы быть достоин последователя Эскобара.

вместе с нами несколько лет назад. Мне жаль Вас, потому что Вы считаете своим долгом укреплять республиканский режим подлыми методами позорящих его шпиков» (Les Débats, 5 novembre 1904).

До сих пор опыт неизменно показывал, что, как только наши революционеры добиваются власти, они сразу начинают ссылаться на государственный интерес, сами отправляют полицейские функции и рассматривают правосудие как оружие, которым они могут злоупотреблять в борьбе с противником. Парламентские социалисты не составляют исключения из общего правила: они сохранили старый культ государства, а значит, готовы повторить все преступления Старого режима и Революции.

Из «Социалистической истории» Жореса можно было бы составить отличный сборник подлых политических изречений. У меня не хватило терпения одолеть 1824 страницы, посвященных событиям Революции с 10 августа 1792 года до падения Робеспьера, — я пролистал эту скучную книжонку и увидел там странную смесь философии во вкусе г-на Панталоне с палаческой политикой. Я давно полагал, что Жорес способен на крайнюю жестокость к побежденным — теперь я вижу, что не ошибся. Но я никогда бы не подумал, что он способен еще и на такую пошлость: побежденный в его глазах всегда неправ, а победа так одурманивает нашего великого защитника вечной Справедливости, что он готов подписать по первому же требованию любые проскрипционные списки. «Революция, — говорит он, — требует от человека самых страшных жертв; она требует жертвовать не только покоем, не только жизнью, но состраданием и даже человечностью»[83]. Зачем же в таком случае было столько писать о негуманности палачей Дрейфуса? Они ведь тоже пожертвовали «состраданием и даже человечностью» ради того, что казалось им единственным спасением отечества.

Несколько лет тому назад республиканцы были вне себя от возмущения виконтом де Вогюэ, который в речи при приеме Аното во Французскую академию назвал переворот 1851 года «несколько грубоватой полицейской мерой»[84]. Жорес, наученный историей революции, рассуждает теперь совершенно как

---

83 *J. Jaurès,* La Convention, p. 1732 [vol. 6, p. 3800].

84 Это произошло 25 марта 1898 г., в особенно критический момент дела Дрейфуса, когда националисты требовали «вымести вон» смутьянов и врагов армии. Ж. Рейнак говорил, что де Вогюэ открыто приглашал армию повторить сделанное в 1851 г. (*Histoire de l'affaire Dreyfus*, tome III, p. 545).

весельчак виконт[85]: он хвалит, например, «мудрую и суровую политику» Конвента, выразившуюся в «несомненной последовательности», с какой он изгонял жирондистов[86].

Правда, сентябрьские убийства 1792 года немного его смущают — здесь последовательность не столь несомненна, — но это не важно: у него есть звонкие слова и плохие доводы в пользу тысячи гнусных дел. Поведение Дантона в эти печальные дни не было особенно достойным, но Жорес должен его извинить, ведь в это время Дантон был победителем. «Он не считал своим долгом революционного министра и патриота вступать в борьбу с этими *пошедшими по ложному пути народными силами*. Как можно переплавлять колокола, когда они должны бить в набат, возвещая об опасности для свободы?»[87] Точно так же, вероятно, мог бы объяснить свое поведение в деле Дрейфуса Кавеньяк: тем, кто упрекал его за союз с антисемитами, он мог бы ответить, что его долг министра и патриота не обязывал его вступать в борьбу с пошедшей по ложному пути чернью и что в дни, когда делу национальной обороны грозит гибель, нельзя переплавлять колокола, возвещающие, что родина в опасности.

Доходя до момента, когда Камилл Демулен пробует сформировать в обществе течение, способное остановить террор, Жорес резко высказывается против этой попытки. Это, однако, не мешает ему несколькими страницами позже признать, что управление страной посредством гильотины не могло продолжаться бесконечно, и все же, как только Демулен потерпел неудачу, в глазах нашего *смиренного* поклонника успеха он уже неправ. Жорес обвиняет автора «Старого кордельера»[88] в том, что он забыл заговоры, измены, предательства и все прочие химеры, питавшие воспаленное воображение террористов. Он даже говорит, как бы иронично это ни выглядело, «о свободной Франции» и произносит следующую тираду, достойную какого-нибудь якобинца и ученика Жозефа Прюдома[89]: «Нож Демулена был наточен с неподражаемым искусством, но он направлял его в сердце Революции»[90]. Когда Робеспьер по-

85 Де Вогюэ имеет привычку благодарить в полемических сочинениях своих противников за то, что они его позабавили — вот почему я позволил себе назвать его весельчаком, хотя его сочинения оказывают на читателя скорее усыпляющее действие..

86 *J. Jaurès,* op. cit, p. 1434 [vol. 5, p. 793].

87 Ibid., p. 77 [vol. 3, p. 123–124].

88 «Старый кордельер» (Le vieux cordelier) — газета, которую издавал Демулен. — *Прим. ред.*

89 Жозеф Прюдом (Joseph Prudhomme) — карикатурный образ буржуа из пьес Анри Монье. — *Прим. ред.*

90 Ibid., p. 1731.

теряет большинство в Конвенте, его, естественно, отправят на гильотину другие террористы в соответствии с общепринятыми правилами представительных учреждений того времени. «Преступление» же Демулена заключалось в том, что он, выступая против глав правительства, хотел опереться на *одно лишь общественное мнение*. Но ведь такое же преступление совершил и сам Жорес, выступив в защиту Дрейфуса против вождей правительства и армии; и сколько раз упрекали Жореса в том, что он вредит делу национальной обороны! Но это было очень давно, когда наш трибун еще не вкусил сладости власти и потому еще не придерживался такой жестокой теории государства, как сейчас.

Сказанного, полагаю, достаточно, чтобы заключить, что если наши парламентские социалисты случайно попадут в правительство, то они проявят себя достойными наследниками инквизиции, Старого режима и Робеспьера. Политические трибуналы при них будут действовать вовсю, и можно даже предположить, что будет отменен *злосчастный* закон 1848 года, упразднивший смертную казнь за политические преступления. Благодаря этой *реформе* государство снова восторжествует в лице карающего палача.

Пролетарское насилие не имеет ничего общего с этими проскрипциями. Оно имеет значение простой демонстрации военной силы и служит для обозначения разделения общества на классы. Все, что происходит на войне, происходит без ненависти и без жажды мести; на войне не убивают побежденных, не обрушивают на мирных людей последствия разрушений, которые армии оставляют на поле битвы[91]. Сила на войне проявляется сообразно собственной природе, не подвергаясь влиянию юридических процедур, которые общество применяет к преступникам.

Чем больше распространится и разовьется синдикализм, освобождаясь от предрассудков, насажденных Старым режимом и церковью через посредство литераторов, профессоров философии и историков Революции, тем более явно будет выражен в социальных конфликтах характер чистой борьбы, подобной борьбе двух враждебных армий.

---

91 Здесь я укажу, возможно, на не слишком известный факт: наполеоновская война в Испании была отмечена бесчисленными зверствам, но, как сообщает полковник Лафай, в Каталонии убийства и другие проявления жестокости никогда не были делом рук испанских солдат, которые уже некоторое время провели в армии и усвоили военные обычаи (Mémoires sur les campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, p. 164–165).

Те, кто внушает народу, что он должен на пути к будущему исполнять некий бесконечно идеалистический мандат правосудия, заслуживают лишь отвращения. Эти люди способствуют, в сущности, укреплению того взгляда на государство, который и был причиной всех кровавых сцен 1793 года, тогда как идея классовой борьбы помогает очистить понятие насилия.

IV

Синдикалисты во Франции принимают деятельное участие в антимилитаристской пропаганде, и по одному этому можно судить о том огромном расстоянии, которое отделяет их от парламентских социалистов в вопросе о государстве. Многие газеты высказывают мнение, что причиной этому лишь преувеличенное человеколюбие, вызванное статьями Эрве, — это очень грубая ошибка. Не следует думать, что антимилитаризм есть протест против строгой дисциплины, или против продолжительности военной службы, или, наконец, против присутствия среди высших военных чинов офицеров, враждебно настроенных к существующим учреждениям[92]. Эти соображения заставили значительную часть буржуазии бурно приветствовать высказывания против армии во время суда над Дрейфусом, но синдикалисты рассуждают иначе.

Армия — наиболее ясное и осязаемое проявление государства, непосредственно связанное с самими его основаниями. Синдикалисты отнюдь не задаются целью реформировать государство, как предлагали передовые умы XVIII века, — они хотят уничтожить его[93], потому что стремятся осуществить мысль Маркса о том, что социальная революция не должна привести к замене одного правящего меньшинства другим[94]. Еще резче синдикалисты подчеркивают идеологический аспект своей доктрины, когда вслед за «Манифестом коммунистической партии» объявляют себя антипатриотами.

---

92 Согласно Жозефу Рейнаку, было бы неправильным после войны наделять слишком значительной ролью воспитанников военных училищ, потому что тогда командование возглавила бы старая знать и католики (op. cit., p. 555–556).

93 «Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором» (*Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., изд. 2. Т. 21. С. 173).

94 См. «Манифест коммунистической партии».

В этой области между синдикалистами и официальными социалистами не может быть никакого согласия. Последние много говорят о том, что хотят все разрушить, но в качестве мишеней нападок они обычно выбирают власть имущих, а не саму власть. Они рассчитывают когда-нибудь захватить государственную власть в свои руки и понимают, что тогда им понадобится армия, а еще они будут вести внешнюю политику, и поэтому им придется восхвалять патриотизм.

Парламентские социалисты прекрасно понимают, что антипатриотизм имеет огромное значение для рабочих-социалистов, и прилагают все усилия, чтобы согласовать несогласуемое: они бы не хотели сильно задевать дорогие пролетариату идеи, но вместе с тем никак не могут отказаться от любезного их сердцу государства, сулящего им столько наслаждений. Чтобы выпутаться из этого противоречия, им приходится прибегать в своих речах к чрезвычайно комичной словесной акробатике. Например, после того как суд департамента Сена вынес обвинительный приговор Эрве и антимилитаристам, Национальный совет социалистической партии принял заявление, где осуждается «приговор, вынесенный ненавистью и страхом», отмечается, что классовое правосудие не может уважать «свободу мнений», выражается протест против использования армейских подразделений для подавления стачек и утверждается «острая необходимость международного союза и совместных действий трудящихся с целью предотвращения войны» (Le Socialiste, 20 janvier 1906). Документ составлен весьма ловко, но от основного вопроса он увиливает.

Таким образом, уже невозможно спорить с тем, что революционный синдикализм безусловно противостоит государству. Во Франции это противостояние принимает особенно резкую форму антипатриотизма, потому что политики пустили в ход все свои знания, чтобы внести путаницу в восприятие сущности социализма. В области патриотизма не может быть ни компромиссов, ни средней позиции; и как раз в этой области оказались вынуждены занять свою позицию синдикалисты, когда буржуа всех сортов стали применять всевозможные средства соблазнения, чтобы опорочить социализм и отвратить рабочих от революционной идеи. Синдикалистам пришлось отрицать идею родины в силу одной из тех необходимостей,

которые встречаются в любой исторический период[95] и которые философам порой весьма трудно объяснить, потому что выбор навязывается внешними условиями, а не осуществляется свободно в силу причин, объясняемых природой вещей. Этот характер исторической необходимости придает современному антипатриотическому движению силу, скрыть которую не смогут уже никакие софизмы[96].

Отсюда мы можем заключить, что нельзя смешивать синдикалистское насилие, используемое в ходе стачек пролетариями, которые стремятся ниспровергнуть государство, с теми зверствами, порожденными суеверным представлением о государстве, которые творили революционеры 1793 года, получив власть, а с нею и возможность угнетать побежденных в соответствии с принципами, которые они переняли у церкви и монархии. Мы имеем основания надеяться, что социалистическая революция, осуществляемая истинными синдикалистами, не будет замарана безобразиями, опорочившими революции буржуазные.

95 После суда над Эрве Леон Доде писал: «Те, кто следил за этими дебатами, содрогнулись от прямодушных показаний профсоюзных секретарей» (La Libre parole, décembre 1905).

96 Между тем Жорес набрался дерзости заявить в палате депутатов 11 мая 1907 г., что лишь «на поверхности рабочего движения возникают кое-какие чрезмерные и парадоксальные заявления, но они происходят не от отрицания родины, а от осуждения частых злоупотреблений этой идеей и этим словом». Таким языком можно пользоваться лишь перед собранием, которое вовсе ничего не знает о рабочем движении.

ГЛАВА IV

Пролетарская стачка

I. — *Путаница парламентского социализма и ясность всеобщей стачки. — Мифы в истории. — Практическое доказательство значения всеобщей стачки.*

II. — *Попытки усовершенствования марксизма. — Способ его прояснения при помощи всеобщей стачки: классовая борьба; — подготовка к революции и отсутствие утопий; — неустранимый характер революции.*

III. — *Научные предрассудки, противопоставляемые всеобщей стачке; сомнения в науке. — Ясные и темные области мысли. — Неосведомленность парламентов в экономических вопросах.*

I

Всякий раз, когда пытаешься точно установить, какие идеи связываются с пролетарским насилием, приходится обращаться к понятию всеобщей стачки. Но это же понятие может быть полезным и во многих других отношениях, проливая неожиданный свет на все неясные элементы социализма.

В конце первой главы я сравнил всеобщую стачку с наполеоновской битвой, наносящей противнику последний, окончательный удар, — это сравнение поможет нам понять идеологическое значение всеобщей стачки. Когда современные теоретики военного дела обсуждают новые методы ведения войны, соответствующие сильно возросшей по сравнению с наполеоновской эпохой численности войск и применению более совершенного вооружения, они все же убеждены, что только битвы, подобные наполеоновским, могут и теперь решать исход военной кампании. Предлагаемые ими тактические приемы должны подходить для той же драмы, которую имел в виду Наполеон; без сомнения, перипетии битвы развернутся совсем иначе, чем в то время, но целью как тогда, так и теперь должно быть полное поражение неприятеля.

Армейское обучение представляет собой подготовку солдат к этому величественному и чудовищному действу, в котором все они обязаны принять участие по первому сигналу. В армии все, от главнокомандующего до рядового,

сплоченные единым духом, направляют мысли к этой разрушительной развязке международного конфликта.

Революционные профсоюзы рассуждают о социалистическом действии точно так же, как военные теоретики о войне: весь социализм для них заключен во всеобщей стачке, любая комбинация должна приводить к этой цели, и в каждой стачке они видят камерную имитацию, пробу, подготовку пролетариата к окончательному великому перевороту.

«Новая школа», называющая себя марксистской, синдикалистской и революционной, заявила о поддержке идеи всеобщей стачки с того самого момента, как пришла к ясному сознанию истинного смысла своей доктрины и последствий своей деятельности — к сознанию своей самобытности. Это привело ее к разрыву со старыми официальными сектами утопистов и политиканов, приходящих в ужас от одной мысли о всеобщей стачке, и присоединению к независимому движению революционного пролетариата, которое давно уже использует вопрос об отношении к всеобщей стачке, чтобы отличать рабочий социализм от социализма революционеров-дилетантов.

Парламентские социалисты могут иметь большое влияние только в том случае, если им удастся при помощи запутанных речей привлечь на свою сторону различные группы. Им нужны наивные избиратели-рабочие, позволяющие себя одурачить трескучими фразами о будущем коллективизме; им нужно представиться глубокомысленными философами перед той ограниченной буржуазией, которая хочет казаться сведущей в социальных вопросах; им совершенно необходимо эксплуатировать богачей, которые надеются заслужить благодарность человечества, финансируя предприятия социалистической политики. Их влияние основано на ужасной галиматье, и нередко им, к сожалению, слишком хорошо удается вносить путаницу в мысли читателей. Всеобщую стачку они отвергают потому, что всякая ее пропаганда носит слишком социалистический характер, чтобы нравиться филантропам.

В устах этих мнимых представителей пролетариата все социалистические формулы утрачивают реальный смысл. Классовая борьба — основополагающий принцип, но она должна быть подчинена национальной солидарности[97].

97 Le Petit Parisien, чьи авторы мнят себя специалистами и социалистами в рабочих вопросах, 31 марта 1907 г. предостерег стачечников, что они «никогда не должны ставить себя выше долга социальной солидарности».

Интернационализм — догмат веры, во имя которого даже самые умеренные из них готовы приносить торжественные клятвы, но патриотизм тоже налагает на них священные обязанности[98]. Освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся, как это ежедневно сообщается в печати, но истинное их освобождение состоит в том, чтобы голосовать за профессиональных политиков, давая последним возможность устроиться и подчиняясь им, как своим господам. Наконец, государство должно исчезнуть, и никто не станет оспаривать по этому вопросу Энгельса, но оно исчезнет в отдаленном будущем, а пока оно не наступило, государством можно пользоваться, урывая лакомые кусочки для политиков, лучший же способ уничтожения государства состоит в настоящее время в его усилении — то есть в прыжке из огня да в полымя. И так далее, и тому подобное.

Подобными противоречивыми, смешными и шарлатанскими высказываниями, которыми изобилует парламентская болтовня наших великих людей, можно было бы заполнить не один том. Этих людей ничто не смущает, и они умеют сочетать в напыщенных, запальчивых и туманных речах крайности непримиримости и оппортунизма. Один знаток социализма как-то заявил, что искусство примирять противоречия при помощи галиматьи — самый очевидный результат, который он извлек из чтения Маркса[99]. Я признаю, что совершенно ничего не смыслю в этих сложных вопросах, да и не стремлюсь принадлежать к числу тех, кого политики удостаивают

---

98 В годы, когда публику начали тревожить антимилитаристы, Le Petit Parisien отличился патриотизмом: 8 октября 1905 г. вышла статья о «священном долге» и о «культе триколора — знамени нашей славы и наших свобод, которое обошло весь мир»; 1 января 1906 г. — поздравления суда присяжных департамента Сена: «Знамя отомщено за оскорбления, нанесенные хулителями этому благородному символу. Когда его проносят по улицам, все его приветствуют. Но присяжные не просто склонились перед ним — они с почтением сомкнулись в строй, чтобы отстоять его». Вот пример благоразумного социализма.

99 Недавно в Национальном совете долго обсуждали два предложения: одно состояло в том, чтобы приглашать федерации из департаментов вести предвыборную борьбу повсюду, где это возможно, а другое — повсюду выставлять кандидатов. Один из членов Совета попросил слова: «Прошу немного внимания, — сказал он, — так как я хочу высказать мысль, которая может на первый взгляд показаться причудливой и парадоксальной. [Два эти предложения] не исключают друг друга, если мы попытаемся разрешить это противоречие, используя естественный, марксистский метод решения всех противоречий» (Le Socialiste, 7 octobre 1905). Похоже, никто его не понял, ведь его слова в самом деле совершенно невразумительны.

громкого титула ученых, — но все же сильно сомневаюсь, что в этом и заключается сущность марксистской философии.

Полемика между Жоресом и Клемансо явственно показала, что навязывать публике свои взгляды наши парламентские социалисты могут только благодаря бессмысленной болтовне и что, непрестанно обманывая читателей, они в конце концов потеряли всякое представление о честной дискуссии. В газете L'Aurore от 4 сентября 1905 года Клемансо укоряет Жореса за то, что он морочит своих последователей «метафизическими тонкостями, в которых они неспособны разобраться». Упрек этот совершенно справедлив, за исключением слова «метафизический»: Жорес не больше метафизик, чем юрист и астроном. В номере от 26 октября Клемансо доказывает, что его оппонент обладает «искусством толкования текстов» и заканчивает словами: «Мне показалось поучительным выявить некоторые полемические приемы, каковые мы совершенно напрасно считаем привилегией одних только иезуитов».

Этому шумному, трескучему и лживому социализму, которым пользуются честолюбцы всякого калибра, который забавляет насмешников и восхищает декадентов, противостоит революционный синдикализм, всеми силами стремящийся, напротив, к предельной ясности: каждая мысль здесь выражается честно, без недомолвок и обмана, и никто не пытается разбавить теорию потоком мутных комментариев. Синдикализм ищет таких способов выражения, которые полностью проясняют вещи, точно определяют им положение, соответствующее их природе, и обнаруживают истинную ценность всех задействованных сил. Вместо смягчения существующих противоречий синдикализм требует подчеркивать их, как можно более четко обозначать борющиеся между собой группы и, наконец, представлять движение революционных масс таким образом, чтобы оно произвело на повстанцев мощное вдохновляющее впечатление.

Одни лишь языковые приемы, конечно, не могут обеспечить подобных результатов. Необходимо прибегнуть к помощи образов, способных *в совокупности и силой одной только интуиции*, без каких-либо рассуждений, вызвать чувства, соответствующие различным проявлениям войны, начатой социализмом против современного общества. Синдикалисты прекрасно решают эту задачу, сосредотачивая весь социализм в драме всеобщей стачки и не оставляя таким образом *официальным ученым* возможности соединять противоположности

при помощи пустословия, — здесь все так ясно обрисовано, что допускает лишь одно возможное толкование социализма. Этот метод обладает всеми преимуществами, какие дает всеобъемлющее знание над анализом, согласно учению Бергсона; и, возможно, немного найдется примеров, столь точно отражающих силу построений этого прославленного мыслителя[100].

О возможности провести идею всеобщей стачки в жизнь уже много спорили: доказывали, что борьба за социализм не может решиться одной битвой — нашим *благоразумным*, практичным и ученым людям кажется чрезвычайно сложным устроить согласованное действие огромных масс пролетариата, — и подробно разбирали все трудности такой грандиозной борьбы. По словам социалистов-социологов, а также политиков, всеобщая стачка — это не более чем народная фантазия, типичная для момента зарождения рабочего движения. Они приводят слова Сиднея Вебба, назвавшего всеобщую стачку юношеской иллюзией[101], от которой быстро освободились английские рабочие, которых монополисты серьезной науки так часто представляли нам как носителей истинного понимания рабочего движения.

Непопулярность всеобщей стачки в современной Англии не может, конечно, служить веским аргументом против исторического значения этой идеи, ведь англичане отличаются удивительно плохим пониманием классовой борьбы. Их мысль так и осталась порабощенной феодальными традициями: идеалом рабочей организации им все еще кажется корпорация, обладающая особыми привилегиями или по крайней мере находящаяся под защитой закона. Именно для Англии было придумано выражение «рабочая аристократия», обозначающее членов профсоюзов, — английские тред-юнионы в самом деле всегда стремились получить покровительство закона[102]. На этом основании можно сказать, что отвращение, питаемое в Англии к всеобщей стачке, должно только повышать ее значение в глазах тех, кто видит в борьбе классов основу социализма.

С другой стороны, репутация Сиднея Вебба как хорошо осведомленного автора сильно преувеличена: вся его заслуга состоит в том, что он имел терпение собрать

---

100 Характер настоящих заметок не позволяет долго распространяться на эту тему, но я полагаю, что идеи Бергсона к теории всеобщей стачки можно применить еще полнее. В философии Бергсона движение рассматривается как неделимое целое, что нас как раз и подводит к концепции катастрофического социализма.

101 *Bourdeau*, L'évolution du socialisme, p. 232.

102 Это можно заметить, к примеру, по борьбе тред-юнионов за законы, освобождающие их от гражданской ответственности за свои деяния.

сведения по нескольким малоинтересным вопросам и составить одну из самых трудно перевариваемых компиляций по истории тред-юнионизма. Он принадлежит к числу тех ограниченных умов, которые могут восхищать только людей, не привыкших думать[103]. Те, кто сделал его имя известным во Франции, ровным счетом ничего не смыслили в социализме, и если он в самом деле стал одним из лучших современных специалистов по истории экономики, как утверждает его переводчик[104], то объясняется это только низким интеллектуальным уровнем этих ученых; впрочем, множество примеров показывает, что знаменитый историк может быть в высшей степени ограниченным человеком.

Я не придаю также большого значения возражениям практического характера, которые высказываются против всеобщей стачки. Если бы мы стали изготовлять гипотезы о будущей борьбе и о средствах уничтожения капитализма по модели исторических фактов, мы вернулись бы к старому утопизму. Не существует никакого метода ни для научного предсказания будущего, ни даже для рассуждения о преимуществах одних гипотез перед другими; слишком много памятных примеров доказали нам, что и самые великие люди впадали в глубочайшие заблуждения, когда пытались управлять даже ближайшим будущим[105].

И все же человек не может действовать, не выходя за пределы настоящего, не рассуждая о том будущем, которое как будто бы обречено всегда ускользать от нашего разума. Мы видели на опыте, что создаваемые им построения *будущего, не определенного во времени*, могут производить большой эффект и почти не иметь недостатков: это бывает с мифами, в которых выражаются наиболее мощные склонности народа, партии или класса — склонности, предстающие уму с настойчивостью инстинктов во всех обстоятельствах жизни и придающие впечатление полной обоснованности надеждам на ближайшее действие, которые обеспечивают преобразование воли. Притом известно, что эти социальные мифы

---

103 Тард не мог понять основания репутации Сиднея Вебба и полагал его бумагомаракой.

104 *Métin.* Le Socialisme en Angleterre, p. 210. Этот человек получил от правительства *аттестат социалиста*. 26 июля 1904 г. французский генеральный комиссар Всемирной выставки в Сент-Луисе сказал: «Г-н Метен движим благороднейшим демократическим духом, он превосходный республиканец и *даже социалист*, которого рабочие ассоциации должны принять как друга» (Association ouvrière, 30 juillet 1904). Можно было бы провести занимательное исследование о людях, которые были таким образом аттестованы правительством, *Социальным музеем* или *осведомленной прессой*..

105 Ошибки, совершенные Марксом, многочисленны и иногда чудовищны (см. *G. Sorel,* Saggi di critica del marxismo, p. 51–57).

нисколько не мешают человеку извлекать пользу из всех наблюдений, которые он делает на протяжении жизни, и не препятствуют ему в совершении привычных дел[106].

В доказательство можно привести множество примеров. Первые христиане ждали второго пришествия Христа, гибели языческого мира и установления Царствия Божия на земле к концу жизни своего первого поколения. Этого не произошло, но апокалиптический миф все же оказался столь важен для христианской мысли, что многие современные ученые готовы свести к этой единственной мысли все учение Христа[107]. Надежды, возлагавшиеся Лютером и Кальвином на религиозный дух Европы, тоже нисколько не оправдались. Отцы Реформации стали скоро казаться людьми совершенно другого мира; современные протестанты считают их принадлежащими скорее к Средневековью, чем к Новому времени, а проблемы, больше всего тревожившие их, в нынешнем протестантизме занимают незначительное место. Можем ли мы на этом основании оспаривать колоссальную важность плодов, которые принесла их мечта о возрождении христианства? Мы легко можем согласиться, что и настоящие последствия Революции совершенно не совпадают с волшебной картиной, вдохновлявшей ее первых адептов, — но не будь этой картины, разве смогла бы Революция победить? Миф был полон утопий[108], потому что его породило общество, страстно увлеченное вымышленными литературными сюжетами, полное веры в «мелкую науку» и почти незнакомое с экономической историей прошлого. Эти утопии пусты, но спросим себя: не принесла ли Революция гораздо более глубокие преобразования, чем предполагали те люди, которые в XVIII веке изобретали социальные утопии? В совсем недавнем прошлом Мадзини преследовал цель, которую мудрецы его времени называли безумной химерой. Однако сегодня уже нельзя сомневаться в том, что без него Италия не стала бы великой державой и что он сделал для объединения Италии гораздо больше, чем Кавур и все политики его школы.

Таким образом, совсем не важно знать, много ли в мифе составных частей, которым суждено осуществиться в ходе будущей истории. Ведь мифы — это не астрологические альманахи; возможно даже, что ни одна из деталей не

---

106 Многие отмечали, что английские и американские сектанты, чья религиозная экзальтация поддерживалась апокалиптическими мифами, не становились от этого людьми менее практичными.

107 Сегодня эта доктрина занимает важное место в немецкой экзегетике. Во Францию ее принес аббат Луази.

108 См. письмо к Даниэлю Галеви, IV. — *Прим. ред.*

осуществится, как в случае катастрофы, которой ожидали первые христиане[109]. Разве в обыденной жизни мы не признаем, что действительность сильно отличается от представлений, которые мы составляем себе о ней перед тем, как действовать? Но это не мешает нам принимать решения, как и прежде. Психологи говорят, что достигнутые цели зачастую не совпадают с поставленными — этот закон подтверждается любым жизненным опытом, а Спенсер перенес его в природу и вывел из него теорию умножения следствий[110].

Эти мифы нужно рассматривать просто как средство воздействия на настоящее, и споры о способе их реального применения к течению истории лишены всякого смысла. *Для нас важен миф как целое*, а отдельные его части имеют значение лишь постольку, поскольку они ярче выделяют идею, заключенную в этой конструкции. Бесполезно поэтому рассуждать о случайностях, которые могут произойти в ходе социальной войны, и о решительных столкновениях, могущих принести пролетариату окончательную победу. Даже если революционеры полностью заблуждаются, рисуя себе фантастическую картину всеобщей стачки, эта картина может стать мощнейшим источником силы во время подготовки к революции при условии, что она включает в себя все чаяния социализма и выражает всю совокупность революционных идей с такой определенностью и твердостью, каких не дают другие методы мышления.

Итак, чтобы оценить значение идеи всеобщей стачки, нужно забыть обо всех способах ведения дискуссий, которыми пользуются политики, социологи и те, кто мнит себя знатоками прикладной науки. Можно уступить противникам, согласившись с ними во всем, что они стараются доказать, отнюдь не уменьшая при этом значения самого тезиса, который они тщетно стремятся опровергнуть. Для нас совершенно неважно, реальна ли всеобщая стачка хотя бы отчасти или же она есть лишь плод народного воображения. Главное для нас — установить, содержится ли в ней все то, что требует от революционного пролетариата социалистическое учение.

Чтобы ответить на такой вопрос, мы вовсе не обязаны мудро рассуждать о будущем и предаваться возвышенным размышлениям о философии, истории или политической

---

109 Я попытался показать, как на смену этому исчезнувшему социальному мифу пришло благочестие, и по сей день сохраняющее основополагающее значение в жизни католиков. Думаю, что для религии этот переход от социального к индивидуальному совершенно естественен. (Le système historique de Renan, p. 374–382).

110 Я полагаю, впрочем, что весь эволюционизм Спенсера можно объяснить переносом в физику идей самой вульгарной психологии.

экономии. Мы не переносимся в область идеологии, а остаемся на почве фактов, доступных нашему изучению. Мы станем опрашивать людей, принимающих активное участие в подлинно революционном движении пролетариата, не стремящихся возвыситься до буржуазии и не подчиненных корпоративными предрассудками. Эти люди могут ошибаться в бесчисленных вопросах политики, экономики или морали, но зато их свидетельство имеет решающее и окончательное значение, когда требуется узнать, какие представления наиболее сильно влияют на них и их товарищей, более других соответствуют их видению социализма и преобразуют рассуждения, надежды и восприятие конкретных фактов в неделимое целое[111].

Благодаря этим людям мы знаем, что всеобщая стачка есть именно то, что я описал, — *миф*, заключающий в себе весь социализм, совокупность образов, способных инстинктивно вызывать именно те чувства, которые соответствуют различным проявлениям социалистической борьбы против современного общества. Стачки зародили в пролетариате самые благородные, глубокие и воодушевляющие чувства, которые всеобщая стачка объединяет в общую картину и тем самым усиливает каждое из них до предела. Оживляя в памяти самые жгучие воспоминания частных конфликтов, она ярко освещает все детали картины, предстающей перед сознанием. Таким образом, мы получаем интуитивное и ясное представление о социализме, чего не мог бы дать язык, — и получаем мы его в мгновенно воспринимаемой полноте[112].

Чтобы показать силу идеи всеобщей стачки, мы можем опереться еще на один довод. Если бы эта идея была только химерой, как это часто утверждают, то парламентским социалистам не нужно было бы так усердно с ней бороться, ведь не сражаются же они против тех бессмысленных мечтаний, которыми продолжают ослеплять глаза народа утописты[113]. Еще недавно в полемике об осуществимости социальных реформ Клемансо подчеркивал макиавеллизм позиции Жореса, когда он сталкивается с распространенными в народе иллюзиями: он просто прячется за

111 Вот еще одно применение тезисов Бергсона.

112 В бергсоновской философии это совершенное знание.

113 Не припомню, чтобы официальные социалисты обращали внимание на смехотворность романов Беллами [Эдвард Беллами (Edward Bellamy, 1850–1898) — американский писатель-фантаст. — *Прим. ред.*], которые имели весьма большой успех. А ведь, казалось бы, они особенно нуждаются в критике, так как в них представлен идеал вполне буржуазной жизни. Эти романы представляют собой естественный продукт Америки, страны, которая не знает классовой борьбы, но разве могли европейские теоретики классовой борьбы не понять их?

каким-нибудь «ловко подобранным изречением», которое, впрочем, настолько ловко балансирует между крайностями, что «даже те, кто больше всех нуждается в постижении его сущности, рассеянно примут его, упиваясь обманчивой риторикой, сулящей им грядущие земные радости» (Aurore, 28 décembre 1905). Но всеобщая стачка — совсем другое дело: здесь наши политики уже не довольствуются изощренными отговорками — они произносят пламенные речи, всеми силами стремясь убедить слушателей забыть эту мысль.

Причину их поведения нетрудно понять: политикам не опасны утопии, рисующие народу обманчивые миражи будущего, «указывая людям путь к тому земному благополучию, даже ничтожная часть которого с научной точки зрения может быть достигнута лишь очень долгими трудами» (так делают, по словам Клемансо, политики-социалисты). Чем сильнее будут верить избиратели в *волшебную силу государства*, тем скорее они будут склонны голосовать за кандидата, сулящего им чудеса. В предвыборной борьбе каждый старается поднять ставки, и социалистам, чтобы победить радикалов, нужно заронить в избирателей как можно больше надежд[114] — поэтому они и избегают разуверять народ в утопии легко достижимого счастья.

Против идеи всеобщей стачки они выступают потому, что во время агитационных поездок заметили: эта идея так близка рабочим, что способна полностью завладеть их умами и не оставить места для таких желаний, которые могли бы удовлетворить парламентарии. Они видят, что эта идея обладает такой воодушевляющей силой, что стоит ей проникнуть в ряды рабочих, как они быстро избавляются от всякого контроля хозяев, а значит, она грозит уничтожить и депутатскую власть. Наконец, они смутно предчувствуют, что всеобщая стачка может поглотить весь социализм, и тогда компромиссы между политическими партиями, ради которых и существует парламентский строй, потеряют всякий смысл.

Таким образом, противостояние официальных социалистов идее всеобщей стачки подтверждает первое наше соображение о ее значении.

II

Пойдем дальше. Посмотрим, полна ли картина, которую рисует всеобщая стачка, то есть включает ли она все элементы борьбы, признаваемые современным социализмом.

---

114 В процитированной выше статье Клемансо напоминает, что Жорес использовал такое повышение ставок в своей речи в Безье.

Но прежде всего нужно точно поставить сам вопрос, что будет нетрудно сделать, если исходить из вышеизложенных пояснений о сущности нашей теории. Мы уже знаем, что всеобщую стачку нужно рассматривать как нечто целое и неделимое, поэтому отдельные детали воплощения ничего не дадут для понимания социализма — следует заметить даже, что, разлагая целое на части, мы рискуем не вполне понять его сущности. Мы постараемся доказать, что между главными положениями марксизма и различными сторонами целостного представления, которое дает картина всеобщей стачки, есть основополагающая общность.

Это утверждение неизбежно покажется парадоксальным многим, кто читал труды наиболее авторитетных марксистов, ведь в марксистской среде очень долго царило прямо враждебное отношение к всеобщей стачке. Это предубеждение сильно повредило развитию Марксовой теории, и это яркий пример того, как ученики вообще склонны ограничивать значение идеи учителя. «Новой школе» нелегко было освободиться от этого влияния: она была основана людьми, в которых глубоко запечатлелся официальный марксизм, и прошло много времени, прежде чем ее члены поняли, что все возражения против всеобщей стачки происходят скорее от слабости официальных представителей марксизма, чем из принципов самого учения[115].

Освобождаться от этих влияний «новая школа» начала тогда, когда ей стало ясно, что формулы социализма часто весьма далеки от духа учения Маркса, и она стала ратовать за возвращение к этому духу. Не без удивления члены «новой школы» обнаружили, что Марксу часто приписывают открытия, сделанные его предшественниками, или общие места эпохи «Манифеста коммунистической партии». Если верить одному хорошо осведомленному, по мнению правительства и *Социального музея*, автору, «учение о концентрации капитала — одно из важнейших открытий Маркса, одна из тех находок, которыми он более всего гордился»[116]. Не в обиду этому видному профессору и его историческим познаниям будет сказано, но эта мысль была всем известна задолго до Маркса и стала догмой в социалистических кругах еще

---

115 В статье «Введение в метафизику», опубликованной в 1903 г., Бергсон отмечает, что ученики всегда склонны преувеличивать расхождения между учителями и что «сам учитель, поскольку он формулирует, развивает, переводит на абстрактные идеи то, что он приносит, является в некотором роде учеником по отношению к самому себе» (*Бергсон А.* Творческая эволюция. Материя и память. Мн.: Харвест, 1999. С. 1220).

116 *A. Métin*, op. cit., p. 191.

в конце правления Луи-Филиппа. И в марксизме есть еще немало подобных положений.

Решительный шаг к преобразованиям был сделан тогда, когда те из марксистов, кто стремился мыслить свободно, стали изучать профсоюзное движение. Они обнаружили, что «мы можем многому научиться у простых членов профсоюзов, большему, чем они у нас»[117]. Так началось обретение мудрости — был снова найден реалистический путь, приведший Маркса к подлинным открытиям, и можно было вернуться к единственному методу, который заслуживает называться философским, так как «каждая истинная и плодотворная идея есть соприкосновение с каким-нибудь потоком реальности», и «главной частью своего блеска [идеи] обязаны тому свету, который они получают путем отражения от фактов и от вызванных ими самими применений, так как ясность понятия есть в сущности только некогда приобретенная уверенность, что можно с пользой употреблять его»[118]. Полезно также привести и другую глубокую мысль Бергсона: «Ибо нельзя получить от реальности интуицию, то есть интеллектуальную симпатию к тому, что есть в реальности самого сокровенного, если не заслужить ее доверия путем продолжительного общения с ее поверхностными проявлениями. И дело идет не о том только, чтобы усвоить выдающиеся факты; их нужно собрать и сплавить из них такую огромную массу, чтобы была возможность в этом сплаве нейтрализовать одни другими все предвзятые и скороспелые идеи, которые наблюдатели могли положить без ведома в основание своих наблюдений. Только таким путем проявляется грубая материальность познаваемых фактов». В конечном итоге мы приходим к тому, что Бергсон называет «интегральным опытом»[119].

Благодаря новому принципу довольно скоро удалось увидеть, что все утверждения, в кругу которых хотели запереть социализм, совершенно недостаточны, а порой скорее опасны, чем полезны. Все попытки усовершенствовать марксизм, предпринятые в Германии, оказались бесплодны именно из-за суеверного почтения социал-демократов к схоластике их доктрин.

Получив полное представление о всеобщей стачке, а значит, и глубокое интуитивное понимание рабочего движения, сторонники «новой школы» осознали, что с привлечением этой великой идеи все положения социализма приобретают

117 *G. Sorel,* L'Avenir socialiste des syndicats, p. 12.

118 *Бергсон А.* Указ. соч. С. 1219.

119 Там же. С. 1221.

ясность, которой им ранее недоставало. Они поняли, что для того, чтобы в точности понять современные изменения пролетарской мысли, необходимо отбросить созданные в Германии для объяснения доктрин Маркса тяжеловесные и непрочные построения. Они обнаружили, что понятие всеобщей стачки дает возможность плодотворно исследовать то огромное пространство марксизма, о котором в действительности почти ничего не знали именитые авторы, стремившиеся командовать пролетарским движением. Таким образом, основные принципы марксизма можно понять в полной мере, лишь если воспользоваться образом всеобщей стачки; с другой стороны, вся полнота значения этого образа доступна лишь тем, кто проникся идеями Маркса.

А. — Прежде всего я буду говорить о классовой борьбе — отправной точке всякого социалистического размышления: ее необходимо очистить от всех ложных представлений, которые создают софисты.

1) Маркс описывает общество разделенным на две глубоко враждебные друг другу группы. Это мнение часто пытаются опровергнуть жизненными наблюдениями, и, конечно, нужно известное умственное усилие, чтобы найти ему подтверждение в обыденности.

Первым приближением к идее класса является развитие капиталистической фабрики, а решающую роль в образовании этого представления играет сдельная работа. Она ясно обнаруживает противоположность интересов в установлении цены на товары[120]: трудящиеся чувствуют себя в такой же зависимости от хозяев, в какой крестьяне находятся у торговцев и ростовщиков, а история показывает, что противоположность города и деревни — наиболее ясно сознаваемое экономическое противоречие, ведь город и деревня представляют собой два враждебных лагеря с тех самых пор, как существует цивилизация[121]. Сдельная работа также показывает, что среди наемных работников есть известная группа людей, подобных розничным торговцам, которые пользуются доверием хозяина и не принадлежат к пролетариату.

Стачка привносит в эти отношения новую определенность. Она разграничивает интересы и образ мыслей двух групп работников яснее, чем условия повседневной жизни,

---

120 Я не знаю, всегда ли ученые хорошо понимали роль сдельной работы. Очевидно, что знаменитые слова «производитель должен иметь возможность выкупить продукт своего труда» происходят из размышлений по поводу сдельной работы.

121 «Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой противоположности» — города и деревни (*Маркс К.* Капитал // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 23. С. 365).

выявляя естественную склонность работников, исполняющих административные функции, к образованию малой аристократии, — именно этим людям был бы выгоден государственный социализм, так как они поднялись бы на одну ступень в социальной иерархии.

Но если представить нарастание конфликта до уровня всеобщей стачки, все столкновения интересов обозначатся еще более отчетливо. Все части экономико-юридической структуры, если рассматривать ее с точки зрения классовой борьбы, достигают завершенности. Общество разделяется на два лагеря, противостоящих друг другу на поле битвы. Никакое философское объяснение наблюдаемых в реальности фактов не могло бы дать нам такого ясного понятия об этом, как этот живой образ, встающий перед глазами при одном лишь упоминании о всеобщей стачке.

2) Конец капиталистического господства представим только при наличии страстного чувства возмущения, постоянно наполняющего душу каждого рабочего. Но опыт показывает, что очень часто разовые бунты крайне далеки от подлинно социалистического духа: самые сильные вспышки негодования часто рождаются из страстей, которые могут найти удовлетворение в буржуазном мире, и немало революционеров оставляют былую непримиримость при виде благоприятных перспектив[122]. Такие постыдные и регулярные превращения не всегда происходят от удовлетворения материальных потребностей — великой движущей силой перехода от бунта к буржуазии оказывается себялюбие. Это явление не заслуживало бы внимания, если бы касалось исключительных случаев. Но уже не раз утверждали, что психология рабочих масс так легко приспособляется к капиталистическому режиму, что социального мира можно достичь очень быстро, стоит только хозяевам поступиться малой толикой того, что они имеют.

Гюстав Лебон утверждает, что вера в революционные инстинкты толпы глубоко ошибочна, что в действительности устремления масс консервативны, а распространение социализма является лишь результатом морального упадка буржуазии; он убежден, что массы всегда пойдут за Цезарем[123]. В этом

---

122 Как мы помним, извержение вулкана на Мартинике привело к гибели губернатора [Луи Мутте (Louis Mouttet, 1857–1902). — *Прим. ред.*], который в 1879 г. был одним из главных героев социалистического съезда в Марселе. Даже Коммуна не была трагична для всех своих сторонников — многие из них сделали блестящие карьеры. В 1871 г. среди тех, кто требовал казни заложников, отличился посол Франции в Риме.

123 *Лебон Г.* Психология социализма. СПб: Макет. 1996. С. 22–23, 39. Автор, которого мелкие бахвалы от университетского социализма несколько лет тому назад называли дураком, является одним из оригинальнейших естествоиспытателей нашего времени.

заявлении, основанном на весьма обширном знании различных цивилизаций, много правды, хотя нужно прибавить, что это относится только к тому обществу, в котором отсутствует понятие о классовой борьбе.

Наблюдения же показывают, что это понятие держится с нерушимой силой во всех кругах, захваченных идеей всеобщей стачки. От веры в социальный мир, привычной покорности, преклонения перед благодетельными или прославленными хозяевами не остается и следа, как только самые незначительные случаи ежедневной жизни становятся проявлениями борьбы между классами, всякий конфликт видится эпизодом социальной войны, а любая стачка грозит вызвать окончательную катастрофу. Идея всеобщей стачки настолько могущественна, что заражает революционным духом всех, кого только коснется. Благодаря ей социализм остается вечно юным, все попытки установить социальный мир кажутся ребяческими, а постыдное бегство обуржуазившихся товарищей не только не приводит массы в уныние, но еще больше разжигает в них волю к восстанию — словом, затухание общественному противостоянию не грозит.

3) Успех политиков-социалистов в их попытках доказать то, что они называют влиянием пролетариата на буржуазные институты, представляет собой большое препятствие для укрепления понятия классовой борьбы. Мир всегда жил переговорами между спорящими сторонами, и любой порядок был всегда лишь временным; в наши дни, когда в жизнь воплотилось столько неожиданных новшеств, даже самые значительные перемены нельзя считать невозможными. Современный прогресс осуществляется благодаря последовательным компромиссам — почему же не воспользоваться таким верным средством и для достижения целей социализма? Для удовлетворения наиболее насущных нужд бедных классов можно предложить множество способов. Долгое время эти проекты улучшения их жизни диктовались духом консерватизма, феодального или католического, и их создатели говорили, что хотят оградить массы от влияния радикалов. Радикалы же, теснимые политиками-социалистами больше, чем прежними врагами, сочиняют теперь новые проекты, раскрашивая их в цвета прогрессивной демократии и свободомыслия. Наконец нам начинают угрожать социалистическими компромиссами!

Не все учитывают, что многие политические организации, административные системы и финансовые режимы могут сосуществовать с господством буржуазии. Резким нападкам на буржуазию не всегда нужно придавать большое значение, так как они могут быть продиктованы лишь

желанием реформировать и усовершенствовать капиталистический строй[124]. В наше время существует, вероятно, немало людей, которые охотно пожертвовали бы правом наследования, подобно сенсимонистам, но вовсе не хотят исчезновения капиталистического строя[125].

Всеобщая стачка исключает идеологические последствия всякой возможной социальной политики. Ее сторонники считают буржуазными даже самые популярные реформы, для них ничто не может ослабить основополагающее противоречие классовой борьбы. Чем больший вес будет набирать политика социальных реформ, тем острее будет стоять перед социализмом необходимость противопоставить картине постепенного прогресса, который она стремится изобразить, картину тотальной катастрофы, совершенный образец которой дает нам всеобщая стачка.

В. — Рассмотрим теперь ключевые черты революции по Марксу в сравнении с всеобщей стачкой.

1) По словам Маркса, к моменту революции пролетариат будет организован, дисциплинирован и объединен благодаря самому механизму производства. Эта сжатая формулировка становится ясной только в соотнесении с ее контекстом: Маркс говорит, что рабочий класс испытывает давление режима, в котором «возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации» и против которого он борется с увеличивающимся упорством, пока не обрушится вся социальная структура[126]. Многие оспаривали точность этих знаменитых слов, полагая, что они гораздо больше подходят ко времени «Манифеста» (1847), чем «Капитала» (1867). Однако это возражение не должно нас останавливать, и его следует отбросить при помощи теории мифов. Всевозможные термины, употребляемые Марксом при описании подготовки к решительной битве, не должны пониматься как прямые, определенные во времени утверждения — важна общая картина, а она вполне ясна: Маркс стремится доказать, что подготовка пролетариата к революции состоит исключительно в организации

124 Мне знаком, например, один весьма просвещенный католик, с редкой язвительностью выражающий презрение к французской буржуазии; однако его идеал — американизм, то есть молодой и активный капитализм.

125 П. де Рузье был крайне удивлен, увидев, как в США богатые отцы заставляют сыновей зарабатывать на жизнь. Он часто встречал «французов, глубоко шокированных эгоизмом американских отцов, как они это называют. У них вызывает негодование богач, заставляющий сына зарабатывать, вместо того чтобы устроить его будущее» (*P. de Rousiers,* La vie américaine. L'éducation et la société, p. 9).

126 *Маркс К.* Капитал. С. 772.

упорного, страстного, возрастающего сопротивления против существующего порядка вещей.

Этот тезис имеет огромное значение для правильного понимания марксизма, хотя его много раз оспаривали, если не в теории, то на практике, стараясь доказать, что к своей будущей роли пролетариат должен готовиться иначе, чем путем революционного синдикализма. Так, например, теоретики кооперации уверяют, что их методам в деле освобождения пролетариата должно быть отведено важное место, демократы доказывают, что в первую очередь нужно уничтожить все предрассудки, порожденные влиянием католицизма, и т.д. Многие революционеры считают, что как бы ни был полезен синдикализм, сам по себе он не может организовать новое общество — для этого нужна особая философия, в новое право и т.п., а поскольку разделение труда — один из основополагающих законов в мире, то социалистам нечего стыдиться обращаться за помощью к многочисленным специалистам по философии и праву. Жорес не перестает повторять этот вздор. Такое *расширение* области социализма противоречит как теории Маркса, так и понятию всеобщей стачки, но очевидно, что всеобщая стачка дает мысли более ясное направление, чем любые формулы.

2) Я уже обращал внимание читателей на ту опасность, которая грозит в будущем цивилизации от революций, происходящих во время экономического упадка. Но не все марксисты отдают себе ясный отчет в том, что думал об этом Маркс. Он полагал, что великой социальной катастрофе будет предшествовать грандиозный экономический кризис — но не нужно смешивать такого рода кризис с упадком. Кризисы представляются ему результатом безответственного хозяйствования, создавшего производительные силы, с которыми не удается совладать при помощи естественных регулирующих сил, доступных капитализму в данную эпоху. Такая безответственность предполагает, что будущее считается принадлежащим самым мощным предприятиям, а идея экономического прогресса в данную эпоху безусловно господствует. Чтобы средние классы, которые при капиталистическом режиме еще могут рассчитывать на сносные условия жизни, присоединились к пролетариату, нужно, чтобы производство в будущем могло казаться им таким же блистательным, каким некогда завоевание Америки казалось английским крестьянам, покинувшим старую Европу, чтобы ринуться в жизнь, полную приключений.

Всеобщая стачка приводит к такому же рассуждению. Рабочие привыкли, что их восстания против капитализма бывают удачными лишь в периоды экономического расцвета, поэтому можно сказать, что самое отождествление революции и всеобщей стачки устраняет всякую мысль о возможности коренного

преобразования мира в период экономического упадка. Рабочие также прекрасно понимают, что крестьяне и ремесленники присоединятся к ним лишь в том случае, если поверят, что промышленность будущего сможет улучшить существование не только производителей, но и всех остальных[127].

Очень важно постоянно подчеркивать состояние процветания, в котором должна находиться промышленность, чтобы осуществился социализм, потому что, как мы видим на опыте, пророки социального мира стараются снискать расположение народа, борясь против развития капитализма и всячески стараясь сберечь средства к существованию бедных классов ввиду грозящего им экономического упадка. Необходимо изо дня в день отчетливо указывать на связь социальной революции с постоянным и стремительным развитием промышленности[128].

3) Марксизм отвергает все утопические предположения о будущем, и важность этого трудно переоценить. Профессор Брентано из Мюнхена рассказывает, что в 1869 году Маркс писал другу Бизли, автору статьи о будущем рабочего класса, что до сих пор он считал его единственным английским революционером, а теперь видит в нем реакционера, поскольку, говорит Маркс, «кто составляет программу будущего, тот реакционер»[129]. Маркс был убежден, что пролетариату нужно не исполнять уроки ученых изобретателей социальных фантазий, а просто следовать за самим капитализмом. Не нужно никаких программ будущего — все программы воплощаются на производстве. Идее технологической непрерывности подчинена вся марксистская мысль.

Практика стачек приводит нас к тому же взгляду, который выразил Маркс. Бастующие рабочие не представляют хозяевам проекты лучшей организации труда и не предлагают содействие в управлении производством — словом, в экономических

---

127 Нетрудно понять, что пропагандисты вынуждены часто возвращаться к этому аспекту социальной революции: она произойдет, когда промежуточные классы еще будут существовать, но когда им уже опротивеет фарс социального мира и при этом обнаружатся условия для столь крупного экономического прогресса, что будущее представится благоприятным для всех.

128 Эта мысль была особенно дорога Энгельсу; также к ней часто возвращался Каутский.

129 Бернштейн по этому поводу замечает, что Брентано мог немного преувеличить, хотя «процитированные им слова не слишком далеки от мысли Маркса» (Le Mouvement socialiste, 1er septembre 1899, p. 270). Из чего могут складываться утопии? Из прошлого, и зачастую из весьма отдаленного — вероятно, поэтому Маркс и называет Бизли *реакционером*, тогда как все остальные поражались революционной смелости последнего. Средневековьем очаровывались не только католики, и Ив Гюйо насмехается над «коллективистским трубадурством» Лафарга. (*Lafargue et Y. Guyot*, La Propriété, p. 121–122).

конфликтах нет места утопии. Жорес и его единомышленники прекрасно чувствуют, что в этом кроется страшное предубеждение против их взглядов на достижение социализма. Им хотелось бы, чтобы уже теперь в практику стачек вводились фрагменты промышленных программ, которые сочинялись бы учеными социологами и принимались рабочими; их мечта — так называемый промышленный парламентаризм, который, подобно парламентаризму политическому, должен заключаться в подчинении масс руководителям-фразерам. Уже теперь они хотели бы развернуть обучение масс своему лживому социализму.

Приход идеи всеобщей стачки знаменует собой крушение этих мечтаний. Революция предстает попросту как восстание, где не остается места ни социологам, ни великосветским любителям социальных реформ, ни интеллектуалам, избравшим в качестве профессии *думать за пролетариат*.

С. — Социализм всегда пугал той огромной неизвестностью, которую он в себе заключает: чувствуется, что после таких преобразований вернуться к старому будет невозможно. Утописты употребили весь литературный дар на то, чтобы усыпить души чарующими картинами и прогнать страх. Но чем больше прекрасных обещаний они расточали, тем сильнее серьезные люди подозревали обман — и не напрасно, ведь если бы утопистов послушали, они привели бы мир к бедствиям, тирании и глупости.

Маркс был убежден и часто повторял, что социальная революция, о которой он говорил, произведет *неотменимые преобразования* и установит нерушимую границу между двумя историческими эпохами. Энгельс, в свою очередь, старался показать при помощи порой грандиозных образов, что экономическое освобождение станет началом новой эпохи, не имеющей ничего общего с прежними временами. Отбросив все утопии, оба они отказались от тех средств, какими пользовались их предшественники, чтобы рассеять страх общества перед грядущей великой революцией, — но как ни сильны их выражения, они все же производят гораздо более слабое впечатление, чем самая идея всеобщей стачки. Она помогает ясно увидеть, что старая цивилизация будет до основания сметена неудержимым потоком.

Хотя в этом представлении есть что-то действительно устрашающее, я все же думаю, что необходимо подчеркивать этот характер социализма, если мы хотим сохранить его воспитательное значение. Нужно, чтобы социалисты поняли, насколько *серьезно, опасно и возвышенно* то дело, которому они себя посвятили, — только тогда они смогут

пойти на все жертвы и подвиги, которых от них требует пропаганда, не дающая им ни почестей, ни выгоды, ни даже непосредственного интеллектуального удовлетворения. Даже если бы единственным успехом всеобщей стачки было усиление героизма в социалистическом мировоззрении, одно это уже придало бы ей неоценимое значение.

Сделанное мной сравнение марксизма и всеобщей стачки можно было бы и далее развить и углубить, и до сих пор этого не делали разве что потому, что мы склонны обращать больше внимания на форму, чем на сущность вещей. Похоже, многим было нелегко заметить сходство между философией, вышедшей из гегельянства, и мировоззрением рабочих, которые не могут похвастаться высокой культурой. Маркс привык в Германии к сжатым формулировкам, а они так хорошо подходили к среде, где он работал, что он не мог постоянно ими не пользоваться. Он не имел перед глазами многочисленных и крупных примеров, которые позволили бы ему в подробностях ознакомиться с доступными пролетариату средствами для подготовки к революции. Отсутствие такого практического знания сильно вредило Марксу, и он избегал слишком конкретных формулировок, которые могли бы освятить существующие институты, о которых он был невысокого мнения, и с радостью заимствовал из немецкой философии привычку к абстрактному языку[130], позволяющему избегать обсуждения деталей.

Может быть, лучшим доказательством гениальности Маркса служит замечательное соответствие между его взглядами и той доктриной, которую сегодня медленно и с трудом строит революционный синдикализм, неизменно придерживаясь практики стачек.

III

Идея всеобщей стачки еще долго будет чужда тем кругам, в которых не распространена стачечная практика. Мне кажется весьма полезным разобраться здесь в причинах отвращения к этой идее среди людей разумных и добросовестных, которых смущает новизна точки зрения

130 В другом месте я высказал предположение, что в предпоследней главе первого тома «Капитала» Маркс, возможно, стремился провести различие между развитием пролетариата и развитием буржуазной силы. Он утверждает, что рабочий класс дисциплинирован, объединен и организован самим механизмом капиталистического производства. Может быть, это указание на путь к свободе, отличный от пути к автоматизму, который будет отмечен ниже в связи с буржуазными силами (Saggi di critica, p. 46–47).

синдикалистов. Все последователи «новой школы» знают, какие серьезные усилия понадобились им, чтобы победить воспитанные в них предрассудки, отбросить автоматически приходившие на ум ассоциации идей и научиться рассуждать совсем не так, как их учили.

В течение XIX века господствовала невероятная научная наивность, следствие тех иллюзий, которыми бредили в конце XVIII века[131]. Поскольку астрономии удалось вычислить фазы Луны, распространилось мнение, что венцом всякой науки должно быть точное предвидение будущего; раз Леверье смог указать вероятное положение планеты Нептун (которую до того никогда не видели и которая объясняла пертурбации наблюдаемых планет), стали думать, что наука может исправить и общество, указав подходящие меры для устранения всего, что есть в мире неприятного. В этом, можно сказать, состояло *буржуазное представление о науке*: оно вполне соответствует мышлению капиталистов, которые, ничего не смысля в высокоразвитом цеховом оборудовании, все же управляют промышленностью и всегда находят хитроумных изобретателей, которые выручают их из затруднений. Наука в глазах буржуазии представляет собой мельницу, вырабатывающую решения всех возникающих проблем[132]; наука для нее — не совершенный способ познания, а лишь средство обеспечения себе известных выгод[133].

Как я уже сказал, Маркс отвергал всякие попытки определить условия жизни будущего общества. Этот факт чрезвычайно важен — он показывает, что Маркс находился за рамками буржуазной науки. Теория всеобщей стачки также отрицает эту науку, и ученые не упускают случая обвинить новую школу в том, что все ее идеи негативны, тогда как сами они ставят себе благородную задачу построить всеобщее счастье. На мой взгляд, вожди социал-демократии в этом отношении не всегда были последовательными марксистами — так, Каутский несколько

---

131 Для философов, стремящихся понять социализм, история научных суеверий представляет первостепенный интерес. Эти суеверия остались так же дороги нашей демократии, как они были дороги и мыслителям Старого режима; я указал на несколько аспектов этой истории в книге «Иллюзии прогресса» (Les Illusions du progrès). Под воздействие этих заблуждений часто попадал Энгельс, да и Маркс не всегда был в полной мере от них свободен.

132 Маркс цитирует следующую любопытную фразу Юра, написанную около 1830 г.: «Капитал при помощи науки, взятой им на содержание, «постоянно принуждает мятежные руки труда к покорности» (*Маркс К.* Капитал. С. 447).

133 Если пользоваться языком новой школы, наука всегда рассматривалась с точки зрения потребителя, а не производителя.

лет назад написал предисловие к одной изрядно смешной утопии[134].

Думаю, что одним из мотивов, которые заставили Бернштейна расстаться с прежними друзьями, нужно считать его отвращение к их утопиям. Если бы Бернштейн родился во Франции и узнал наш революционный синдикализм, он быстро заметил бы, что это направление стоит на подлинно марксистском пути. Но ни в Англии, ни в Германии он не нашел рабочего движения, за которым мог бы следовать. Стремясь, как и Маркс, оставаться реалистом, Бернштейн предпочел заниматься социальной политикой и решать практические задачи, а не дремать под звуки красивых фраз о будущем счастье человечества.

Поклонников пустой и ложной науки, о которой мы говорим, нисколько не беспокоят упреки в бессилии их дефиниций. Поскольку их представления о науке сложились под влиянием астрономии, они полагают, что любой вопрос может быть сведен к математическому закону. Очевидно, что в социологии таких законов нет, но люди всегда восприимчивы к аналогиям, основанным на формах выражения; они думают, что дошли уже до высокой степени совершенства и в самом деле занимаются наукой, если излагают некую доктрину просто, ясно, пользуясь дедукцией и описывая принципы, против которых не возмутится здравый смысл и которые к тому же подтверждены кое-каким общеизвестным опытом. Эта мнимая наука есть болтовня и только[135].

Утописты в совершенстве овладели искусством высказываться сообразно этим предрассудкам; им казалось, что их открытия тем более убедительны, чем лучше их изложение согласуется с требованиями школьного учебника. Я полагаю, что верно обратное: когда имеешь перед собой проект социальной реформы, чем более удовлетворительно в нем, на первый взгляд, разрешаются все трудности, тем более недоверчиво к нему должно относиться.

---

134 Atlanticus. Ein Blick in den Zukunftsstaat. Э. Сейер написал рецензию на эту книгу в Les Débats от 16 августа 1899 г.

135 «Недостаточно еще обращали внимание на то, как мало значение дедукции в психологических науках и науках о духе. Очень скоро приходится обращаться к здравому смыслу, то есть непрерывному опыту реальности, чтобы согнуть выведенные следствия и направить их вдоль изгибов жизни. *Дедукция применима в духовных вопросах лишь, скажем так, в метафорическом смысле*» (*Бергсон А.* Творческая эволюция. М.: Кучково поле, 2006. С. 215). Подобную мысль, выраженную еще более отчетливо, высказал Ньюмен: «Логик превращает прекрасные, извилистые и быстрые реки в судоходные каналы... Он стремится не подтвердить факты на конкретных примерах, но отыскать средние члены, и если между средними и крайними членами не *слишком много двусмысленностей*, а его ученики *могут блестяще поддерживать дискуссию*, то больше он ничего не требует» (Grammaire de l'assentiment, p. 216–217). Болтовня изобличается здесь безоговорочно.

Здесь мне хотелось бы очень бегло рассмотреть некоторые из тех иллюзий, которые породила эта, как я бы ее назвал, «мелкая наука», в которой считается, что истины можно достичь путем одной лишь ясности изложения. Эта «мелкая наука» во многом способствовала кризису марксизма, и сегодня «новую школу» постоянно упрекают в тех же неясностях, за которые осуждали еще Маркса, и ставят ей в пример французских социалистов и бельгийских социологов.

Чтобы дать действительно точное представление о заблуждениях мнимых ученых, с которыми борется «новая школа», лучше всего взглянуть на совокупности иллюзий и сделать беглый обзор произведений духа, начиная с наиважнейших.

А. — 1) Позитивисты, которых отличает выдающаяся посредственность, самонадеянность и педантизм, объявили, что перед лицом их науки философия должна исчезнуть. Но философия не только не умерла, а, напротив, пробудилась и громко заявила о себе благодаря Бергсону, который отнюдь не желал сводить все к науке и отстаивал за философом право действовать совершенно иначе, чем действует ученый. Можно сказать, что метафизика вернула себе утраченные позиции, вскрывая иллюзорность мнимых научных решений и возвращая умы к той таинственной сфере, которую так ненавидит «мелкая наука». Позитивизмом сегодня восторгаются разве что некоторые бельгийцы, чиновники Министерства труда и генерал Андре[136], то есть люди, не имеющие никакого веса в мире мысли.

2) Нет никаких оснований считать, что скоро исчезнут религии. Либеральный протестантизм, правда, умирает, так как он пытался во что бы то ни стало свести христианскую теологию к чисто рационалистическим положениям. О. Конт изобразил карикатуру на католицизм, взяв от этой церкви лишь административную, полицейскую и иерархическую оболочку. Его попытка имела успех только у любителей посмеяться над обманутыми простаками. Католицизм в течение XIX века, напротив, чрезвычайно упрочил свои позиции, так как ни от чего не отказался, — он даже окружил себя еще большей таинственностью и, как ни странно, все больше распространяется в образованных

136 Этот знаменитый воин участвовал несколько лет назад в изгнании из Коллеж де Франс Поля Таннери, чья эрудиция признана повсюду в Европе, чтобы заменить его на какого-то позитивиста. Позитивисты образуют светскую конгрегацию, готовую на любые гнусности.

кругах, которым теперь смешон рационализм, бывший когда-то в моде у профессуры[137].

3) Сегодня мы считаем крайним педантизмом былое притязание наших отцов создать науку об искусстве и давать произведениям искусства настолько полные описания, чтобы читатель мог вынести из книги точную эстетическую оценку картины или статуи. Тэн предпринял для достижения первой цели очень интересные попытки, но только с точки зрения истории школ. Его метод не дает нам никаких полезных сведений о самих произведениях. Что же касается описаний, то они имеют некоторое значение только в том случае, если сами произведения не отличаются большой эстетической ценностью, а принадлежат к жанру так называемой литературной живописи. Самая плохая фотография даст нам лучшее представление о Парфеноне, чем целый том, посвященный прославлению этого чудесного сооружения. Мне кажется, что знаменитая «Молитва на Акрополе», которую так часто называют одним из лучших мест у Ренана, есть примечательный образчик риторики и что она скорее может сделать греческое искусство для нас совершенно непонятным, чем заставить восхищаться Парфеноном. Несмотря на все преклонение перед Дидро (иногда выражаемое в комичных и туманных фразах), Жозеф Рейнак вынужден признать, что в знаменитых «Салонах» его кумиру недостает художественного чутья, потому что больше всего Дидро любил такие картины, которые могли служить темой литературных рассуждений[138]. Как сказал Брюнетьер, «Салоны» Дидро — это развращение критики, потому что произведения искусства в них рассматриваются так, словно это книги[139].

Простое логическое рассуждение здесь бессильно потому, что сущностью искусства является загадка, нюансы, неопределенность; чем правильнее выстроено рассуждение, тем более способно оно уничтожить все достоинства шедевра, низводя его до уровня заурядного академического продукта.

Это первичное рассмотрение трех наиболее выдающихся произведений человеческого духа наводит нас на мысль, что во всяком сложном целом надо отличать ясную область от области темной и что эта последняя, может быть, и есть самая важная. Люди посредственные

---

137 Паскаль горячо возражал против мнения, что невежество многих католиков дискредитирует весь католицизм, и Брюнетьер не без оснований считает его главным антикартезианцем своей эпохи (*Brunetière*, Études critiques, 4e série, p. 144–149).

138 *J. Reinach*, Diderot, p. 116–117, 125–127, 131–132.

139 *Brunetière*, Évolution des genres, p. 122. Ниже он называет Дидро *филистером*, p. 153.

заблуждаются, полагая, что с распространением просвещения она должна исчезнуть и что все в конце концов опустится на уровень «мелкой науки». Это заблуждение особенно оскорбляет искусство и, в частности, современную живопись, которая все более выражает сочетания таких оттенков, на какие раньше не стали бы обращать внимания ввиду их изменчивости, а значит, и трудности их словесного выражения[140].

В. — 1) В морали область, которую легко можно изложить в ясных дедуктивных рассуждениях, относится к справедливым отношениям между людьми. Она заключает в себе максимы, которые можно встретить в различных цивилизациях, поэтому долгое время думали даже, что, обобщив эти заповеди, можно выделить основы естественной морали, присущей всему человечеству. Неясная сторона морали — та, что относится к половым отношениям: она не определяется формулами, и чтобы проникнуть в нее, нужно много лет прожить в стране, где она принята. Она же является и основополагающей: постичь ее значит понять всю психологию народа, и тогда становится ясно, что мнимое однообразие первой системы скрывает в себе массу различий, а одинаковые на первый взгляд максимы могут сильно отличаться по применению. Ясность оказывается ловушкой.

2) В законодательстве любой сразу же видит, что свод долговых обязательств составляет ясную часть, которую можно назвать научной. Здесь также нетрудно заметить большое единообразие в правилах, принятых разными народами, и многие находят небезынтересным составить общий свод таких законов, основанный на разумном обзоре всех существующих. Но практика показывает, что суды разных стран по-разному понимают одни и те же принципы, что указывает на существование неких основополагающих различий. Темной областью является в данном случае институт семьи, устройство которого влияет на все общественные отношения. Ле Пле был чрезвычайно поражен одним замечанием Токвиля по этому поводу: «Меня удивляет тот факт, — говорит этот великий мыслитель, — что юристы, как современные, так и прошлых времен, не признавали того огромного влияния, которое

---

140 Великая заслуга *импрессионистов* в том, что они сумели выразить эти нюансы посредством живописи; однако некоторые из них вскоре вернулись к академическим приемам, и тогда возникло постыдное несоответствие их произведений тем целям, которые они якобы все еще ставили.

оказывали законы о наследовании на развитие человеческих отношений. Верно, что эти законы относятся к гражданскому законодательству, но на самом-то деле их следовало бы поставить во главу угла всех политических установлений, ибо они самым непредвиденным образом воздействуют на общественный строй, при котором живут те или иные народы»[141]. Это замечание определяет собой все исследования Ле Пле.

Выделение в законодательстве ясной и темной областей приводит к любопытному следствию. Люди, чуждые юриспруденции, крайне редко берут на себя смелость рассуждать о долговых обязательствах: они понимают, что для этого нужно знакомство с известными юридическими правилами, а всякий рассуждающий об этом профан делает себя мишенью для насмешек. Но как только речь зайдет о разводе, родительских правах или о праве наследования, всякий литератор воображает себя юрисконсультом, потому что в этой темной области нет устоявшихся принципов и неопровержимых выводов.

3) В экономической науке такое разделение еще более очевидно: вопросы товарного обмена легко поддаются изложению, методы обмена в разных странах очень похожи друг на друга, и никто не осмеливается высказывать парадоксальных взглядов на денежное обращение. Зато все, что касается производства, представляет порой неразрешимые сложности, в этой области дольше всего сохраняются местные традиции, и можно без конца сочинять самые смешные утопии о способах производства, не задевая здравый смысл читателей. Никто не сомневается, что производство есть основа экономики; эта истина играет важную роль в марксизме и признана даже теми авторами, которые не сумели понять его значения[142].

С. — Рассмотрим теперь, как действуют парламенты. Долгое время считалось, что их главная обязанность состоит в том, чтобы рассуждать о самых важных вопросах устройства общества и в особенности о формах конституций — в этой сфере можно действовать, перечисляя принципы, выводя из них следствия и формулируя в точных выражениях ясные заключения. Наши отцы достигли совершенства в такой схоластике, составляющей наиболее

141 *Токвиль А.* Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 57. *Le Play*, Réforme sociale en France, chap. 17 (IV).

142 Во «Введении в современную экономику» я показал, как можно воспользоваться этим различием для прояснения многих вопросов, которые до сих пор были крайне запутанными, и, в частности, точно оценить некоторые весьма важные идеи Прудона.

яркую сторону политических дебатов. С тех пор как о конституциях больше не спорят, повод для состязаний в ораторском искусстве еще могут давать некоторые важные законы. Так, при обсуждении отделения церкви от государства специалистов по основополагающим принципам не только слушали — им даже аплодировали. Согласно общему мнению, дебаты в парламенте редко поднимались на такую высоту, а все потому, что самый вопрос представлял удобную почву для схоластики. Чаще, однако, в парламенте занимаются обсуждением финансовых или социальных мер, и сейчас же обнаруживается во всей красе глупость наших народных представителей: министры, председатели и докладчики комиссий, всевозможные эксперты состязаются в тупоумии — ведь здесь они касаются экономических вопросов, в которых нет простых средств для направления рассуждений. Чтобы высказать серьезное мнение в этих вопросах, нужно обладать по ним практическими знаниями, которых наши депутаты не имеют. Среди них много представителей «мелкой науки». 5 июля 1905 года один знаменитый исцелитель венерических больных[143] заявил, что не занимается политической экономией, так как «не вполне доверяет науке, основанной на догадках». Отсюда следует, видимо, что рассуждать о способах производства труднее, чем определять сифилитические шанкры.

«Мелкая наука» породила невероятное количество софизмов; они поминутно попадаются у нее на пути и имеют большой успех у воспитанников культуры посредственности и невежества, которую насаждают университеты. Суть этих софизмов заключается в том, чтобы из любви к логике уравнивать все элементы каждой системы. Таким образом, половая мораль сводится к равным взаимоотношениям двух контрагентов, семейный кодекс приравнивается к долговому, а производство — к товарообмену.

Из того, что правительства почти всех стран и времен заботились об установлении правил денежного и фидуциарного[144] оборота или о законодательном закреплении системы мер, вовсе не следует, что во имя единообразия

---

143 Д-р Оганьер [Жан-Виктор Оганьер (Jean-Victor Augagneur, 1855–1931) — врач и политический деятель, член Республиканско-социалистической партии. — *Прим. ред.*] долго был гордостью той категории интеллектуалов, которая считает социализм разновидностью *дрейфусизма*. Его пышные выступления в защиту Справедливости привели его на пост губернатора Мадагаскара — доказательство того, что порою добродетель вознаграждается.

144 Фидуциарный — от «фидуция» (сделка, основанная на доверии). — *Прим. ред.*

им стоит доверять управление большими предприятиями, а между тем эта мысль кажется заманчивой многим шарлатанам и питомцам Юридической академии. Полагаю, Жорес до сих пор не может понять, почему ленивые законодатели предоставили экономику анархическим устремлениям эгоистов. Если производство в самом деле является основой общества, как говорит Маркс, то преступно не ставить его на первое место, не подвергать его законодательной нормировке по плану, основанному на наиболее ясных его частях, то есть не выводить его из универсальных принципов, подобных тем, какими пользуются при разработке конституционных законов.

Социализм неизбежно остается весьма смутным вопросом, потому что он говорит о производстве, то есть о самой загадочной области человеческой деятельности, и предполагает коренные преобразования в области, не поддающейся такому ясному описанию, как другие, более поверхностные сферы. Никакое усилие мысли, никакой прогресс знаний, никакая логическая индукция не рассеют той таинственности, которая окружает социализм. Марксизм признает такую его особенность и именно благодаря этому приобрел право служить исходной точкой для всех социалистических исследований.

Поспешим, впрочем, прибавить, что эта неясность относится к рассуждениям, призванным определить *методы* социализма. Можно сказать, что это *схоластическая* неясность, которая, однако, нисколько не затрудняет формирование самого полного и отчетливого понимания пролетарского движения через мощное построение, выработанное пролетариатом в ходе социальных конфликтов и известное под названием всеобщей стачки. Не нужно забывать, что все совершенство этого способа представления мгновенно исчезает, если попытаться разложить всеобщую стачку на ряд отдельных исторических деталей — *нужно принять ее как неделимое целое и рассматривать переход от капитализма к социализму как катастрофу, процесс которой не поддается описанию.*

Приверженцев «мелкой науки» воистину трудно удовлетворить. Они во всеуслышание заявляют, что допускают лишь ясные и точно сформулированные мысли — кстати, для действий такого правила недостаточно, так как мы не совершаем ничего значительного без красочных и отчетливых образов, завладевающих всем нашим вниманием, — между тем можно ли, с их точки зрения, найти что-либо более удовлетворительное, чем всеобщая стачка? Но, говорят они, опираться следует лишь на явления действительности,

данные в опыте, а что представляет собой картина всеобщей стачки? Составляется ли она исходя из направлений развития, выделенных иначе, чем из наблюдения революционного движения? Или же это плод рассуждений кабинетных ученых, стремящихся разрешить социальную проблему согласно правилам логики? Может быть, всеобщая стачка есть нечто произвольное? Или же это, напротив, стихийное явление, подобное всем тем, которые можно найти в истории периодов активных действий? Многие взывают к правам критического разума и настаивают на них, но никто не думает их оспаривать. Без сомнения, этой картиной нужно управлять, и именно это я пытался сделать выше, но критический разум — это не замена *исторических данных шарлатанством лженауки.*

Если мы хотим критиковать саму основу идеи всеобщей стачки, то нужно обрушиться на революционные устремления, которые она объединяет и представляет в действии, — нет другого серьезного средства, чтобы показать революционерам, что они неправы, когда изо всех сил стараются приблизить социализм, и что их подлинный интерес в том, чтобы стать политиками. Революционеры давно слышат такие слова, но их выбор сделан, и, поскольку они далеки от утилитаризма, любые подобные советы будут напрасными.

Мы прекрасно знаем, что будущие историки неизбежно обнаружат в нашей мысли множество иллюзий, потому что за собой они будут видеть совершенный мир. Нам же, напротив, предстоит действовать, и никто не сможет нам сегодня рассказать, что узнают эти историки, никто не сможет предоставить нам средство видоизменить движущие нами образы так, чтобы избежать их критики.

Наше положение немного напоминает положение физиков, которые занимаются грандиозными расчетами, исходя из теорий, которым не суждено просуществовать вечно. Сегодня мы оставили всякую надежду по-настоящему подчинить природу науке, зрелище научных революций современности не воодушевляет даже ученых и, естественно, приводит многих людей к мыслям о поражении науки — и тем не менее только безумец мог бы сегодня поставить во главе промышленности колдунов, медиумов или чудотворцев. Философ, *не ищущий себе практического применения*, может мысленно поставить себя на место будущего историка науки, и тогда он будет оспаривать безусловный характер современных научных

положений, однако он понимает ничуть не больше современного физика в том, как именно следует исправить объяснения, которые дает последний, — следует ли из этого, что философ должен стать скептиком?

Сегодня больше нет серьезных философов, которые принимают скептическую позицию. Их главная цель, наоборот, в том, чтобы показать легитимность науки, даже если она не всеведуща и ограничивается определением утилитарных отношений. Социология же попала в руки к людям, неспособным ни к какому философскому пониманию, — вот почему они могут обвинять нас (именем «мелкой науки») в том, что мы довольствуемся методами, основанными на законе действия, как нам его показывают все великие исторические движения.

Заниматься наукой означает, прежде всего, выяснять, какие силы существуют в мире, и учиться использовать их, рассуждая сообразно опыту. Вот почему я говорю, что, принимая идею всеобщей стачки, мы действуем точно так же, как современный физик, который вполне доверяет науке, точно зная, что вскоре ее признают устаревшей. Именно мы понимаем подлинную сущность науки, тогда как наши критики не знают ни современной науки, ни философии, — и сознания этого нам достаточно для успокоения духа.

ГЛАВА V

Всеобщая политическая стачка

I. — *Использование профсоюзов политиками. — Давление на парламенты. — Всеобщие стачки в Бельгии и России.*

II. — *Различие между двумя течениями мысли в соответствии с двумя концепциями всеобщей стачки: классовая борьба; государство; мыслящая элита.*

III. — *Зависть политиков. — Война как источник героизма и как разграбление. — Диктатура пролетариата и ее исторические предшественники.*

IV. — *Сила и насилие. — Понимание силы у Маркса. — Необходимость новой теории пролетарского насилия.*

I

Политики — дальновидные люди, чьи неутолимые аппетиты значительно усиливают проницательность, а вечная погоня за теплыми местами делает их коварнее апачей. Чисто пролетарских организаций они боятся как огня и всеми силами стараются их дискредитировать, нередко отрицая даже их практическую пользу в надежде отвратить рабочих от группировок, у которых якобы нет будущего. Но когда они замечают, что их ненависть бессильна, а их нападки не мешают работе ненавистных им объединений и те, даже наоборот, становятся все сильнее, — тогда они спешат воспользоваться мощью пролетариата в своих интересах.

Так, политики долгое время обличали кооперативы, утверждая, что они не несут рабочим никакой пользы. Но с тех пор как кооперативы стали процветать, многие политики присматриваются к их кассам, мечтая, чтобы их партия существовала на доходы с бакалейных и булочных подобно тому, как во многих странах иудейские консистории живут на отчисления с еврейской мясной торговли[145].

Профсоюзы можно успешно использовать для предвыборной агитации. Для плодотворного их употребления нужна известная ловкость, но политикам ее не занимать. Герар, секретарь профсоюза железнодорожников, был раньше одним из самых непримиримых революционеров во Франции, но скоро понял, что политикой заниматься

145 В Алжире скандалы в администрации консисторий, превратившихся в конторы подкупа избирателей, вынудили правительство реформировать их, но новый закон об отделении церкви от государства, вероятно, позволит вернуться к прежним обычаям.

легче, чем готовить всеобщую стачку[146]. Теперь он стал одним из доверенных лиц в Министерстве труда, а в 1902 году много способствовал избранию Мильерана. В округе, от которого выдвигался *министр-социалист*, расположен большой вокзал, и если бы не Герар, Мильеран, вероятно, провалился бы. В номере Le Socialiste от 14 сентября 1902 года один из гедистов изобличил такое поведение как вдвойне постыдное — во-первых, потому что съезд железнодорожников постановил, что профсоюз не должен вмешиваться в политику, а во-вторых, потому что против Мильерана выдвигался старый депутат-гедист. Автор статьи высказывал опасения, что «корпоративные группы могут сбиться с пути и под видом использования политики сами сделаются *орудиями* политических игр». Замечание совершенно справедливое. Из сделок между профсоюзными деятелями и политиками последние всегда будут извлекать больше выгоды.

Политики не раз вмешивались в стачки в надежде подорвать престиж противников и завоевать доверие рабочих. Так, стачки 1905 года в бассейне Лонгви начались с попытки одной «республиканской федерации» объединить профсоюзы, способные служить ее политической борьбе против хозяев[147]. Эта попытка обернулась неудачей для инициаторов движения, которые были слишком неопытны в такого рода работе. Некоторые политики-социалисты, напротив, умеют проявлять безупречную ловкость, превращая бунтарские инстинкты масс в силу избирательной кампании. При таких условиях некоторым должна была, естественно, прийти в голову мысль воспользоваться в политических целях и широкими народными движениями.

История Англии неоднократно показывала, что правительство отступает перед многочисленными манифестациями против его законопроектов даже в тех случаях, когда оно легко могло бы силой подавить всякое покушение на его институты. Парламентский режим исходит, по-видимому, из убеждения, что если законодательные планы вызывают слишком сильные проявления общественного недовольства, то большинство

---

146 Попытка стачки железнодорожников была проведена в 1898 г. Жозеф Рейнак пишет о ней так: «Герар, персонаж крайне сомнительный, основавший ассоциацию железнодорожных рабочих и служащих и собравший в ней более 20 000 членов, вмешался [в конфликт парижских землекопов] с объявлением всеобщей стачки своего профсоюза [...] Бриссон отдал приказы о проведении дознаний, о занятии вокзалов войсковыми частями, выстроил кордоны часовых вдоль железных дорог, и никто не шевельнулся» (*Histoire de l'affaire Dreyfus*, tome IV, p. 310–311). Сегодня профсоюз Герара настолько лоялен, что правительство предоставило ему честь провести большую лотерею. 14 марта 1907 г. Клемансо упомянул его в палате представителей как собрание «людей разумных и осторожных», противопоставив его Конфедерации труда.

147 Le Mouvement socialiste, 1er, 15 décembre 1905, p. 130.

не сумеет упорствовать в исполнении таких мер. Это один из случаев применения системы компромиссов, на которой зиждется такой режим. Ни один закон не имеет силы, если некое меньшинство будет угнетено им настолько, что будет вынуждено оказывать ему насильственное сопротивление. Массовые и бурные демонстрации показывают, что недалек час, когда может вспыхнуть вооруженное восстание, и при виде таких выступлений, если только правительство блюдет добрые традиции, оно обязано отступить[148].

Различные формы всеобщей политической стачки можно считать переходной ступенью между демонстрацией силы на шествии и открытым восстанием. Стачка может быть мирной и кратковременной и проводиться с целью показать правительству, что оно вступило на ложный путь и в обществе есть силы, способные ему противодействовать. Но она может быть и первым актом целого ряда кровавых восстаний.

В последние годы парламентские социалисты меньше верят в возможность быстрого завоевания государственной власти и сами сознают, что им не суждено непрерывно наращивать авторитет в обеих палатах. В отсутствие исключительных обстоятельств, вынуждающих правительство заручаться их поддержкой в обмен на серьезные уступки, значение их в парламенте сильно ограничено. Поэтому им была бы очень выгодна возможность оказывать давление извне на строптивое большинство, что в глазах консерваторов выглядело бы угрозой опасного народного движения.

Если бы существовали богатые и централизованные рабочие федерации, способные подчинить своих членов строгой дисциплине, депутаты-социалисты не стеснялись бы время от времени навязывать коллегам управление ими. Они могли бы пользоваться удобными для мятежного движения случаями, чтобы остановить на несколько дней какую-нибудь отрасль промышленности. Уже много раз звучали предложения загонять правительство в угол, приостанавливая работу угольных шахт[149] или железнодорожное движение. Чтобы такая тактика могла дать желаемые результаты, надо, чтобы стачка могла вспыхнуть неожиданно по призыву партии и прекратиться сразу же, как только партия подпишет

---

148 Клерикалы думали, что могут применить эту тактику, чтобы остановить исполнение закона против конгрегаций. Они надеялись, что бурные манифестации заставят министра уступить, однако он выстоял, и это, пожалуй, стало ударом по одной из главных опор парламентского режима, так как диктатура парламента встречает теперь меньше препятствий, чем прежде.

149 В 1890 г. национальный съезд гедистской партии принял в Лилле резолюцию, гласившую, что всеобщая стачка шахтеров теперь возможна и что одна лишь она позволит добиться результатов, которых напрасно ждут от стачки всех профессий.

соглашение с правительством. Вот почему политики так отстаивают централизацию профсоюзов и так много говорят о дисциплине[150]. Вполне понятно, что речь идет о дисциплине, подчиняющей пролетариат его руководству. А децентрализованные ассоциации рабочих, объединенные в биржи труда, не могут дать политикам таких гарантий, поэтому они любят называть «анархистами» всех, кто не поддерживает идею сплочения пролетариата вокруг партийных вождей.

Всеобщая политическая стачка имеет то громадное преимущество, что не ставит под угрозу драгоценные жизни политиков. Она представляет собой улучшенную разновидность того *морального восстания*, к которому прибегли монтаньяры в мае 1793 года, чтобы заставить Конвент исключить жирондистов. Жорес боится отпугнуть клиентов-финансистов так же, как монтаньяры боялись напугать департаменты, поэтому он так восхищается идеей движения, не пятнающего себя насилием, которое может «постичь человечество»[151], и поэтому он не высказывается резко против идеи всеобщей политической стачки.

Недавние события придали идее всеобщей политической стачки огромную силу. Бельгийцы добились изменения конституции благодаря демонстрации, которую, возможно, излишне честолюбиво окрестили всеобщей стачкой. Кажется, произошедшее тогда было не так трагично, как это иногда представляют. Министерство с радостью заставило парламент принять проект избирательного закона вопреки желанию ультраклерикального большинства, против которого были настроены многие предприниматели-либералы, — то, что случилось далее, было прямой противоположностью всеобщей пролетарской стачке, так как рабочие действовали в интересах государства и капиталистов. После этих уже отдаленных событий была сделана новая попытка воздействия на центральную власть с целью добиться более демократичного избирательного закона — на этот раз она окончилась полной неудачей, так как министерство было против пересмотра законодательства. Многих бельгийцев этот неуспех ошеломил — они не могли взять в толк, почему король не отправил министров в отставку в угоду социалистам, ведь

150 «Если в партии и есть место для индивидуальной инициативы, то произвольные фантазии индивида необходимо отбросить. Устав есть благо партии, и его следует неукоснительно придерживаться. Это конституция, которую мы сами для себя свободно выбрали, которая связывает нас друг с другом и позволяет нам всем вместе победить либо умереть», — сказал один доктор-социалист в Национальном совете (Le Socialiste, 7 octobre 1905). Если бы такие слова произнес иезуит, то слушатели осудили бы их как монашеский фанатизм.

151 *J. Jaurès*, La Convention, p. 1384 [vol. 5, p. 729].

когда-то из-за либеральных выступлений он вынудил министров-клерикалов уйти в отставку. Такой король решительно ничего не понимает в своих обязанностях — это, как тогда выражались, *картонный король*.

Опыт Бельгии для нас небезынтересен, так как помогает хорошо понять глубокую разницу между всеобщей пролетарской стачкой и стачкой, управляемой политиками. Бельгия принадлежит к числу стран с крайне слабым профсоюзным движением, где вся социалистическая организация основана на эксплуатации партийными комитетами кооперативных булочных, бакалейных и мелочных лавок. Рабочий, с давних лет привыкший к церковной дисциплине, здесь все еще человек «низшей расы», и он считает своим долгом повиноваться тем, кто продает ему со скидкой необходимые товары и морочит ему голову нудными речами, то религиозными, то социалистическими. В Бельгии не только бакалейные лавки становятся своего рода культом — здесь же возникла знаменитая теория общественного обслуживания, которую Гед раскритиковал в отдельной брошюре в 1883 году, а Девиль[152] тогда же назвал бельгийской подделкой коллективизма. Весь бельгийский социализм ведет к развитию государственной промышленности и образованию класса наемных служащих, удерживаемого железной рукой вожаков, которых примет демократия[153]. Вполне естественно, что в такой стране всеобщая стачка понимается преимущественно в политической форме. При таких условиях целью народного восстания может быть лишь переход власти от одной группы политиков к другой — народ остается верной скотиной, несущей свое ярмо[154].

Недавние волнения в России также популяризировали идею всеобщей стачки в среде профессиональных политиков. Многие были поражены результатами согласованной и массовой приостановки работы, но до сих пор точно неизвестно, как именно развивались события и к каким последствиям они привели. Люди, хорошо знающие страну, предполагают, что Витте был связан со многими революционерами и воспользовался возможностью напугать царя, чтобы удалить своих врагов и

---

152 Deville, Le Capital, p. 10.

153 Поль Леруа-Больё недавно предложил называть «четвертым сословием» правительственных служащих, а «пятым сословием» — служащих частной индустрии. Первые, как он утверждает, склонны создавать наследственные касты (Les Débats, 28 novembre 1905). Со временем нам придется все яснее различать две эти группы: первая представляет мощную поддержку политикам-социалистам, которые хотели бы как можно полнее управлять ею и подчинить ей промышленных производителей.

154 Это не мешает Вандервельде уподоблять грядущий мир прославленному у Рабле Телемскому аббатству, где каждый делал что ему угодно, и утверждать, что он уповает на «анархическую общину» (*Destrée et Vandervelde*, Le Socialisme en Belgique, p. 289). Ах, эта магия громких слов!

добиться создания институтов, которые, по его мнению, сделают невозможным возвращение к старому режиму. Поражает то обстоятельство, что в правительстве довольно долго царили растерянность и хаос, но как только Витте нашел личный интерес в том, чтобы действовать энергично, волнения оказались очень быстро подавлены. Как некоторые предсказывали заранее, этот момент наступил, когда финансисты захотели поднять упавший кредит России. Предшествующие возмущения едва ли обладали тем размахом, какой им приписывали. Le Petit Parisien — одна из французских газет, сдавших рекламные площади под прославление Витте, утверждает, что всеобщая стачка в октябре 1905 года прекратилась из-за нищеты рабочих и что ее нарочно *продлили еще на один день* в надежде, что к движению присоединятся поляки и добьются от правительства тех же уступок, какие были сделаны Финляндии. Позже газета хвалила поляков за то, что они благоразумно воздержались от подобных действий и не дали немцам предлога вмешаться в российские дела (Le Petit Parisien, 7 novembre 1905).

Как видно, не стоит слишком доверять известного рода сообщениям. Ш. Бонье был прав, выражая в Le Socialiste от 18 ноября 1905 года некоторые сомнения по поводу российских событий; он всегда был непримиримым противником всеобщей стачки и отмечал, что в том, что произошло в России, нет ничего общего с представлениями «правоверных французских синдикалистов». Там стачка была, по его словам, завершением крайне сложного процесса и лишь одним из множества средств борьбы, которое оказалось успешным лишь в силу исключительно благоприятных условий.

Вот одна характерная черта, по которой можно отличить два вида движений, именуемых одним и тем же словом. Мы рассмотрели всеобщую пролетарскую стачку, которая есть неделимое целое, — теперь нам предстоит рассмотреть всеобщую политическую стачку, совмещающую явления экономического сопротивления со многими другими элементами, не относящимися к экономике. В первом случае не следует рассматривать отдельные подробности — во втором все зависит от искусства соединения разнородных деталей. Теперь следует рассмотреть каждую часть в отдельности, оценить ее значение и суметь найти их общую связь. Вероятно, подобная работа должна казаться утопической или даже абсурдной людям, у которых всегда наготове много практических возражений против всеобщей пролетарской стачки, — но если пролетариат, предоставленный самому себе, ни на что не годен, то политики при этом годятся на все. Разве не заключается один из догматов

демократии в убеждении, будто гений демагогов — лучшее средство победить любое сопротивление?

Я не стану обсуждать шансы такой тактики на успех и предоставлю мелким биржевым маклерам, читающим L'Humanité, размышлять о том, как не дать всеобщей политической стачке скатиться в хаос. Я же просто хочу осветить глубокую разницу, существующую между двумя концепциями всеобщей стачки.

II

Как мы видели, синдикалистская всеобщая стачка — это построение, включающее в себя весь пролетарский социализм. И все его реальные элементы не просто присутствуют в ней, а сгруппированы точно таким же образом, как они группируются в самой социальной борьбе, и их проявления в точности соответствуют их сущности. Мы не можем противопоставить этому построению столь же ясный образный ряд, чтобы изобразить социализм политиков. Впрочем, если считать ядром тактики революционно настроенных парламентских социалистов всеобщую политическую стачку, нетрудно выявить разницу между ними и синдикалистами.

А. — С первого же взгляда заметно, что всеобщая политическая стачка не предполагает существования поля битвы, на котором пролетариат атакует буржуазию. Деление общества на два враждебных лагеря исчезает, так как восстание такого рода может произойти при любой социальной структуре. Многие исторические революции прошлого были плодами союза различных недовольных групп, и авторы-социалисты много раз показывали, что бедные классы тогда шли на убой, чтобы привести к власти тех, кто сумел ловко воспользоваться в своих интересах мимолетным возмущением народа против прежних властей.

Кажется, на такой исход надеялись в 1905 году и русские либералы. Большое количество крестьянских и рабочих восстаний было им на руку, говорят даже, они были очень довольны поражениями маньчжурской армии[155] — они надеялись, что испуганное правительство придет к ним за советом. А поскольку среди них много социологов, это бы-

155 Корреспондент Les Débats сообщал в номере от 25 ноября 1906 г., что депутаты Думы поздравили одного японского журналиста с победами его соотечественников (ср. Les Débats, 25 décembre 1907)..

ло бы торжеством «мелкой науки». Ну а народу, вероятно, пришлось бы снова потуже затянуть пояса.

Я думаю, что когда капиталисты-акционеры L'Humanité выражают восторг некоторыми стачками, то они руководствуются теми же соображениями. Они видят в пролетариате удобное средство расчищения почвы для их господства и верят, основываясь на историческом опыте, что восставших всегда сумеет образумить социалистическое правительство. Ведь до сих пор в законодательстве тщательно сохраняются статьи против анархистов, изданные в минуту безумного страха. Хотя их и клеймят *преступными законами*, они еще могут пригодиться для защиты капиталистов-социалистов[156].

В. — 1) Сегодня считается неверным, что любая организация пролетариата должна основываться на революционном синдикализме. Поскольку синдикалистская всеобщая стачка не есть еще вся революция, то наряду с профсоюзами должны существовать и другие организации, а поскольку стачка есть только один из многих элементов, который нужно умело сочетать с другими и вызывать к жизни в благоприятный момент, то профсоюзы должны действовать по указаниям политических комитетов или по крайней мере тщательно согласовывать с ними свои действия, потому что такие комитеты обладают подлинным знанием социалистического движения. Итальянец Ферри предложил забавный символ такого согласия, сказав, что социализм должен стоять на двух ногах. Эту фигуру он заимствовал у Лессинга, который и не догадывался, что она может стать социологическим принципом. Во втором явлении «Минны фон Барнхельм» трактирщик говорит Юсту, что нельзя ограничиваться одной рюмкой водки, как нельзя устоять на одной ноге, а потом прибавляет, что Бог троицу любит и что дом строится о четырех углах[157]. Не знаю, воспользовались ли социологи этими пьяными афоризмами, они, во всяком случае, стоят первого, которым злоупотребляет Ферри.

---

156 Можно также задаться вопросом, сильно ли былые враги военного правосудия стремятся к упразднению военных трибуналов? В течение долго времени националисты — с видимостью здравого обоснования — могли утверждать, что их сохраняют для того, чтобы не пришлось передавать дело Дрейфуса в суд присяжных в случае, если кассационный суд потребует третьего приговора, а военный трибунал составить легче, нежели коллегию присяжных.

157 Русские ссылки приводятся по переводу А. Ариан (*Лессинг Г.Э.* Избранное. М.: Художественная литература, 1980). — *Прим. ред.*

2) Если синдикалистская всеобщая стачка связана с эпохой значительного экономического прогресса, то всеобщая политическая стачка, напротив, предполагает эпоху упадка. Опыт показывает, что вырождающиеся классы легче увлекаются обманчивыми речами политиков, чем классы, переживающие подъем, так что политическая прозорливость людей тесно связана с условиями, определяющими их существование. Классы процветающие могут допускать особо крупные промахи, потому что они слишком уверены в своих силах и, опьяненные мечтами о славе, слишком смело глядят в будущее. Классы ослабленные то и дело отдаются во власть людей, обещающих им покровительство государства, не стараясь даже уяснить себе, как такое покровительство может согласовать противоположные интересы отдельных групп. Они охотно вступают в любой альянс, добивающийся милости от правительства, и с восторгом слушают самоуверенные речи шарлатанов. Социалисты должны соблюдать большую осторожность, чтобы не опуститься до уровня крикливого антисемитизма, по выражению Энгельса[158] (а его советам на эту тему следовали далеко не всегда).

Всеобщая политическая стачка предполагает, что самые разнообразные социальные группы одинаково верят в волшебную силу государства. Этой веры всегда хватает у ослабевающих групп, и она позволяет им принимать пустомель за всезнающих людей. На пользу ей идет и глупость филантропов, которая всегда происходит от вырождения богатых классов. Победа ее тем легче, что противостоящие ей капиталисты будут трусливы и подавленны.

3) Теперь уже нельзя игнорировать планы организации будущего общества — несмотря на то, что марксизм их высмеивал, а синдикалистская всеобщая стачка отвергала, сегодня они становятся ключевым элементом новой системы. Всеобщая политическая стачка может быть объявлена только тогда, когда появится уверенность, что мы располагаем полным кадровым составом для управления новым режимом. Именно это имел в виду Жорес в статьях 1901 года, когда сказал о синдикалистской стачке, что современное общество «отшатнется от такого неопределенного и бессодержательного предприятия, как от пропасти»[159].

---

158 *Энгельс Ф.* Крестьянский вопрос во Франции и Германии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 22. С. 521.

159 *J. Jaurès,* Études socialistes, p. 107.

У нас достаточно молодых адвокатишек без будущего, которые исписали ворохи тетрадей подробными планами новой социальной организации. И хотя у нас еще нет революционного молитвенника, который Люсьен Эрр обещал издать в 1900 году, уже вполне разработаны, по крайней мере, процедуры обеспечения бухгалтерии в коллективистском обществе, а Тарбурьеш даже провел исследование образцов бумажной писанины и выработал рекомендации для будущей бюрократии[160]. Жорес неустанно сетует на то, что капитализм утаивает множество истин, и не сомневается, что революция гораздо менее зависит от условий, названных Марксом, чем от разглагольствований непризнанных гениев.

С. — Я обратил внимание читателей на все страшное, что есть в революции, понятой с точки зрения Маркса и синдикалистов, и подчеркнул, что очень важно сохранить ее значение полного и неотменимого переворота, потому что именно оно придает социализму огромное воспитательное значение. Серьезность стоящей перед пролетариатом задачи едва ли будет по вкусу жуирующим сторонникам наших политиканов, а последние хотят успокоить буржуазию и обещают ей обуздать анархические инстинкты народа. Они объясняют, что никто и не думает уничтожать огромную государственную машину, что благоразумные социалисты хотят лишь двух вещей: овладеть этой машиной для того, чтобы отладить ее работу на пользу своих друзей, и сделать правительство более устойчивым, что будет выгодно для всех деловых людей. Токвиль отмечал, что с начала XIX века административные учреждения Франции очень мало изменились и революции не производили в этой области особенно серьезных переворотов[161]. Социалисты-финансисты не читали Токвиля, но инстинктивно понимают, что централизованное, авторитарное и демократическое государство может защитить их от пролетарской революции, предоставляя им вместе с тем бесконечные ресурсы. Преобразования, которые смогут провести их друзья, парламентские социалисты, всегда будут

160 Множество подобных, до безумия серьезных, вещей мы обнаруживаем в «Граде будущего» у Тарбурьеша. Некоторые люди, называющие себя хорошо осведомленными, уверяют, что у Артюра Фонтена, главы Управления труда, припасены поразительные решения социального вопроса и что он обнародует их, когда выйдет в отставку. Наши преемники будут благословлять его за то, что он уготовил им радости, которых мы так и не познаем.

161 Токвиль А. Старый порядок и революция, с. 297.

ограниченными, и государство всегда сможет исправить их промахи.

Синдикалистская всеобщая стачка отстраняет от социализма ищущих приключений финансистов, а политическая стачка им весьма на руку, так как она может произойти только при условиях, благоприятных для господства политиканов, а значит, и для операций их союзников-финансистов[162].

Маркс, как и синдикалисты, предполагает, что революция будет полной и необратимой, потому что она передаст производительные силы в руки *свободных людей*, то есть таких, которые смогут управлять работой предприятия, созданного в эпоху капитализма, без участия хозяев. Такой взгляд совершенно неприемлем ни для финансистов, ни для политиков, которых они поддерживают, ведь ни те, ни другие не годятся ни на что, кроме благородной профессии хозяев. Поэтому во всех исследованиях, посвященных «благоразумному социализму», всегда признается, что общество делится на две части: первая — элита, организованная в политическую партию, которая видит свою миссию в том, чтобы мыслить за всю остальную немыслящую массу, и считает себя достойной восхищения за то, что готова поделиться с этой массой своими познаниями[163]; вторая же — это совокупность производителей. У элиты политиков нет другой профессии, кроме использования своего разума, и она не видит никакого противоречия принципам имманентной Справедливости (которые сама же и устанавливает) в том, чтобы пролетариат кормил ее своими трудами и обеспечивал ей образ жизни, который нельзя назвать аскетическим.

Это разделение так очевидно, что его и не стараются скрывать: официальные социалисты постоянно говорят о партии как об особом организме, живущем собственной жизнью. На международном социалистическом конгрессе 1900 года партию предупреждали об опасности, которую несет политика чрезмерного отчуждения от пролетариата: партия должна внушать массам доверие, если хочет опереться на них в день

---

162 В L'Avant-Garde от 29 октября 1905 г. читаем сообщение Люсьена Ролана в Национальном совете Объединенной социалистической партии об избрании Луи Дрейфуса, спекулянта зерном и акционера L'Humanité, во Флораке. «Я испытал сильнейшую боль, — говорит Ролан, — узнав, что один из *королей эпохи* попытался присвоить наш Интернационал, наше красное знамя, наши принципы, восклицая: „Да здравствует социалистическая республика!"». Те, кто узнает об этих выборах лишь из *официального доклада*, опубликованного в Le Socialiste от 28 октября 1905 г., получат о них совершенно неверное представление. Пожалуй, официальные социалисты в данном случае исказили истину даже сильнее, чем сторонники Генерального штаба в деле Дрейфуса..

163 *Интеллектуалы* — это не просто мыслящие люди, как часто говорят, это люди, *сделавшие мысль своей профессией* и получающие *аристократическое жалованье* за благородство этой профессии.

решительной битвы[164]. Главный упрек Маркса в адрес его противников из Альянса был вызван именно этим разделением на правителей и управляемых, которое привело бы в конце концов к возрождению государства[165] и которое теперь так явно обнаруживается в Германии и других странах.

III

А. — Теперь мы пойдем дальше в анализе идей, связанных с всеобщей политической стачкой, и прежде всего посмотрим, что происходит здесь с понятием класса.

1) Классы уже не определяются по месту их представителей в капиталистическом производстве — происходит возврат к прежнему делению на богатые и бедные группы. Так представляли себе классы еще старые социалисты, искавшие средство исправить несправедливость в распределении богатств. Того же взгляда придерживаются и социал-католики: они хотят улучшить участь бедняков при помощи не только благотворительности, но и множества институтов, направленных на смягчение страданий, причиняемых капиталистической экономикой. По всей видимости, на той же точке зрения до сих пор стоят и люди, почитающие пророком Жореса: мне рассказывали, что он старался обратить Бюиссона в социализм, взывая к его доброму сердцу, и что эти два авгура вели нелепейшую дискуссию о том, как *исправить ошибки* общества.

Массы считают свои страдания следствием прошлого, полного жестокости, невежества и насилия, и верят, что *гений вождей* может уменьшить их несчастья, а демократия, если она будет свободной, заменит несправедливую и вредную иерархию на иерархию благодетельную.

Сами же вожди, которые держат своих последователей в этом сладком заблуждении, смотрят на мир совсем иначе. Нынешняя организация общества им отвратительна в той мере, в какой она препятствует их честолюбивым устремлениям, и возмущает их не столько существование классов, сколько невозможность занять положение, приобретенное их старшими собратьями. Как только им удается

---

164 К примеру, Вайян говорит: «Нам придется дать великое сражение, но неужели вы думаете, что мы сможем в нем победить, если за нами не встанет пролетариат? Он должен идти с нами, но этого не будет, если мы подавим его, если мы дадим ему понять, что Социалистическая партия больше не представляет его интересы, больше не *представляет* войну рабочего класса против класса капиталистического» (*Cahiers de la Quinzaine*, 16e de la IIe série, p. 159–160). В этом выпуске содержится стенограмма протокола конгресса.

165 *Маркс К., Энгельс Ф.* Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 18. С. 341.

проникнуть в оплоты государства, в салоны, в места развлечений, они обыкновенно перестают быть революционерами и начинают благоразумно рассуждать об эволюции.

2) Мятежное настроение, встречающееся в бедных классах, приобретает теперь оттенок злобной зависти. Наши демократические газеты искусно поддерживают это чувство, видя в этом лучший способ отупления и подчинения своей публики, — для этого они пользуются скандалами в богатом обществе и подталкивают читателей испытывать злорадство, узнавая о позоре в домах великих мира сего. С удивительным бесстыдством они утверждают, что служат делу строжайшей морали, которая якобы так же им дорога, как и благосостояние бедных классов и их свобода! Но, вероятно, единственной движущей силой этих поступков служит их собственная выгода[166].

Зависть, как кажется, обыкновенно присуща характерам пассивным. Вождям свойственны активные чувства, и зависть превращается у них в жажду добиться любой ценою желанной цели, употребляя все средства, чтобы устранить людей, стоящих на пути. В политике нет места совестливости, как нет ей места и в спорте: опыт ежедневно показывает нам, с какой смелостью спортсмены преодолевают последствия неблагоприятных случайностей.

3) *Управляемая масса* имеет только самые наивные и смутные понятия о том, что могло бы улучшить ее положение. Демагоги с легкостью внушают ей мысль, что лучшее средство заключается в использовании силы государства, чтобы *донимать* богатых, — так зависть переходит в месть, а мстительность, как известно, чувство необыкновенно могущественное, особенно у слабых людей. История греческих городов и средневековых итальянских республик полна налоговыми законами, сильно притеснявшими богатых и немало способствовавшими разрушению этих государств. В XV веке Эней Сильвий (впоследствии папа Пий II) с изумлением отмечает необыкновенное благоденствие торговых городов Германии и большую свободу, которой пользовались там гонимые в Италии буржуа[167]. Если присмотреться к современной социальной политике, то нетрудно увидеть,

---

166 Мимоходом замечу здесь, что Le Petit Parisien — один из важнейших органов политики социальных реформ — живо интересовался злоключениями принцессы Саксонской и очаровательного наставника Жирона [Луиза Тосканская, жена кронпринца Саксонского, после 9 лет брака бежала из Саксонии с Андре Жироном, гувернером своих детей. — *Прим. ред.*]. Эта газета, занятая исправлением народных нравов, не может понять, почему обманутый муж упорно не хочет возвратить себе супругу. 14 сентября 1906 г. на ее страницах было сказано, что героиня хроники «порвала с вульгарной моралью» — отсюда можно сделать вывод, что мораль Le Petit Parisien, по всей видимости, отличается особой оригинальностью.

167 *Janssen*, L'Allemagne et la Réforme, trad. franç., tome I, p. 361.

что она также вся насыщена идеями зависти и мести: многие законы издаются с целью скорее досадить хозяевам, чем улучшить положение рабочих, и если в стране клерикалы слабы, они непременно рекомендуют самые суровые меры, чтобы отомстить франкмасонам-хозяевам[168].

Партийные вожди извлекают из всех этих мер разнообразные выгоды. Они пугают богатых и эксплуатируют их в личных интересах. На словах они больше всех выступают против привилегий богатства, но сами умеют получить все радости, которые они дают. Играя на дурных инстинктах и глупости своих сторонников, они воплощают любопытный парадокс — заставляют толпу одобрять неравенство условий жизни во имя демократического равенства. Успехи демагогов, начиная с древних Афин и заканчивая современным Нью-Йорком, невозможно понять, если не учитывать идею мести и ее необыкновенную силу, превосходящую любое рассуждение.

Не думаю, что есть другие средства устранить это гибельное влияние демагогов, кроме тех, которые может использовать социализм, продвигая идею всеобщей пролетарской стачки: он пробуждает в душе чувство возвышенного по отношению к условиям этой гигантской битвы, и, отодвигая на второй план жажду удовлетворить зависть путем жестокости, он выдвигает на первый план гордость свободного человека и тем самым защищает рабочего от шарлатанства честолюбивых и корыстных вождей.

В. — Громадные различия между двумя пониманиями всеобщей стачки или двумя видами социализма станут еще очевиднее, если сравнить социальную борьбу с войной. Война точно так же способна дать начало двум противоположным системам, так что о ней можно вынести суждения прямо противоположные, опираясь на несомненные факты.

В ней можно найти черты благородства, то есть то, что в ней видят поэты, прославлявшие знаменитые армии. Рассматривая войну таким образом, мы находим в ней:

1) Идею, что ремесло воина не сравнимо ни с каким другим; что оно ставит того, кто себя ему посвящает, превыше условий обыденной жизни; что история всецело основывается на приключениях воинов, а экономика существует только для того, чтобы их поддерживать.

---

168 Применение социальных законов, по крайней мере во Франции, дает повод для чрезвычайно странного неравенства в отношении к людям: судебные преследования зависят от политических или даже финансовых условий. Все мы помним, что приключилось с тем знаменитым купорье, которого наградил Мильеран и которого многократно штрафовали за нарушение законов о защите работниц.

2) Чувство славы, которое Ренан правильно считал одним из самых удивительных и мощных порождений человеческого гения и которое получило несравненную ценность в истории[169].

3) Страстное желание померяться силами в великих битвах, доказать на деле превосходство военного ремесла над всеми остальными и добиться славы хотя бы ценою жизни.

Мне не нужно долго задерживать внимание читателей на этих характерных чертах, чтобы доказать значение этих представлений в Древней Греции. Героический образ войны осеняет всю античную историю. Республиканские институты Древней Греции выросли из военной организации граждан; греческое искусство достигло апогея в сооружении крепостей; философы не мыслили иного воспитания, кроме того, которое поддерживало бы героические традиции среди молодежи, и даже правила обучения музыке они брались устанавливать потому, что не хотели допустить развития каких-либо чувств, чуждых военной дисциплине; социальные утопии создавались для того, чтобы сохранить в городах ядро гомеровских воинов, и т.д. В наше время войны за Свободу породили не меньше идей, чем войны древнегреческие.

Но у войны есть и другая сторона, в которой нет ничего благородного и на которую всегда указывают пацифисты[170]. Война уже не служит самоцелью, а должна удовлетворять честолюбие политических деятелей. Войны ведут на чужой территории ради быстрого получения больших материальных выгод. Кроме того, победа должна доставить тем, кто управлял страной в минуту успеха, такой перевес, который позволит им расточать милости своим приверженцам. Наконец, победа должна настолько опьянить граждан, чтобы они не могли здраво оценить те жертвы, которых от них требуют, и увлеклись радужными образами будущего. Из-за такого состояния умов народ легко позволяет правительству чрезмерно укрепить власть, так что всякое внешнее завоевание обыкновенно влечет за собой завоевание внутреннее, осуществляемое теми, в чьих руках находится власть.

Синдикалистская всеобщая стачка весьма сильно напоминает первый тип войны. Пролетариат организуется для битвы, явственно отделяясь от остальных частей нации, рассматривая себя как основную движущую силу истории,

---

169 *Renan*, Histoire du people d'Israël, tome IV, p. 199–200 [1125–1126].

170 На различии между двумя сторонами войны строится книга Прудона «Война и мир».

подчиняя все социальные соображения идее борьбы. Он обладает отчетливым представлением о славе, которая должна увенчать его историческую роль, и о героизме его воинственной позиции и стремится к решительному испытанию, чтобы показать свою доблесть. Он не стремится к завоеванию, а потому не строит планов использования победы: его цель — свергнуть господство капиталистов в сфере производства, чтобы впоследствии снова занять свое место в созданных капитализмом цехах.

Такая всеобщая стачка весьма ясно обнаруживает безразличное отношение к материальным выгодам завоеваний, ставя целью уничтожение государства. Ведь государство и было зачинателем завоевательных войн, распределителем благ и причиной существования господствующих групп, извлекающих выгоды из любых предприятий, тяготы которых несет все общество.

Политики держатся другой точки зрения и рассуждают о социальных конфликтах точно так же, как дипломаты о международных делах. Собственно военная сторона этих конфликтов их почти не интересует, а в сражающихся они видят лишь орудия. Пролетариат есть их армия, которую они любят той же любовью, какой колониальный губернатор любит военные отряды, подчиняющие его прихотям массы негров. Политики стараются увлечь пролетариат, поскольку торопятся выиграть крупные сражения за государственную власть. Они поддерживают в своих людях рвение, как его всегда поддерживали в войсках наемников: обещаниями будущих грабежей, призывами к ненависти и мелкими подачками, которые им позволяет делать захват нескольких важных политических постов. Но пролетариат для них только *пушечное мясо* и больше ничего, как уже заметил Маркс в 1873 году[171].

В основе всех их концепций лежит идея укрепления государства. В своих нынешних организациях политики уже готовят кадры для будущей сильной, централизованной и дисциплинированной власти, которая, не смущаясь критикой оппозиции, сумеет заставить ее замолчать и возведет свою ложь в ранг закона.

С. — В социалистической литературе очень часто поднимается вопрос о будущей *диктатуре пролетариата*, по поводу которой, впрочем, не любят давать подробных объяснений. Иногда это выражение уточняют, прибавляя к

171 Альянс социалистической демократии. С. 341. Маркс упрекал своих противников за то, что они перенимают бонапартистские практики..

существительному *диктатура* эпитет *безличная*, но, в сущности, ничего этим не проясняют. Бернштейн еще несколько лет назад предупреждал, что это будет, вероятно, диктатура «ораторов из политических клубов и литераторов»[172]. Он полагал, что социалисты 1848 года, говоря об этой диктатуре, имели в виду, в подражание 1793 году, «диктаторскую и революционную центральную власть, поддерживаемую террористической диктатурой революционных клубов». Такая перспектива его ужасала, и он уверял, что рабочие, с которыми ему случалось говорить об этом, смотрят в будущее с опаской[173]. Из этого он делал вывод, что в основе социалистической политики и пропаганды должно лежать более эволюционистское видение современного общества. Его анализ, однако, кажется мне недостаточным.

В понятии о диктатуре пролетариата мы можем заметить, прежде всего, отголоски Старого режима. Социалисты очень долго утверждали, что капитализм можно уподобить феодализму — я не знаю более ошибочной и опасной идеи. Они воображали, что этот новый феодализм исчезнет под влиянием сил, подобных тем, которые разрушили феодальный строй, а он пал под ударами сильной централизованной власти, исполненной веры в свое божественное право употреблять против зла исключительные меры. Короли нового типа[174], установившие современное монархическое право, были ужасными деспотами, начисто лишенными совести, но великие историки оправдывали их насилие, так как в те времена, когда феодальная анархия, варварские нравы и полное невежество старых дворян в сочетании с отсутствием почтения к идеологам прошлого[175] казались преступлениями, решительно действовать

---

172 Мысль Бернштейна, очевидно, отсылает к знаменитой статье Прудона, фрагмент которой он к тому же цитирует на странице 47 [58] своей книги. Эта статья заканчивается обвинениями в адрес интеллектуалов: «И тогда вы увидите, что такое революция, которую вызывают адвокаты, совершают художники, а возглавляют романисты и поэты. Нерон был человеком искусства, лирическим и драматическим артистом, страстно влюбленным в идеал, обожателем древностей, собирателем медалей, туристом, поэтом, оратором, бретером, софистом, донжуаном, ловеласом, остроумным, изобретательным, добросердечным аристократом, полным жизни и сладострастия. Потому-то он был Нероном» (*Le Représentant du peuple*, 29 avril 1848).

173 *Bernstein*, Socialisme théorique et Socialdémocrate pratique, p. 298 [233] et 226 [185].

174 См. *Gervinus*, Introduction à l'histoire du XIX siècle, trad. franç., p. 27. [Рус. изд. *Гервинус Г.* Введение в историю XIX века. Переведено под ред. М. Антоновича. — СПб.: Изд. Бакста О. 1864 г. — *Прим. ред.*]

175 В крайнее замешательство приводит современных авторов история папства: некоторые смотрят на него глубоко враждебно, так как ненавидят христианство, однако многие склонны прощать крупнейшие ошибки средневековой папской политики из-за естественной симпатии, побуждающей их восхищаться любыми жестокостями идеологов.

против которых есть долг королевской власти. Именно такую по-королевски решительную расправу с вождями капитализма, очевидно, имеют в виду те, кто говорит сегодня о диктатуре пролетариата.

Позднее монархия ослабила деспотизм, и тогда возникло конституционное правительство. Точно так же предполагается, что и диктатура пролетариата должна мало-помалу ослабеть и затем исчезнуть, чтобы в конечном итоге уступить место *анархическому обществу*, но как это должно произойти, нам объяснить забывают. Королевский деспотизм, конечно, разрушился не сам по себе и не по доброте монархов, и надо быть очень наивным, чтобы верить, будто те, кто воспользуется демагогической диктатурой, легко откажутся от ее преимуществ.

Бернштейн верно заметил, что диктатура пролетариата соответствует разделению общества на господ и рабов, но, как ни странно, он не увидел, что идея всеобщей политической стачки, которую он теперь до известной степени принимает, теснейшим образом связана со страшной для него диктатурой политиков. Те, кто сумеет организовать пролетариат в единую армию, всегда готовую им подчиняться, сделаются военачальниками и введут в побежденном обществе осадное положение — и тогда на другой день после революции воцарится диктатура политиков, представляющих уже и теперь сплоченную группу.

Выше я упоминал слова Маркса о тех, кто восстанавливает государство, создавая в современном обществе зародыш будущего класса господ. Как это происходит, можно увидеть на примере истории Французской революции. Революционеры готовятся к тому, чтобы их административный персонал захватил власть в тот самый момент, когда ее выпустят из рук представители старой власти, так что господство не знает перерывов. Жорес сверх всякой меры восторгается этим ходом в «Социалистической истории», не понимая как следует его смысла, но смутно догадываясь о сходстве со своим представлением о социальной революции.

Слабоволие людей этого времени было так велико, что иногда замена старой власти новой принимала характер буффонады: мы неизменно встречаемся, так сказать, с правительством сверхштатным, или, как тогда выражались, подставным, которое формируется заранее наряду с законным правительством, считает себя *легитимным* еще прежде, чем стать *законным*, и готово воспользоваться

малейшим инцидентом, чтобы вырвать бразды правления из ослабевших рук установленных властей[176].

Один из самых странных, но характерных для этого времени эпизодов — выбор красного знамени. В эпоху волнений этот знак служил сигналом о введении военного положения, а 10 августа 1793 года красное знамя стало революционным символом, знаком объявления «народом военного положения против непокорной исполнительной власти». Жорес комментирует этот факт следующими словами: «Это мы, народ, теперь воплощаем право... Мы не бунтовщики. Бунтовщики находятся в Тюильри, и мы поднимаем знамя законного подавления во имя родины и свободы, против мятежного двора и умеренных»[177]. Итак, мятежники начинают с объявления себя законной властью. Они борются с государством, обладающим лишь внешними признаками законности, и поднимают красное знамя как символ силового восстановления подлинного порядка. Добившись победы, они назовут побежденных заговорщиками и потребуют для них наказания. Истинным завершением всей этой прекрасной идеологии была сентябрьская расправа над заключенными.

Все это крайне просто, и всеобщая политическая стачка неизбежно породит в своем развитии точно такие же явления. Она окажется успешной, если пролетариат будет в массе организован в профсоюзы, подчиняющиеся политическим комитетам, чтобы тем самым была создана сплоченная организация, зависящая от людей, готовых взять в руки власть, и чтобы оставалось только произвести простую замену административных кадров. Организация *подставного* правительства должна быть, конечно, более полной, чем во время революции, потому что теперь победить государство силой, по всей видимости, труднее, чем прежде, однако принцип останется тот же. Так как в настоящее время, благодаря новым средствам, доставляемым парламентским режимом, власть с большей регулярностью переходит из

---

176 Одну из причудливых комедий Революции пересказывает Жорес в книге La Convention, p. 1386–1388 [vol. 5, p. 733–736]. В мае 1793 г. в резиденции епископа был учрежден повстанческий комитет, который формирует подставное правительство, а затем 31 мая является в мэрию и провозглашает, что парижский народ отправляет в отставку власти всех законных органов. Поскольку у Генерального совета Коммуны не было никаких средств защиты, ему «пришлось уступить», но сделал он это с напускным трагизмом: помпезными речами и братскими объятиями, «чтобы подтвердить отсутствие и уязвленного самолюбия, с одной стороны, и властной гордыни, с другой». Завершилось это паясничанье постановлением, возвращающим полномочия только что распущенному Совету. Жорес использует здесь прелестные выражения: революционный комитет «освободил [законную власть] от всех ограничений законности». Это изящное рассуждение воспроизводит знаменитые слова бонапартистов: «Выйти за пределы законности, чтобы войти в пределы права».

177 *Jaurès*, La Législative, p. 1288 [vol. 2, p. 701].

рук в руки, а пролетариат будет полностью подчинен официальным профсоюзам, такая социальная революция приведет к небывалому порабощению.

IV

Изучение политической стачки помогает нам лучше уяснить разницу между двумя понятиями, которую необходимо всегда иметь в виду при анализе современных социальных вопросов. Слова *сила* и *насилие* употребляют то применительно к действиям власти, то применительно к действиям повстанцев. Ясно, что в том и в другом случае последствия совершенно различны. Я придерживаюсь мнения, что лучше выбрать такую терминологию, которая не будет приводить к неоднозначности, и сохранить термин *насилие* за вторым значением. Тогда мы можем сказать, что сила имеет целью установить социальный порядок, основанный на власти меньшинства, а насилие направлено на уничтожение этого порядка. Силу применяла буржуазия с самого начала новой истории, тогда как пролетариат действует теперь против нее и против государства насилием.

Я был давно уверен, что важно углубить теории социальных сил, которые во многом можно уподобить силам динамики, воздействующим на материю, однако самого существенного различия, о котором идет речь здесь, я не мог уловить до тех пор, пока не стал размышлять о всеобщей стачке. Мне, впрочем, не кажется, что Маркс когда-либо исследовал другие социальные двигатели, кроме силы. Несколько лет тому назад в «Опытах критики марксизма»[178] я попытался обобщить марксистские положения о приспособлении человека к условиям капитализма и сформулировал эти тезисы в следующем виде:

«1) Существует в некотором роде механическая система, в которой человек, как представляется, подчинен *естественным законам*. Экономисты-классики считают ее основой тот автоматизм, который является конечным продуктом капиталистического строя. «...Развивается рабочий класс, — говорит Маркс[179], — который по своему воспитанию, традициям, привычкам признает условия этого способа производства как сами собой разумеющиеся *естественные законы*». Вмешательство разумной воли в это механическое принуждение кажется здесь чем-то исключительным.

---

178 *Sorel G.* Saggi di critica del marxismo, Palermo, Remo Sandron, 1903.

179 *Маркс К.* Капитал. С. 747..

2) Существует режим соревнования и конкуренции, побуждающий людей устранять обычные препятствия, постоянно стремиться к новому и воображать жизненные условия, которые кажутся им лучшими. По мнению Маркса, в решении именно этой революционной задачи отличилась буржуазия.

3) Есть режим насилия, играющий очень важную роль в истории и принимающий различные формы:

a) На самом нижнем уровне стоит насилие рассредоточенное, похожее на жизненную конкуренцию и действующее через посредство экономических условий; оно осуществляет медленную, но верную экспроприацию и проявляется главным образом при помощи налоговых мер[180].

b) За ним следует организованная и концентрированная сила государства, воздействующая непосредственно на труд, «чтобы „регулировать" заработную плату, то есть принудительно удерживать ее в границах, благоприятствующих выколачиванию прибавочной стоимости, чтобы удлинять рабочий день и самого рабочего держать в нормальной зависимости от капитала. В этом существенный момент так называемого первоначального накопления»[181].

c) Наконец, есть насилие в собственном смысле слова. Оно занимает огромное место в истории первоначального накопления и составляет главный предмет истории».

Здесь не помешают несколько дополнительных замечаний.

Прежде всего нужно заметить, что эти различные формы насилия расположены в логической последовательности — от состояний, наиболее похожих на организм, в котором не проявляется ясно выраженная воля, до таких, в которых личная воля обнаруживает свои обдуманные планы. Однако исторический порядок прямо противоположен вышеизложенному.

В начале эпохи капиталистического накопления мы видим отдельные исторические факты, каждый из которых относится к конкретному времени, характеризуется особенными чертами, совершается в условиях достаточно определенных, чтобы быть занесенными в хроники. Такими событиями были экспроприация крестьян и упразднение старого законодательства, установившего «феодальные повинности и цеховое принуждение». Маркс прибавляет:

---

180 Маркс отмечает, что в Голландии налогообложение использовали для того, чтобы вызвать искусственное удорожание предметов первой необходимости. Это было применение одного из принципов правления: такой налоговый режим оказался губительным для рабочего класса, разорил крестьян, ремесленников и другие элементы среднего класса, но зато обеспечил совершенное подчинение рабочих хозяевам мануфактур (там же, с. 766).

181 Там же. С. 748.

«История этой их экспроприации вписана в летописи человечества пламенеющим языком крови и огня»[182].

Далее Маркс показывает, как заря современной эпохи была отмечена завоеванием Америки, порабощением негров и колониальными войнами: «Различные моменты первоначального накопления распределяются, исторически более или менее последовательно, между различными странами, а именно: между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией. В Англии к концу XVII века они систематически объединяются в колониальной системе и системе государственных займов, современной налоговой системе и системе протекционизма. Эти методы отчасти покоятся на грубейшем насилии, как, например, колониальная система. Но все они пользуются государственной властью, то есть концентрированным и организованным общественным насилием, чтобы ускорить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии». Здесь Маркс сравнивает силу с повивальной бабкой и говорит, что она ускоряет развитие общества[183].

Итак, мы видим, как экономические силы сливаются с политическим могуществом и капитализм в конце концов развивается настолько, что уже не нуждается в помощи государства, если не считать совершенно исключительных случаев. «При обычном ходе дел рабочего можно предоставить власти „естественных законов производства, то есть зависимости от капитала, которая создается самими условиями производства, ими гарантируется и увековечивается»[184].

При достижении последней исторической стадии влияние индивидуальных устремлений исчезает и общество начинает выглядеть как единый и самостоятельный организм. Тогда наблюдатели могут основать экономическую науку, которая кажется им такой же точной, как естествознание. Ошибка многих экономистов заключалась в том, что они

---

182 Там же. С. 727.

183 Там же. С. 761. В немецком тексте подчеркивается, что сила представляет собой ökonomische Potenz (*Das Kapital*, 4e edition, p. 716); во французском тексте — что сила является экономическим агентом [agent économique]. Фурье понимает под séries puissancielles [прогрессивными рядами] геометрические прогрессии (*Фурье Ш.* Новый промышленный и общественный мир // *Фурье Ш.* Избранные сочинения. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1939. Т. 2. С. 301). Маркс, очевидно, употребляет слово Potenz в смысле множителя; ср. Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 417 — термин travail puissancié как труд повышенной эффективности.

184 Там же. С. 747.

считали этот порядок вещей естественным и исконным[185], не видя в нем результата череды преобразований, которые могли бы и не случиться и сочетание которых всегда чрезвычайно непрочно: оно было создано при помощи силы, которая может так же легко его и разрушить. Впрочем, и современная экономическая литература полна жалоб на вмешательство государства, нарушающего естественные законы.

В настоящее время экономисты больше не склонны верить в то, что уважение к этим *естественным законам* должно следовать из преклонения перед Природой. Они прекрасно видят, что капиталистический порядок воцарился довольно поздно, но полагают, что он был достигнут в результате прогресса, который должен приводить в восторг всех просвещенных людей. Ведь этот прогресс выражается в трех замечательных фактах: во-первых, стало возможно создать экономическую науку; во-вторых, право может теперь достигать самых простых, ясных и точных формулировок, потому что всякий развитой капитализм зиждется на долговом праве; в-третьих, капризы руководителей государства не так очевидны, как прежде, — а значит, мы движемся к свободе. Всякое возвращение к прошлому кажется им покушением на науку, право и человеческое достоинство.

Социалисты же рассматривают эту эволюцию как историю буржуазной силы и видят лишь разные стороны одной сущности там, где экономисты видят разные сущности. Проявляется ли сила в виде исторических актов принуждения или налогового гнета, завоеваний или трудового законодательства, или же остается совершенно скрытой под оболочкой экономических обстоятельств, она неизменно остается буржуазной силой, действующей более или менее удачно в интересах создания капиталистического порядка.

Маркс подробно останавливается на различных явлениях этой эволюции, но зато очень скуп на описание деталей организации пролетариата. Этот пробел в его работе объясняли много раз. В Англии он нашел огромную массу хорошо упорядоченного материала по истории развития капитализма, уже подвергнутого обсуждению с экономической точки зрения, поэтому ему было нетрудно углубить различные частные стороны буржуазной эволюции; но исходных данных, чтобы рассуждать об организации пролетариата, у него было слишком мало, поэтому ему пришлось очень обобщенно наметить свое

185 Естественное в марксистском смысле есть то, что сходно с физическим движением и противопоставляется порождению разумной воли. Для деистов XVIII века естественным было то, что создано Богом, что первично и в то же время совершенно. Такую точку зрения, кажется, занимал и Г. де Молинари.

представление о предстоящем пролетариату пути к социальной революции. Эта неполнота сочинений Маркса привела к тому, что марксизм отклонился от своей истинной цели.

Те марксисты, которые гордились своей ортодоксальностью, не хотели прибавить ничего существенного к тому, что написал их учитель, и считали, что для рассуждения о пролетариате нужно использовать лишь то, чему они научились из истории буржуазии. Поэтому они не подозревали, что нужно проводить различие между *силой*, которая стремится к власти и добивается автоматического подчинения, и *насилием*, которое хочет уничтожить эту власть. По их мнению, пролетариат должен приобрести силу, как приобрела ее буржуазия, точно так же ею воспользоваться и в конце концов заменить буржуазное государство социалистическим.

Так как государство когда-то играло первостепенную роль в революциях, уничтоживших старый экономический строй, оно же должно свергнуть и капитализм. Поэтому рабочие должны пожертвовать всем ради одной цели — привести к власти людей, которые торжественно обещают разрушить капитализм на благо народа; так и формируется партия социалистов в парламенте. Бывшие борцы-социалисты, получившие скромные должности, образованные буржуа, легкомысленные и жадные до сплетен, биржевые спекулянты — все они воображают, будто для них наступит золотой век, стоит только произвести благоразумную, очень благоразумную революцию, которая не слишком заденет традиционное государство. Эти будущие хозяева мира совершенно искренне мечтают воспроизвести историю буржуазной силы и объединяются, чтобы извлечь из этой революции как можно больше выгод. В новой иерархии значительная группа их приверженцев могла бы занять видное место, а «четвертое сословие», по выражению Поля Леруа-Больё, превратилось бы в подлинно *низшую буржуазию*[186].

Будущее демократии, возможно, зависит именно от этой *низшей буржуазии*, которая надеется использовать к своей величайшей выгоде силу истинно пролетарских организаций[187]. Политики считают, что она всегда будет склонна к

---

186 В статье, опубликованной в газете Radical от 2 января 1906 г., Фердинан Бюиссон поясняет, что категории трудящихся, находящиеся сегодня в наиболее благоприятном положении, продолжают подниматься над другими: шахтеры, железнодорожники, рабочие государственных мануфактур и муниципальных служб, будучи хорошо организованными, формируют «рабочую аристократию», которая добивается тем более легких успехов, что ведет переговоры с коллективами, «профессия которых — признавать права человека, национальный суверенитет и власть всеобщего избирательного права». Эта галиматья означает не что иное, как попросту признание отношений между политиками и их заискивающими сторонниками.

187 «Часть нации *присоединяется к пролетариату*, чтобы требовать прав», — говорит Максим Леруа в книге, посвященной защите профсоюзов чиновников (Les Transformations de la puissance publique, p. 216).

миролюбию, всегда будет подчиняться дисциплине, и что если вожди благоразумных профсоюзов будут разделять их взгляды на роль государства, этот класс станет для них превосходной опорой. Они хотели бы, чтобы этот класс помог им управлять пролетариатом, поэтому Фердинан Бюиссон и Жорес поддерживают профсоюзы мелких чиновников, надеясь, что те, войдя в биржи труда, смогут внушить пролетариату свои миролюбивые и пассивные настроения.

Всю эту концепцию наглядно иллюстрирует всеобщая политическая стачка: она показывает нам, что государство отнюдь не утратит силу, что она будет передана от старых привилегированных классов к новым, а производители просто переменят хозяев. Очень возможно, что эти хозяева будут менее ловкими, чем теперешние, будут говорить более красивые речи, чем капиталисты, но все указывает на то, что они будут еще более жестокими и надменными, чем их предшественники.

«Новая школа» рассуждает совершенно иначе. Она не может согласиться с мыслью, что историческая миссия пролетариата состоит в подражании буржуазии, и не желает допустить, что такая грандиозная революция, как та, которая свергнет капитализм, может прельститься таким ничтожным и сомнительным результатом, как смена хозяев в угоду идеологам, политикам и спекулянтам, поклонникам и эксплуататорам государства. «Новая школа» не желает слепо придерживаться Марксовых формул: если он не создал другой теории, кроме теории буржуазной силы, это еще не значит, что нужно во всем подражать буржуазной силе.

В своей революционной деятельности Маркс не всегда находил удачные источники вдохновения и порой обращался к идеям, принадлежащим прошлому. Иногда в его произведениях встречаются избитые мысли, заимствованные у утопистов. «Новая школа» не считает себя обязанной благоговеть перед иллюзиями, ошибками и заблуждениями того, кто так много сделал для развития революционных идей; она старается отграничить слабости Марксовых работ от открытий, которым предстоит обессмертить его имя. Тем самым она решительно порывает с официальными социалистами, которые восхищаются у Маркса всем немарксистским. Поэтому мы не будем принимать во внимание многочисленные цитаты из Маркса, к которым нас могут отослать, доказывая, что Маркс часто понимал историю так же, как и политики.

Мы уже знаем, почему он придерживался таких взглядов: он не знал очевидного для нас сегодня различия между буржуазной силой и пролетарским насилием, так как не жил в среде, которая бы выработала удовлетворительное

понимание всеобщей стачки[188]. Сегодня в нашем распоряжении достаточно сведений, чтобы понимать синдикалистскую всеобщую стачку так же хорошо, как политическую. Мы знаем, чем пролетарское движение отличается от прежних буржуазных движений, и можем использовать отношение революционеров к государству для различения таких понятий, которые Маркс в свое время еще сильно смешивал.

Метод, благодаря которому мы выявили различие между буржуазной силой и пролетарским насилием, может служить нам и при разрешении множества других вопросов организации пролетариата. Сравнивая попытки организации синдикалистской и политической стачек, мы можем судить о том, что хорошо и что плохо, то есть что можно считать социалистическим, а что имеет буржуазные наклонности.

Народное образование, например, всецело пропитано духом буржуазии. Все исторические усилия капитализма были направлены на то, чтобы вынудить массы подчиниться условиям капиталистической экономики и сделать общество единым организмом. Все усилия революционеров направлены на создание *свободных людей*, а демократические правители ставят целью добиться *морального единства* Франции. Это моральное единство есть не что иное, как автоматическая дисциплина производителей, с радостью трудящихся во славу вождей-интеллектуалов.

Можно еще прибавить, что большую опасность для синдикализма представляет любая попытка подражать демократии. Лучше для него было бы на некоторое время ограничиться слабыми и хаотическими организациями, чем подпасть под влияние профсоюзов, копирующих буржуазные политические формы.

Революционные синдикалисты никогда в этом не ошибались, поскольку те, кто старается направить их на псевдобуржуазный путь, являются одновременно противниками всеобщей синдикалистской стачки и тем самым изобличают себя как их враги.

---

188 Недостатки и ошибки Марксовой мысли во всем, что касается революционной организации пролетариата, можно считать памятными примерами закона, не позволяющего нам *мыслить* иного, чем то, что имеет реальные основы в жизни. Не нужно смешивать *мысль* и *воображение*.

ГЛАВА VI

Моральность насилия

I. — *Наблюдения П. Бюро и П. де Рузье. — Эпоха мучеников. — Возможность сохранять раскол небольшим насилием, благодаря катастрофическому мифу.*

II. — *Жестокие древние обычаи в школах и мастерских. — Опасные классы. — Снисходительность к преступлениям хитрости. — Доносчики.*

III. — *Закон 1884 года, устрашающий консерваторов. — Роль Мильерана в министерстве Вальдека-Руссо. — Основания нынешних представлений о посредничестве.*

IV. — *Поиски возвышенного в морали. — Прудон. — Отсутствие источника морали в тред-юнионизме. — Возвышенное в Германии и понятие о катастрофе.*

I

Своды законов содержат так много предупредительных мер против насилия, а в воспитании столь важное место занимает обуздание наших насильственных порывов, что мы инстинктивно приходим к мысли, будто всякий акт насилия есть возвращение к варварству. Широко распространенное противопоставление промышленных и военных обществ связано с тем, что мир считают высшим благом и главным условием всякого материального прогресса — это представление объясняет нам, почему экономисты, начиная с XVIII столетия и до наших дней, почти всегда были сторонниками сильной власти и очень много заботились о политической свободе. Кондорсе упрекает в этом учеников Кенэ, а у Наполеона III, вероятно, не было более восторженного поклонника, чем Мишель Шевалье[189].

Можно задаться вопросом: нет ли известной доли глупости в любви наших современников к мягкосердечию? В самом деле, я замечаю, что некоторые авторы, отличающиеся проницательностью и высокими этическими стремлениями, по-видимому, не так боятся насилия, как наши официальные учителя.

---

189 Однажды Мишель Шевалье [Мишель Шевалье (Michel Chevalier, 1806–1879) — экономист и политик, вначале последователь Сен-Симона, позже либерал и сторонник свободы торговли. — *Прим. ред.*] вошел в редакционный зал Journal des Débats, сияя. «Его первыми словами были: „Я завоевал свободу!" Все преисполнились внимания и попросили его объясниться. Оказалось, что речь идет о свободе забоя скота» (*Renan*, Feuilles détachés, p. 149 [1033]).

П. Бюро[190] был поражен тем, как сельское население в Норвегии до сих пор глубоко проникнуто христианской верой, что, однако, не мешает крестьянам носить за поясом кинжалы. Когда ссоры оканчиваются поножовщиной, полицейские расследования обыкновенно не приносят плодов за отсутствием свидетелей, готовых давать показания.

Автор делает вывод: «Смягченный и изнеженный характер у мужчин гораздо опаснее, чем даже чрезмерное и грубое чувство независимости. Удар ножом, нанесенный человеком нравственно чистым, но жестоким, — меньшее и легче устранимое социальное зло, чем распущенность и сладострастие молодежи, имеющей репутацию более цивилизованной»[191].

Другой пример я заимствую у П. де Рузье, который, подобно и П. Бюро, известен как ревностный католик, занимающийся вопросами морали и нравственности. Он рассказывает, как около 1860 года область Денвера — крупный горнопромышленный центр в Скалистых горах — была очищена от разорявших ее бандитов. Поскольку американские власти были бессильны, за дело взялись смелые граждане: «Закон Линча применялся постоянно; человек, уличенный в убийстве или воровстве, мог быть арестован, судим, приговорен и повешен менее чем за четверть часа, стоило только ему попасть в руки решительного комитета вигилантов... Честный американец имеет превосходную привычку не давать себя подавить из-за того, что он честен. Порядочный человек необязательно труслив, как это слишком часто бывает у нас, — напротив, он считает, что его интересы должны стоять выше интересов рецидивиста или игрока. Более того, ему хватает силы для сопротивления, а образ его жизни воспитывает в нем способность сопротивляться успешно, даже брать на себя инициативу и ответственность за серьезные меры, когда этого требуют обстоятельства. Такой человек, оказавшись в новой и благополучной стране, желая воспользоваться заключенными в ней богатствами и завоевать себе трудом видное положение, не задумается уничтожить во имя этих высших интересов, представителем которых он является, разбойников, отнимающих у этой страны ее будущность. Вот почему так много трупов качалось двадцать пять лет назад в Денвере на небольшом мосту, перекинутом через Черри-Крик»[192].

---

190 Поль Бюро (Paul Bureau, 1865–1923) — адвокат, правовед, ортодоксальный католик, который уже после выхода «Размышлений о насилии», в 1916 г., основал в Социальном музее лигу «За жизнь» (Pour la vie), ратовавшую за повышение рождаемости. — *Прим. ред.*

191 *P. Bureau,* Le Paysan des fjords de Norvège, p. 114–115.

192 *De Rousiers,* La Vie américaine, Ranches, fermes et usines, p. 224–225.

У Рузье это обдуманное мнение, так как к этому вопросу он возвращается еще и в другом месте: «Я знаю, — говорит он, — что закон Линча обыкновенно рассматривается во Франции как проявление варварства... но если в Европе честные люди думают так, то честные люди в Америки думают совершенно иначе»[193]. Он горячо одобряет действия комитета вигилантов Нового Орлеана, который в 1890 году повесил — «к великому удовольствию всех честных людей» — мафиози, оправданных судом присяжных[194].

Едва ли население Корсики в то время, когда там применяли вендетту, чтобы дополнять или исправлять работу неповоротливой машины правосудия, было менее нравственным, чем теперь. Кабилия до французского завоевания не знала другого способа уголовного наказания, кроме частной мести, но кабилы не были дурными людьми.

Можно согласиться со сторонниками мягкосердечия, что насилие способно препятствовать экономическому прогрессу и даже представлять опасность для нравственности, если оно переходит известные границы. Но эта уступка отнюдь не противоречит излагаемой здесь доктрине, поскольку я рассматриваю насилие единственно с точки зрения его идеологических следствий. Ведь несомненно, что для убеждения трудящихся в необходимости рассматривать экономические конфликты как смягченные прообразы великой битвы, от которой будет зависеть будущее, вовсе не нужно особенного распространения жестокости и совершения кровопролитий. Когда класс капиталистов полон сил, он постоянно утверждает свою волю к самозащите, и его откровенно и последовательно реакционная позиция подчеркивает, по меньшей мере настолько же, насколько и пролетарское насилие, то обособление классов, на котором строится все социалистическое учение.

Здесь мы можем использовать великий исторический опыт, который дают нам преследования христиан в течение первых веков новой эры. Современных авторов так поражал язык Отцов Церкви и подробности, приводимые в Деяниях мучеников, что большинство из них стало представлять себе христиан как отверженных, непрестанно проливавших свою кровь. Раскол мира на языческий и христианский был выражен чрезвычайно ярко, и без этого последний никогда не обрел бы своего лица. Однако

193 *De Rousiers*, La Vie américaine, L'education et la société, p. 218.
194 Ibid. p. 221.

сохранился этот раскол вопреки тому, что все сложилось совсем иначе, чем когда-то предполагали.

Сегодня никто уже не думает, будто христиане уходили в подземные пещеры, скрываясь от полицейских преследований, — катакомбы были вырыты за очень большие деньги богатыми общинами и располагались под участками земли, обыкновенно принадлежавшими влиятельным семействам, покровительствовавшим новому культу. Никто не сомневается, что до конца I века христианство имело приверженцев в среде римской аристократии; «в древнейших катакомбах Присциллы... нашли семейную усыпальницу, где между I и IV веками были захоронены представители христианской линии семейства Ацилиев»[195]. По-видимому, отказаться нужно и от старого представления о многочисленности мучеников.

Ренан еще допускал, что к литературе о мучениках следует относиться серьезно: «Подробности отдельных описаний Деяний мучеников, — говорил он, — могут быть по большей части ложными, однако страшная картина, которую они развертывают перед нами, от этого не перестает быть действительностью. Многие имели об этой ужасной борьбе ложные представления [...] но значительности ее никогда не преувеличивали»[196]. Исследования Гарнака приводят к совершенно противоположному заключению: из них следует, что изложение событий у христианских авторов и действительное значение гонений совершенно несопоставимы, а до середины III века мучеников было очень мало. Тертуллиан отчетливее, чем все прочие авторы, выразил ужас приверженцев новой религии по отношению к их преследователям, а между тем вот что говорит Гарнак: «Если опираться на сведения из трудов Тертуллиана, то в Карфагене и Северной Африке до 180 года не было ни одного мученика, а с того времени и до смерти Тертуллиана (после 220 года) их число даже с включением Нумидии и обеих Мавретаний[197] не превосходило двух дюжин»[198]. Надо помнить и о том, что в этот период в Африке было довольно много монтанистов, превозносивших заслуги мученичества и совершенно отрицавших право избегать гонений.

Возражая Гарнаку, П. Аллар приводил, на мой взгляд, довольно слабые доводы[199]. Он совершенно не понимает, сколь велико может быть различие между идеологией пре-

---

195 *P. Allard,* Dix leçons sur le martyre, p. 171.

196 См. *Ренан Э.* Христианская церковь. М.: Терра, 1991.

197 Мавретания Цезарейская и Мавретания Тингитанская — провинции Римской империи на территории современных Алжира и Марокко. — *Прим. ред.*

198 *P. Allard,* op. cit., p. 137.

199 Revue des questions historiques, juillet 1905.

следуемых и действительностью. «Христиане, — говорит немецкий профессор, — могли жаловаться на то, что их загоняют подобно стаду, однако такого обычно не происходило; они могли считать себя образцами героизма, и тем не менее их редко подвергали испытаниям», — и я обращаю особое внимание на окончание этой фразы: «Они могли ставить себя выше мирских почестей, а на деле все более приспособляться к этому миру»[200].

В самом деле, на первый взгляд есть что-то парадоксальное в положении церкви, которая имела адептов в высших классах, вынужденных делать большие уступки обычаям, и тем не менее сохраняла идеологию обособления. Надписи в катакомбах Присциллы указывают нам «на неизменность веры на протяжении многих поколений Ацилиев, среди которых встречаются не только консулы и магистраты самого высокого ранга, но и жрецы, жрицы и даже дети, члены известных идолопоклоннических коллегий, в которые могли входить лишь патриции и их сыновья»[201]. Если бы христианская идеология определялась строго материальными фактами, такой парадокс был бы невозможен.

Поэтому статистика гонений не играет здесь большой роли. Знаковые обстоятельства, которыми сопровождались сцены мученичества, были гораздо важнее количества казней. Идеология выстроилась на основании фактов довольно редких, но весьма героических — не нужно было большого числа мучеников, чтобы доказать в испытаниях абсолютную истинность новой религии и безусловную ошибочность старой, чтобы тем самым установить существование двух не сходящихся дорог и показать, что царство зла конечно. «Несмотря на малочисленность мучеников, — говорит Гарнак, — можно по достоинству оценить ту смелость, которая требовалась, чтобы сделаться христианином и жить по-христиански. Следует, прежде всего, воздать хвалу убежденности мученика, которого могли бы избавить от наказания одно слово или жест, но который предпочитал ненаказуемости смерть»[202]. Современники, видевшие в мученичестве *судебное испытание*, которое являлось свидетельством во славу Христа[203], извлекают из этих фактов совершенно иные заключения, чем современный историк, рассуждающий в соответствии с новейшими идеями, — та идеология была дальше от фактов, чем любая другая.

---

200 *P. Allard*, op. cit., p. 142. Ср. с тем, что я писал в Le Système historique de Renan, p. 312–315.
201 *P. Allard*, op. cit., p. 206.
202 Ibid. p. 142.
203 *G. Sorel*, Le Système historique de Renan, p. 335–336.

Римская администрация была крайне сурова ко всякому, кто казался ей способным нарушить общественное спокойствие, и в особенности ко всякому обвиняемому в оскорблении величества. Обрушиваясь время от времени карами на христиан, на которых им доносили (по причинам, которые в наше время по большей части уже не узнать), римские судьи не подразумевали, что их жесту суждено когда-либо привлечь внимание потомков, да и широкая публика, по-видимому, не придавала этому большого значения. Вот почему гонения почти не нашли отражения в языческих источниках. Язычники не имели оснований придавать мученичеству то исключительное значение, какое приписывали ему христиане и люди, уже сочувствовавшие им.

Эта идеология, вероятно, не оказалась бы такой парадоксальной, если бы не твердая вера в катастрофы, описанные в многочисленных апокалиптических произведениях, составленных в конце I и начале II веков. Христиане были убеждены, что мир будет полностью отдан во власть зла, а затем придет Христос и дарует своим избранникам окончательную победу. Каждый случай гонения заимствовал некоторую долю пугающего драматизма у мифологии Антихриста. Его не оценивали по действительному значению, как несчастье, поражающее некоторых индивидов, как урок для общины или временную помеху для пропаганды, — он был одним из эпизодов войны, развернутой *князем мира сего — Сатаной*, который скоро должен был явить миру своего Антихриста. Таким образом, раскол вытекал одновременно из гонений и из лихорадочного ожидания решительной битвы. Когда христианство достигло достаточного развития, апокалиптическая литература перестала распространяться так широко, как прежде, хотя ее основная идея еще оставалась влиятельной. Деяния мучеников составлялись так, чтобы они могли вызывать чувства, порождаемые чтением апокалипсисов[204], и можно сказать, что они их заменили: иногда в литературе о гонениях встречаются такие же ясные, как и в апокалипсисах, свидетельства об ужасе верующих перед преследовавшими их посланниками Сатаны[205].

Итак, даже если происходящие конфликты непродолжительны и редки, мы можем допустить, что социализм

---

204 Вероятно, первое поколение христиан не вполне осознавало возможность заменить Деяниями мучеников апокалипсисы, подражавшие иудейской литературе. Это могло бы объяснить, почему мы не знаем таких повествований до 155 г. (письмо жителей Смирны о смерти святого Поликарпа) и почему, возможно, были утрачены воспоминания о древнейших римских мучениках.

205 См. *Ренан Э.* Марк Аврелий. М.: Терра, 1991.

является вполне революционным, если только в этих конфликтах достаточно силы, сближающей их с идеей всеобщей стачки. В этом случае все события будут представляться в преувеличенном виде, впечатления о катастрофе сохранятся и раскол классов станет окончательным. Так опровергается возражение, которое часто адресуют революционерам: цивилизации отнюдь не грозит гибель от последствий распространения жестокости, так как идея всеобщей стачки позволяет поддерживать понимание классовой борьбы при помощи таких инцидентов, которые буржуазным историкам показались бы незначительными.

Когда правящие классы, более не дерзая управлять, стыдятся своего привилегированного положения, изощряются в заигрывании с врагами и заявляют о своем отвращении ко всякому расколу в обществе, становится гораздо труднее поддерживать в сознании пролетариата эту идею обособления, без которой социализм не может исполнить свою историческую роль. Тем лучше, заявляют *добрые люди*: значит, мы можем надеяться, что будущность мира не окажется в руках грубых людей, которые не уважают даже государство, насмехаются над высокими буржуазными идеологиями и не восхищаются ни профессионалами возвышенной мысли, ни священниками. Так будем же с каждым днем больше помогать обездоленным, говорят эти господа, станем в большей мере христианами, филантропами или демократами (смотря по темпераменту каждого), объединимся для выполнения *общественного долга*. Тогда мы одолеем этих ужасных социалистов, которые считают возможным подрывать престиж интеллектуалов после того, как интеллектуалы разрушили авторитет церкви. В действительности эти сложные моральные расчеты потерпели крах по вполне очевидным причинам.

Прекраснодушное рассуждение этих господ, жрецов общественного долга, подразумевает, что насилие не будет возрастать или даже начнет убывать по мере того, как интеллектуалы станут расточать льстивые, пошлые и лицемерные речи во славу объединения классов. К несчастью для этих великих мыслителей, дело обстоит совершенно иначе: оказывается, насилие непрестанно растет, в то время как, согласно принципам этой высшей социологии, оно должно было уменьшиться. Ведь существуют жалкие социалисты, пользующиеся трусостью буржуазии, чтобы вовлекать массы в движение, которое с каждым днем все менее похоже на предполагаемый результат жертв, на которые соглашается буржуазия в надежде добиться мира. Еще немного, и социологи объявят, что социалисты плутуют и

употребляют нечестные приемы — настолько факты не соответствуют их предположениям.

Между тем нетрудно понять, что социалисты не сдадутся, прежде чем испробуют все средства, какие предоставляет им текущая ситуация. Люди, посвятившие жизнь делу, которое они отождествляют с обновлением мира, без малейшего колебания употребили бы любое оружие, чтобы тем сильнее развить дух классовой борьбы, чем больше прилагалось стараний для его искоренения. Существующие социальные отношения открывают простор для бесчисленных случаев насилия, и социалисты не упускали возможности убедить рабочих не отступать и применять жестокость, когда она могла принести им пользу. Как только буржуа-филантропы стали с распростертыми объятьями приветствовать членов профсоюзов, соглашавшихся являться к ним для переговоров, в надежде, что эти рабочие, польщенные благосклонностью аристократов, посоветуют своим товарищам ступить на мирный путь, — многие должны были немедленно начать подозревать сторонников социальных реформ в измене. Наконец — и это самый замечательный факт во всей этой истории, — важнейшей частью синдикалистской программы стал антипатриотизм[206].

Проникновение антипатриотизма в рабочее движение тем более примечательно, что оно произошло в момент, когда правительство занималось воплощением на практике солидаристских теорий. Сколько бы Леон Буржуа ни расточал всевозможных любезностей по адресу пролетариев, ему не убедить их в том, что капиталистическое общество — большая семья и что бедный может требовать свою долю общественного богатства. Сколько бы он ни повторял, что все современное законодательство направлено на воплощение солидарности, пролетариат отвечает ему грубейшим отрицанием общественного договора, а именно — отрицанием долга перед отечеством. В тот самый момент, когда, казалось, было найдено средство для устранения классовой борьбы, она вдруг возрождается в особенно обидной форме[207].

Таким образом, все эти *добрые люди* добиваются результатов, совершенно противоположных направлению их усилий, — как тут не разочароваться в социологии! Если бы они

---

206 Так как мы рассматриваем все явления с исторической точки зрения, нам неважно, какими основаниями руководствовались первые поборники антипатриотизма. Основания такого рода, как правило, не бывают верными. Существенно то, что для революционных рабочих антипатриотизм оказывается неотделим от синдикализма.

207 Эта пропаганда привела к результатам, намного превзошедшим надежды ее зачинателей и необъяснимым без революционной идеи.

не были лишены здравого смысла и действительно хотели оградить общество от роста жестокости, то они не вынуждали бы социалистов обращаться к той тактике, которая в настоящее время для них неизбежна. Они сохраняли бы спокойствие, а не посвящали себя служению социальному долгу, и благословляли бы ратующих за всеобщую стачку, так как они на самом деле стремятся *сочетать социализм с возможно меньшей жестокостью*. Но здравого смысла у *добрых людей* нет, и им придется претерпеть еще много ударов, унижений и денежных потерь, прежде чем они решатся не чинить препятствий естественному развитию социализма.

II

Теперь мы постараемся еще более углубить наше исследование и зададимся вопросом: чем обусловлено глубокое отвращение моралистов при виде актов насилия? Но сначала необходимо очень кратко перечислить некоторые примечательные изменения, произошедшие в нравах трудящихся классов.

А. — Прежде всего и более всего, на мой взгляд, заслуживают внимания перемены в воспитании детей; прежде думали, что линейка — важнейшее орудие для школьного учителя, а теперь из нашего народного образования телесные наказания исчезли. Я думаю, что весьма значительную роль в этом прогрессе сыграла конкуренция, которую светской школе приходилось выдерживать со стороны конгрегаций: монахи с крайней суровостью применяли старинные принципы церковной педагогики, а в ней, как известно, всегда широко применялись побои и чрезвычайные меры наказания с целью укрощения демона, внушающего ребенку множество дурных привычек[208]. Администрация светских школ оказалась достаточно разумна, чтобы противопоставить этому варварскому воспитанию воспитание более мягкое и тем самым снискать расположение многих. Не приходится сомневаться, что суровость применяемых клерикалами наказаний весьма содействовала современному разгулу ненависти к церкви, с которым последняя теперь с таким трудом борется. В 1901 году я писал: «Если бы [церковь] одумалась, она совершенно уничтожила бы все учреждения, созданные ею для детей, она закрыла бы школы и ремесленные приюты при монастырях — тем

208 См. *Renan*, Histoire du people d'Israël, tome IV, p. 289 [1180], 296 [1184]; *Y. Guyot*, La Morale, p. 212–215; *Alphonse Daudet*, Numa Roumestan, chap. IV.

самым она устранила бы главный источник, питающий антиклерикализм, — отнюдь не желая вступать на этот путь, она собирается, по-видимому, все более развивать эти заведения и тем продлевает дни расцвета народной ненависти к духовенству»[209]. То, что произошло после 1901 года, превосходит даже и мои предсказания.

Прежде на заводах царили крайне жестокие нравы, в особенности там, где работали люди, отличавшиеся большой физической силой и носившие прозвище «грубые штаны»[210]. Мало-помалу они забрали вербовку мастеровых в свои руки, так как «всякий, кого нанимали другие, подвергался бесконечным обидам и мучениям». Тот, кто хотел поступить в их мастерскую, должен был угостить их выпивкой, а на другой день требовалось поставить всем товарищам: «Пускается в ход известное „и когда же?", тянется жребий... „И когда же" поглощает сбережения; в мастерской, где соблюдается обычай „и когда же", приходится ему подчиняться, иначе вам несдобровать». Дени Пуло, у которого я заимствую эти подробности, замечает, что станки подорвали власть «грубых штанов», и к 1870 году, когда он писал эти строки, они стали лишь воспоминанием[211].

Нравы компаньонажей также долгое время отличались жестокостью. До 1840 года между группами, державшимися различных обрядов, постоянно происходили драки, нередко и с кровопролитием; Мартен Сен-Леон в книге о компаньонажах приводит выдержки из их поистине варварских песен. Принятие в товарищество было обставлено множеством суровых испытаний, а с подростками в товариществах Жака и Субиза[212] обращались как с настоящими париями[213]. «Встречались, — рассказывает Пердигье, — подмастерья [плотники] с прозвищами „Лисий бич" [лисами называли кандидатов] или „Лисий ужас"... В провинции „лисы" редко работают в городах; их загоняют, как говорится, по кустам»[214]. Позже тирания подмастерьев вошла в противоречие с распространившимися в обществе либеральными обы-

209 Sorel, Essai sur l'Église et l'État, p. 63.

210 Выражение grosse culotte можно трактовать и как «важная шишка». Сорель не совсем прав, когда связывает это наименование с физической силой — так называли в первую очередь опытных, умелых ремесленников, выдававших продукцию высокого качества. — *Прим. ред.*

211 *Denis Poulot*, Le Sublime, p. 150–153 [225–227]. Я привожу цитату по изданию 1887 г. Этот автор пишет, что «грубые штаны» сильно задерживали развитие кузнечного дела..

212 Мастер Жак и отец Субиз — легендарные основатели первых компаньонажей. — *Прим. ред.*

213 *Martin Saint-Léon*, Le Compagnonnage, p. 115, 125, 270–273, 277–278.

214 Ibid. p. 97. Ср. p. 91–92, 107.

чаями, что породило много раздоров. Как только рабочие перестали нуждаться в покровительстве, в первую очередь для приискания работы, они перестали так легко соглашаться на требования, которые раньше казались им малозначащими по сравнению с выгодами, сопряженными со званием подмастерья. Борьба за заказы заставила не раз сойтись лицом к лицу кандидатов и подмастерьев, желавших сохранить привилегии[215]. Можно было бы найти и другие причины, объясняющие крушение института, который, принося значительную пользу, вместе с тем сильно содействовал поддержанию идеи жестокости.

Все считают, что исчезновение этих прежних жестокостей — прекрасная вещь. Но перейти от этого мнения к мысли, что всякое насилие есть зло, было слишком легко, чтобы этого не сделать; и в самом деле, масса людей, привыкших не размышлять, пришли к этому заключению, и оно теперь принято за догму *блеющим стадом* моралистов, которые не задавались даже вопросом о том, что же в жестокости заслуживает порицания.

Если не довольствоваться здесь пошлой глупостью, то можно заметить, что наша оценка исчезновения насилия связана скорее с весьма значительными преобразованиями в преступном мире, нежели с этическими принципами. И я постараюсь сейчас это показать.

В. — Буржуазные ученые не любят уделять много внимания опасным классам[216], и это одна из причин, почему их рассуждения об истории нравов всегда поверхностны. Однако нетрудно понять, что только знакомство с этими классами и позволяет проникнуть в тайны морального сознания народов.

В старину опасные классы обычно совершали простейшие преступления, наиболее для них доступные и ставшие сегодня делом шпаны, неопытных и бестолковых юнцов. Сегодня жестокие преступления нам кажутся чем-то настолько ненормальным, что часто, если жестокость была особенно велика, мы задаемся вопросом, в здравом ли уме

---

215 В 1823 г. подмастерья-столяры намеревались обосноваться в Ла-Рошели, которую задолго до этого оставили, сочтя маловажной; останавливались они разве что в Нанте или Бордо (Ibid. p. 103). Союз трудящихся «Путешествия по Франции» [у подмастерьев существовал обычай объезжать страну, обучаясь у разных мастеров. — *Прим. ред.*] образовался в соперничестве с компаньонажами в 1830–1832 гг. после того, как последние отвергли несколько довольно безобидных реформ, предложенных кандидатами (p. 108–116, 126–131).

216 30 марта 1906 г. Мони произнес в Сенате: «В тексте закона невозможно написать, что проституция во Франции *существует* для обоих полов».

виновный. Эта перемена, очевидно, произошла не оттого, что преступники стали нравственнее, а оттого, что они, как мы вскоре увидим, изменили свой способ действия в соответствии с новыми экономическими условиями. Эта перемена оказала огромное влияние на народную мысль.

Все мы знаем, что ассоциациям преступников удается поддерживать образцовую дисциплину при помощи жестокости. Когда мы видим, как мучают ребенка, мы инстинктивно предполагаем, что родители у него преступных нравов. Воспитательные методы, какие применяли прежде школьные учителя и которые упорно продолжают сохранять церковные школы, суть методы бродяг, ворующих детей и подвергающих своих жертв дрессировке, чтобы сделать из них ловких акробатов или занятных попрошаек. Все, что напоминает нам нравы опасных классов прошлого, стало нам решительно ненавистным.

Прежнюю жестокость стремятся заменить хитростью, и многие социологи видят в этом значительный прогресс. Некоторые философы, не имеющие привычки следовать мнениям толпы, не вполне понимают, в чем тут прогресс с моральной точки зрения: «И когда указывают на жестокость и грубость прошедших времен, то пусть не забывают принимать в расчет, с одной стороны, встречаемые нами у древних первобытных народов прямодушие и честность, ясное чувство справедливости и почтение перед освященными обычаем нравами, а с другой — растущие вместе с культурою ложь, обман, лесть, мошенничество, неуважение к собственности и узаконенные, но уже более ничего не говорящие для инстинкта обычаи[217]. Воровство, обман и мошенничество, несмотря на положенные за них наказания увеличиваются в более быстрой прогрессии, чем уменьшаются грубые и тяжкие преступления (например, грабеж, убийство, насилие и т.д.); самое подлое своекорыстие бесстыдно разрывает священнейшие узы семьи и дружбы, как скоро приходит с ними в столкновение»[218].

Теперь обычно считают, что денежные потери — это несчастные случаи, опасность которых подстерегает нас на каждом шагу и которые вместе с тем легко исправить, в отличие от несчастных случаев, ведущих к телесным

---

217 Гартман опирается здесь на авторитет английского естествоиспытателя Уоллеса, превозносившего простоту нравов у малайцев. Он, конечно, допустил много преувеличений, хотя другие путешественники сделали похожие наблюдения относительно некоторых племен Суматры. Гартман хочет показать, что продвижения к счастью нет, и эта задача заставляет его преувеличивать представления древних о счастье.

218 *Гартман Э. фон.* Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: метафизика бессознательного. М.: КРАСАНД, 2010. С. 348.

повреждениям. Поэтому преступление, основанное на хитрости, теперь считают гораздо менее тяжелым, чем преступление, основанное на жестокости, и преступники пользуются этим изменением в суждениях.

Наш уголовный кодекс был составлен в то время, когда гражданина представляли в виде земельного собственника, озабоченного исключительно надлежащим ведением дел в имении и обеспечением достойного положения своим детям. Крупные состояния, нажитые от различных предприятий благодаря политике или спекуляции, встречались редко и считались безобразными; одной из главных забот законодателя была защита сбережений средних классов. Предшествующий режим был еще более суров в деле преследования всякого рода мошенничеств: королевская грамота от 5 августа 1725 года учредила смертную казнь для банкрота-мошенника — нельзя вообразить ничего менее схожего с нашими сегодняшними нравами! Теперь мы склонны думать, что преступления этого рода, как правило, совершаются только по неосторожности самих жертв и лишь в исключительных случаях заслуживают серьезной кары, но даже тогда мы довольствуемся легкими наказаниями.

В богатом обществе, где ведутся крупные дела, где каждый крайне озабочен защитой своих интересов — а таково американское общество, — преступления хитрости отнюдь не вызывают таких последствий, как в обществе, вынужденном соблюдать строгую бережливость. Ведь такие преступления очень редко могут вызвать глубокое и длительное расстройство в экономике, поэтому американцы без слишком серьезных жалоб переносят неумеренность своих политиков и финансистов. Де Рузье сравнивает американца с капитаном корабля, которому во время трудного плавания некогда следить за обворовывающим его поваром. «Если сказать американцам, что политики обворовывают их, они обычно отвечают: „Черт возьми, я это отлично знаю!“ Пока дела идут, а политики этому не мешают, они без большого труда избегают заслуженного наказания»[219].

С тех пор как наживать деньги стало легко и в Европе, здесь тоже распространяются идеи, подобные американским. Крупные воротилы ускользали от преследования, так как во времена успеха у них доставало ловкости, чтобы завязать во всех слоях общества множество дружеских связей. В конце концов, решили, что было бы очень несправедливо карать по суду обанкротившихся купцов и нотариусов, которые

219 *De Rousiers*, La Vie américaine, L'éducation et la société, p. 217.

уходили разоренными после незначительных бед, в то время как подлинные цари финансового мошенничества продолжали жить припеваючи. Мало-помалу новая экономика создавала в странах развитого капитализма чрезвычайную терпимость ко всем преступлениям хитрости, какой раньше не никогда было[220].

В тех же странах, где все еще сохраняется старинный семейный хозяйственный уклад, проникнутый бережливостью и враждебный к спекуляции, сравнительная оценка актов жестокости и актов хитрости не претерпела таких изменений, как в Америке, в Англии и во Франции. Поэтому-то в Германии сохранилось множество старых обычаев[221], и там совсем не испытывают такого ужаса перед жестокими наказаниями, как у нас. Там эти наказания отнюдь не считаются свойственными самым опасным классам.

В философах, протестовавших против подобного смягчения судебных приговоров, не было недостатка. После вышеприведенных слов Гартмана он, вероятно, скоро и сам примкнет к протестующим: «Уже наступает время, когда ловкий вор предоставляет глупому и пошлому простонародью кражу и противозаконное мошенничество, а сам умеет овладевать чужою собственностью, нисколько не нарушая буквы закона. Поистине я гораздо охотнее подвергся бы опасности быть случайно убитым, живя между древними германцами, чем, живя между новейшими германцами, считать всех и каждого за подлеца и мошенника до тех пор, пока не имеешь вполне убедительных доказательств в его честности»[222]. Гартман не принимает в расчет экономики. Он ограничивается рассуждениями чисто личного характера и не обращает внимания на то, что происходит вокруг него. Сегодня никто не хотел бы подвергаться опасности быть убитым древними германцами, тогда как мошенничество или воровство влекут за собой легко возместимый ущерб.

С. — Наконец, чтобы вполне проникнуть вглубь современной мысли, необходимо рассмотреть, как общество оценивает отношения между государством и преступными сообществами. Такие отношения существовали всегда, а

---

220 Некоторые страны заимствовали эти идеи, подражая крупным державам, лишь бы от них не отстать.

221 Следует заметить, что в Германии в среде спекулянтов столько евреев, что американские идеи распространяются особенно плохо. Спекулянт чаще всего предстает *чужаком, который грабит нацию.*

222 *Гартман Э. фон.* Указ. соч. С. 349.

эти сообщества, когда-то прибегавшие к насилию, теперь применяют хитрость или по крайней мере насилие для них стало довольно редким исключением.

Сегодня казалось бы странным, если бы члены городских советов возглавляли вооруженные банды, как это было в Риме в последние годы республики. Во время процесса Золя антисемиты набирали отряды наемных манифестантов, которым поручалось выражать патриотическое негодование. Правительство Мелина покровительствовало таким проделкам, и в течение нескольких месяцев эти действия были вполне успешными и сильно помешали законному пересмотру приговора по делу Дрейфуса.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такая тактика сторонников церкви стала главной причиной всех мер, принимаемых против католицизма, начиная с 1901 года: либеральная буржуазия никогда не согласилась бы на эти меры, если бы не находилась под влиянием страха, который она испытала во время дела Дрейфуса. Самым веским доводом, которым постоянно пользовался Клемансо, чтобы поднять своих сторонников на борьбу с церковью, был именно страх. Клемансо непрестанно изобличал опасность, которая грозила республике со стороны *римской группировки*, и законы о конгрегациях, народном образовании, церковных порядках были изданы с целью не дать католической партии вернуться к прежним воинственным настроениям, которые Анатоль Франс часто уподоблял устремлениям Лиги[223], — это *законы, внушенные страхом*. Многие консерваторы так хорошо это почувствовали, что с неудовольствием смотрели на недавние случаи сопротивления при описях церковного имущества. Они полагали, что использование отрядов *набожных головорезов* обернется большей враждебностью среднего класса к их делу[224]. Немало удивления вызвал Брюнетьер, который прежде принадлежал к поклонникам этих бандитов-антидрейфусаров, однако теперь стал призывать к покорности — а сделал он это потому, что опыт просветил его относительно последствий насилия.

Сообщества, действующие при помощи хитрости, отнюдь не вызывают у людей такой реакции. Во времена

---

223 Имеется в виду Католическая лига — объединение католиков, основанное в XIV в. для борьбы с протестантами.

224 На заседании Парижского муниципального совета 26 марта 1906 г. полицейский префект рассказал, что сопротивление было организовано комитетом, который располагался по адресу улица Ришелье, 86, и вербовал *набожных головорезов* за 3–4 франка в день. Префект заявил, что 52 парижских кюре обещали ему либо содействовать в проведении описи, либо ограничиться пассивным сопротивлением, и обвинил католических политиков в том, что они выкручивают руки духовенству.

клерикальной республики Общество св. Викентия де Поля было прекрасным орудием надзора за чиновниками всех званий и степеней, поэтому не стоит удивляться, что франкмасонство смогло оказать радикальному правительству такие же услуги, какие прежним правительствам оказывала католическая благотворительность. Окончательное мнение страны отчетливо продемонстрировала история недавних дел о доносах.

Когда националисты получили в распоряжение картотеки со сведениями об офицерах, составленные руководителями масонских лож, они подумали, что их противникам пришел конец. Эти предположения, казалось, оправдывала паника, царившая в течение нескольких дней в радикальном лагере, однако вскоре демократы уже смеялись над, по их выражению, «легким поведением» тех, кто публично изобличал методы генерала Андре и его сообщников. Превосходное понимание морали современников показал в эти тяжелые дни Анри Беранже[225]: он без колебаний одобрил, как он выразился, «законный надзор передовых организаций над правящими кастами» и осудил трусость правительства, которое «позволило клеймить доносчиками [людей], взявших на себя неблагодарный труд противостояния военной касте и римской церкви, расследования и разоблачения их деяний» (Action, 31 oct. 1904). Он осыпал оскорблениями тех немногих дрейфусаров, что осмелились выразить негодование. Особенно возмутительным показалась ему точка зрения Жозефа Рейнака: тому, по его мнению, следовало считать за огромную честь, что его терпят в Лиге прав человека, которая решилась наконец вести «благородную борьбу за права гражданина *вообще*, которыми слишком долго жертвовали ради прав *одного* человека» (Action, 22 déc. 1904). В конце концов, парламент проголосовал за закон об амнистии, чтобы показать, что больше не желает слышать этих придирок.

В провинции было несколько случаев сопротивления[226], но были ли они сколько-нибудь серьезными? Позволю себе в этом усомниться, основываясь на данных, собранных Пеги в девятом номере шестой серии его Cahiers de la Quinzaine[227]. Некоторые лица, известные обилием, звучностью и сумбурностью речей, вероятно, были немного смущены при виде насмешливых улыбок именитых бакалей-

225 Анри Беранже (Henry Bérenger, 1867–1952) — автор социологических исследований, публицист и издатель, позже ставший сенатором и послом Франции в США.

226 Ведь провинция, в отличие от Парижа, не так привычна к хитростям и мирному грабежу.

227 Cahiers de la Quinzaine — двухнедельный журнал дрейфусарской направленности, основанный Шарлем Пеги и выходивший в 1900–1914 гг. — *Прим. ред.*

щиков и видных аптекарей, составляющих элиту тех ученых и музыкальных обществ, перед которыми они привыкли ораторствовать о Справедливости, Истине и Просвещении. И тогда они ощутили потребность принять стоическую позу.

Что может быть прекраснее такого отрывка из письма профессора Бугле, великого знатока социальных наук: «Я был очень рад узнать, что Лига готова, наконец, сказать свое слово. *Ее молчание изумляет и пугает*»? Похоже, перед нами мальчик, напугать или удивить которого ничего не стоит. Тревогу переживал и Франсис де Пресансе[228], что ему вполне свойственно, однако его переживания носили возвышенные характер, как и подобает социалисту-аристократу: он боялся, что демократии может снова грозить изгнание, подобное тому, которое причинило столько зла доблестным демократам во время панамского скандала[229]. Когда он увидел, что публика легко отнеслась к сговору правительства и благотворительного общества, ставшего преступной организацией, он обратил мстительный гнев на несогласных. В числе наиболее забавных из этих протестующих отмечу пастора-политика из Сент-Этьена по имени Л. Конт. Он писал на том необычайном языке, какой в ходу у членов Лиги прав человека: «Я надеялся, что это дело окончательно исцелит нас от той нравственной малярии, которой мы страдаем, и очистит республиканское сознание от охватившего ее вируса клерикализма. Ничуть не бывало. Мы теперь более клерикалы, чем когда бы то ни было»[230]. Соответственно, этот суровый человек остался в Лиге! Вот протестантская и буржуазная логика! Ведь нельзя же поручиться, что Лига не может оказаться в чем-либо полезной добрейшим служителям святого Евангелия.

Я потому немного затянул описание этих гротескных происшествий, что они, как мне кажется, способны охарактеризовать моральное сознание тех, кто притязает на управление нами. Отныне установлено, что в зрелой демократии уголовно-политические сообщества, действующие при помощи хитрости, имеют признанное за ними место. Де Рузье думает, что Америке в один прекрасный день

---

228 Селестен Бугле (Célestin Bouglé, 1870–1940) — социолог республиканских взглядов, вице-президент Лиги прав человека. Франсис де Пресансе (Francis de Pressensé, 1853–1914) — президент Лиги прав человека, протестант, публицист, изначально либерал, позже сблизившийся с социалистами, редактор журнала La Vie socialiste и рубрики внешней политики в L'Humanité. — *Прим. ред.*

229 Cahiers de la Quinzaine, 9e de la VI série, p. 9. Во время панамской аферы Ф. де Пресансе был главным сотрудником у Эбрара [главного редактора газеты Le Temps], который, как известно, был одним из тех, кто получил наибольшую выгоду от панамского грабежа. Это не лишило его уважения суровых гугенотов, и Le Temps остается оракулом благоразумной демократии и служителей святого Евангелия.

230 Ibid, p. 13.

удастся избавиться от бедствий, порожденных преступными махинациями ее политиков. Острогорский полагает, что его долгое и тщательное исследование вопроса «о демократии и организации политических партий»[231] позволило ему найти способы избавить современные государства от эксплуатации со стороны различных политических сил. В действительности все его находки стары и бесполезны: нет такого исторического опыта, который позволил бы нам предполагать, что демократию в капиталистической стране можно обеспечить без тех преступных злоупотреблений, какие повсюду замечаются в настоящее время. Когда Руссо требовал, чтобы демократия не допускала существования в ее пределах никаких частных сообществ, он рассуждал исходя из своего знания средневековых республик. Он знал эту историю лучше современников и был поражен огромной ролью, какую играли тогда уголовно-политические сообщества. Он отмечал, что в демократии невозможно примирить разум с существованием подобных сил, но опыт должен был научить нас, что уничтожить их невозможно[232].

III

Предыдущие разъяснения позволят нам понять представления просвещенных демократов и *добрых людей* о значении рабочих профсоюзов.

Вальдека-Руссо часто хвалили за то, что в 1884 году он добился принятия закона о профсоюзах. Чтобы понять, чего ожидали от этого закона, нужно представлять себе, каково было в то время положение Франции: серьезные финансовые затруднения побудили правительство подписать с железнодорожными компаниями грабительские, по оценке радикалов, соглашения; колониальная политика давала повод для ожесточенных нападок и была глубоко непопулярна[233]; было уже хорошо заметно недовольство, которому несколькими годами позже предстояло вылиться в формы буланжизма; выборы 1885 года чуть не принесли большинство консерваторам.

---

231 Моисей Яковлевич Острогорский (1854–1921) — российский политолог, социолог и историк, автор книги «Демократия и организация политических партий» (название в первом издании, 1903 г., позже книга издавалась под названием «Демократия и политические партии»). — *Прим. ред.*

232 Руссо, ставя вопрос абстрактно, по-видимому, отвергал любые виды сообществ, а наши правительства долго опирались на его авторитет, чтобы предоставить все сообщества самим себе.

233 В «Морали», увидевшей свет в 1883 г., Ив Гюйо горячо восстает против этой политики: «Несмотря на катастрофический [двухсотлетний] опыт, мы захватываем Тунис, готовимся пойти в Египет, отправляемся в Тонкин, грезим о завоевании Центральной Африки» (p. 339).

Вальдек-Руссо не был особенно мудрым провидцем, но все же имел достаточно проницательности, чтобы понять опасность, которая могла угрожать республике оппортунистов, и достаточно цинизма, чтобы искать защиты в уголовно-политической организации, способной укротить консерваторов.

Во времена Империи правительство стремилось так управлять обществами взаимопомощи, чтобы контролировать наемных рабочих и часть ремесленников. Впоследствии оно видело в рабочих ассоциациях оружие, способное подорвать авторитет либералов в глазах народа и припугнуть богатые классы, которые ожесточенно сопротивлялись ему с 1863 года. Вальдек-Руссо равнялся на эти образцы и надеялся построить в рабочей среде иерархию, которой управляла бы полиция[234].

В циркуляре от 25 августа 1884 года Вальдек-Руссо разъяснял префектам, что они не должны ограничивать себя чересчур скромной задачей поддержания уважения к закону: они должны пробуждать объединительный дух, «устранять на его пути затруднения, которые не могут не возникнуть из-за неопытности и недостатка привычки к такой свободе», и их роль была бы тем значительнее и полезнее, чем более доверия удалось бы им внушить рабочим. Министр в дипломатичных выражениях рекомендовал им брать на себя моральное руководство над профсоюзным движением[235]: «Хотя на администрацию по закону от 21 марта [1884 года] и не возлагается никаких обязанностей в деле [разрешения крупных экономических и социальных проблем], недопустимо, однако, чтобы она оставалась к ним безучастной, и я думаю, что *долг повелевает ей принять в этом участие* путем предоставления в распоряжение всех заинтересованных лиц своих услуг и преданности делу». Необходимо будет действовать с большой осторожностью, чтобы «не возбудить недоверия», показать этим рабочим ассоциациям, до какой степени правительство заинтересовано в их развитии, руководить ими, «когда им придет время вступить на путь практической жизни». Префектам следовало подготовиться «к этой роли советников и *преданных соратников*

234 Я отметил это в L'Ère nouvelle, mars 1894, p. 339.

235 Как сообщает депутат-социалист Мариус Девез, префект департамента Гар взял на себя такую задачу руководства профсоюзным движением при министерстве Комба (Études socialistes, p. 323). В газете La France du Sud-Ouest от 25 января 1904 г. я нашел заметку, в которой говорится, что префект департамента Ла-Манш, делегированный правительством, супрефект, мэр и муниципалитет провели церемонию официального открытия биржи труда в Шербуре.

посредством основательного изучения законодательства и подобных же организаций, существующих во Франции и за рубежом».

В 1884 году правительство совершенно не предвидело, что профсоюзы могут принять участие в масштабной революционной агитации, и в циркуляре с долей иронии отмечалась «гипотетическая опасность антиобщественного объединения всех трудящихся». Сегодня улыбку вызвала бы скорее наивность человека, которого нам так часто представляли *королем хитрецов*; но чтобы составить себе ясное представление о его иллюзиях, стоит посмотреть, что писали тогда демократы. В 1887 году в предисловии к третьему изданию своей книги «Совершенный» Дени Пуло, опытный промышленник, бывший мэр XI округа и гамбеттист, утверждал, что профсоюзное движение окажется сильнее стачечного. Он полагал, что революционеры не имеют серьезного влияния на организованных рабочих, и видел надежное средство искоренения социализма в начальном школьном образовании. Как почти все оппортунисты того времени, он был гораздо более обеспокоен *черными*, чем *красными*. Даже Ив Гюйо, по-видимому, не был прозорливее Вальдека-Руссо, так как в своей «Морали» (1883) он воспринимает коллективизм как пустое слово; он ополчается на существующее законодательство, которое «имеет целью помешать рабочим объединяться для продажи своего труда по возможно более высокой цене и для отстаивания своих интересов», и ждет, что профсоюзы приведут «к организации оптовой продажи труда». Он яростно нападает на священников и осуждает семейство Шаго за то, что оно принуждают шахтеров Монсо ходить к обедне[236]. Все тогда надеялись на объединение рабочих как на средство подорвать авторитет клерикалов.

Если бы Вальдек-Руссо обладал хоть сколько-нибудь развитой способностью к предвидению, он прежде всего заметил бы, как консерваторы пытались использовать закон о профсоюзах, чтобы руководить восстановлением *социального мира* в деревнях. Несколько лет тому назад много говорили об опасности, которую несет для республики образование аграрной партии[237]. Результат не оправдал надежд тех, кто создавал земледельческие профсоюзы, но он мог бы быть и значительным. Однако Вальдек-Руссо ни на минуту не допускал такой возможности — из его циркуляра даже не видно, чтобы он предвидел, какую материальную пользу должны

236 *Y. Guyot,* La Morale, p. 293, 183–184, 122, 148, 320.

237 *De Rocquigny,* Les Syndicats agricoles et leur Œuvre, p. 42, 391–394.

принести земледелию новые ассоциации[238]. Если бы он представлял себе, что могло произойти, то при написании закона принял бы меры предосторожности. Несомненно, ни составители закона, ни комиссия не поняли всей важности слова «земледельческий», которое введено было в виде поправки по настоянию сенатора Уде от департамента Ду[239].

Под руководством демократов рабочие ассоциации, используя хитрости, угрозы, а иногда и немного насилия, могли оказать величайшие услуги правительству в его борьбе со столь грозными в то время консерваторами. Те, кто недавно превратил Вальдека-Руссо в Отца Родины, не замедлят, конечно, возопить по поводу такой непочтительной интерпретации его политики, но эта интерпретация отнюдь не покажется несправедливой для тех, кто сохранил воспоминание о цинизме, с каким тогда правил человек, которого нам теперь выдают за *великого либерала*: казалось, что во Франции вот-вот должен установиться режим, напоминающий о безумстве, роскоши и жестокости цезарей. Впрочем, как только непредвиденные обстоятельства снова привели Вальдека-Руссо к власти, он поспешил возвратиться к своей старой политике и попытался использовать профсоюзы для борьбы со своими противниками.

В 1899 году уже нельзя было более рассчитывать отдать рабочие ассоциации под руководство префектов, как предусматривал циркуляр 1884 года. Однако их можно было использовать иначе, и Вальдек-Руссо полагал, что делает крайне удачный ход, приглашая в министерство Мильерана. Мильерану удалось утвердиться в качестве вождя социалистов, которые до того были разделены на непримиримые группы, — так почему бы ему было не сделаться *посредником*, который тайно управлял бы профсоюзами, воздействуя на их руководителей? В ход были пущены все средства соблазнения, чтобы усмирить рабочих и возбудить в них доверие к высшим чинам правительства республиканской концентрации.

Невольно вспоминается политика, которой предполагал следовать Наполеон, подписывая конкордат: он понял, что ему не удастся, подобно Генриху VIII, непосредственно воздействовать на церковь. «За отсутствием этой возможности, — говорит Тэн, — он вступает на другой путь, ведущий

238 Это тем более примечательно, что профсоюзы, как отмечено в циркуляре, *способны помочь французской промышленности* в борьбе с иностранной конкуренцией.

239 Законодатели полагали, будто речь идет о том, чтобы предоставить сельским рабочим право объединяться в профсоюзы. Толен заявил от имени комиссии, что никогда и не думал исключать их из сферы действия нового закона (*De Rocquigny*, op. cit., p. 10). Земледельческие профсоюзы обычно служили коммерческими агентствами для владельцев крупных сельскохозяйственных производств.

к той же цели [...] Он не хочет изменять верований своих народов — он с уважением относится к духовным делам и хочет *властвовать над ними, не касаясь их непосредственно*, не вмешиваясь в эту область; он хочет ввести ее в рамки своей политики, но используя воздействие светских отношений»[240]. Так же и на Мильеране лежала обязанность уверить рабочих, что их социалистических убеждений трогать не будут — удовольствуются лишь господством над профсоюзами и их подчинением правительственной политике.

Наполеон говорил: «Вы увидите, какую пользу я сумею извлечь из священников»[241]. Обязанностью Мильерана было всячески удовлетворять самолюбие профсоюзных вождей[242], тогда как префекты должны были склонять хозяев к предоставлению рабочим материальных выгод — расчет был в том, что такая наполеоновская политика должна дать столь же значительные результаты, как и политика в отношении церкви. Глава дирекции культов[243] Дюме добился создания послушного епископата, составленного из людей, которых ревностные католики с презрением называли *лиловыми префектами*, — так почему нельзя было надеяться, допустив в канцелярии министерства торговли ловкого дельца, создать *красных префектов*[244]? Все это было довольно хорошо продумано и вполне соответствовало характеру таланта Вальдека-Руссо, который всю жизнь был горячим сторонником конкордата и любил торговаться с Римом; он не прочь был поторговаться и с *красными* — уже одна оригинальность такого предприятия способна была соблазнить этот падкий на ухищрения ум.

В речи, произнесенной 1 декабря 1905 года, Марсель Самба[245] — который благодаря своему положению лучше многих знал, как обстояли дела при Мильеране, — рассказал несколько историй, совершенно ошеломивших палату. Он сообщил,

---

240 Taine, Le Régime moderne, tome II, p. 10 [vol. 2, p. 613].

241 Ibid., p. 11 [613].

242 Именно это весьма рассудительно отметила г-жа Жорж Ренар в отчете о празднике для рабочих, устроенном Мильераном (*L. de Seilhac,* Le Monde socialiste, p. 308).

243 Дирекция культов в разное время была структурным подразделением разных министерств. — *Прим. ред.*

244 Мильеран уволил прежнего руководителя дирекции труда, который, несомненно, был недостаточно гибок для новой политики. Насколько я знаю, уже доказано, что в те годы в министерстве провели *сбор сведений о морали* профсоюзных борцов — очевидно, с целью узнать, какие средства можно применять для их *консультирования*. Ш. Гийес предал это огласке в Les Pages Libres от 10 декабря 1904 г., и возражения министерства и Мильерана кажутся несерьезными (La Voix du peuple, 18, 25 déc. 1904, 1er janv, 1905, 25 juin, 27 août).

245 Марсель Самба (Marcel Sembat, 1862–1922) — социалист, главный редактор газеты La Petite République, в 1893 г. уступивший этот пост Мильерану и ставший депутатом, в 1914–1916 гг. — министр общественных работ (пост, который в описываемый Сорелем период занимал Мильеран). — *Прим. ред.*

что правительство, желая доставить неприятность парижским муниципальным советникам-националистам и ослабить их влияние на Биржу труда, просило «профсоюзы обратиться к нему с заявлениями, которые должны были оправдать» реорганизацию управления в этом учреждении. В день открытия памятника Далу на площади Нации небольшое возмущение вызвало появление перед официальными трибунами красных знамен. Теперь мы знаем, что это было результатом вышеупомянутых переговоров; префект полиции сильно колебался, но Вальдек-Руссо дал указание не препятствовать шествию с революционными символами. Хотя правительство отрицало всякие сношения с профсоюзами, это не имеет большого значения: одной ложью больше, одной меньше — не все ли равно для политика уровня Вальдека-Руссо?

Разоблачение этих ухищрений показывает нам, что министерство рассчитывало при помощи профсоюзов припугнуть консерваторов. Исходя из этого, нетрудно понять позицию, которую оно занимало во время многих стачек: с одной стороны, Вальдек-Руссо в заявлениях необычайно настойчиво подчеркивал необходимость предоставить полицейскую защиту каждому рабочему, который захочет выйти на смену, несмотря на стачку, даже если такой рабочий найдется один; а с другой, он неоднократно закрывал глаза на насилие. Дело в том, что ему нужно было досадить прогрессистам и напугать их[246], и он собирался оставить за собой право на вмешательство с применением силы, как только его политические интересы потребуют устранения всякого беспорядка. При непрочности своего авторитета он полагал, что может править лишь при помощи устрашения и взятия на себя обязанностей верховного третейского судьи в хозяйственных спорах[247].

Превратить профсоюзы в уголовно-политические ассоциации, служащие демократическому правительству, — таков был план Вальдека-Руссо, начиная с 1884 года. Профсоюзам предстояло сыграть приблизительно такую же роль, какую, как мы видели, играли масонские ложи: последние шпионили за чиновниками, а те должны были угрожать интересам хозяев, недостаточно расположенных к правительству; при этом франкмасоны вознаграждались знаками

246 Можно задаться вопросом, не были ли действия Вальдека-Руссо чрезмерными и не направил ли он правительство по совершенно иному пути, чем намеревался? Мне представляется, что без общего страха закон об ассоциациях не был бы принят, но несомненно, что принятая редакции оказалась гораздо более антиклерикальной, нежели хотел его инициатор.

247 21 июня 1907 г. Шарль Бенуа посетовал в речи, что дело Дрейфуса бросило тень недоверия на *государственный интерес* и заставило правительство обратиться к силам беспорядка, чтобы восстановить в стране порядок.

отличия и милостями, оказываемыми их друзьям, а рабочим разрешалось вырывать у их хозяев прибавки к заработной плате. Эта политика была простой и обходилась недорого.

Чтобы такая система могла действовать надлежащим образом, поведение рабочих должно быть довольно умеренным: нужно не только сдерживать насилие, но и не выдвигать слишком жестких требований. Здесь следует применять те же принципы, что и в отношении взяток, принимаемых политиками: все их одобряют, если ставки не слишком высоки. Деловые люди знают, что существует целое искусство давать взятки, а некоторые маклеры приобрели необычайную ловкость в деле определения размеров комиссии, которую следует предложить чиновнику высшего ранга или депутату, чтобы те содействовали в заключении какого-либо договора[248]. Если финансисты почти всегда вынуждены обращаться к услугам специалистов, то рабочие, совершенно незнакомые со светскими обычаями, тем более нуждаются в посредниках для определения той суммы, какую они, не переходя разумных границ, могут требовать от хозяев.

Мы должны, таким образом, рассматривать посредничество совершенно в новом свете, подходя к нему с истинно научной точки зрения, ведь тогда, не давая себя одурачить абстракциями, мы объясним его при помощи идей, господствующих в буржуазном обществе, которое его изобрело и хочет навязать рабочим. Было бы явным абсурдом зайти к колбаснику и настаивать, чтобы он продал вам окорок по цене ниже установленной, требуя арбитража; но совсем не абсурдно обещать группе хозяев преимущества, которые дает устойчивость заработной платы в течение нескольких лет, а потом запрашивать специалистов, какого вознаграждения достойна такая гарантия, причем вознаграждение может быть значительным, если есть основания рассчитывать, что в течение этого периода дела будут идти хорошо. Вместо того чтобы давать взятку влиятельному человеку, хозяева повышают заработную плату своим же рабочим; с их точки зрения, никакой разницы нет. Что касается правительства, то оно выступает в роли благодетеля народа и надеется на удачные выборы — в этом его собственная выгода: предвыборные преимущества, которые дает политику успешное примирение распри, для него важнее хорошей взятки.

Понятно теперь, почему все политики так восхищаются посредничеством: они не представляют себе никакого договора без взятки. Многие из наших политиков — адвокаты, и клиенты, как правило, учитывают их влияние в парламенте,

248 Полагаю, ни для кого не секрет, что ни одно важное дело не обходится без взятки.

поручая им свои дела. Поэтому какой-нибудь бывший министр юстиции, даже если он не отличается большим талантом, всегда обеспечен хорошо оплачиваемыми делами, так как может воздействовать на судей, недостатки которых он очень хорошо знает и которых может погубить. Крупные адвокаты-политики пользуются большим успехом у финансистов, которым трудно выиграть в суде и которые привыкли раздавать большие взятки и вследствие этого платят истинно по-королевски. Поэтому мир предпринимателей представляется нашим правителям миром авантюристов, игроков и биржевых разбойников. Они полагают, что этот богатый и преступный класс должен быть готовым время от времени удовлетворять требования других социальных групп; в идеальном капиталистическом обществе, как они его понимают, должно происходить *примирение потребностей разных групп под покровительством политиков-адвокатов*[249].

Теперь, когда католики оказались в оппозиции, они тоже были бы не прочь найти опору в рабочих классах. Нет таких льстивых слов, с какими они бы ни обращались к рабочим, чтобы убедить их в выгодах разрыва с социалистами. Католики и сами хотели бы организовать уголовно-политические союзы, как мечтал двадцать лет тому назад Вальдек-Руссо, однако значительных результатов пока не добились. Целью этих профсоюзов должно быть спасение церкви, и они думают, что благонамеренные капиталисты могли бы пожертвовать частью барышей в пользу христианских профсоюзов, чтобы обеспечить успех этой религиозной политики. Недавно один образованный католик, всерьез занятый социальными вопросами, говорил мне, что по прошествии нескольких лет рабочим придется признать неосновательность своих предубеждений против церкви. Я думаю, что он заблуждается совершенно так же, как и

249 Вспомним, как в одном знаменитом романе Леон Доде описывает некоторые черты адвоката Медерба: «Это был странный человек, высокий и тощий, с довольно изящным телом, увенчанным головой дохлой рыбы, с зелеными непроницаемыми глазами и прямыми приглаженными волосами; во всей его внешности было что-то ледяное, застывшее [...] Он избрал профессию адвоката как подходящую для того, чтобы удовлетворять денежные потребности — свои и жены... Он вел прежде всего финансовые дела, выбирая их за большую прибыльность и секреты, которые, занимаясь ими, он мог разузнать. Такие дела ему и доверяли, рассчитывая на его околополитические и околосудебные связи, которые всегда обеспечивали победу в деле. Он требовал баснословных гонораров. *Платили ему за гарантию оправдательного приговора.* Таким образом, этот человек располагал громадной властью [...] Он производил впечатление вооруженного бандита общественной жизни, уверенного в своей безнаказанности» (Les Morticoles, p. 287–288). Очевидно, что многие из этих черт заимствованы у того, кто получил у социалистов прозвище адвоката Эйфеля [в суде по делу о панамской афере Эйфеля защищал Вальдек-Руссо. — *Прим. ред.*], а затем был ими превращен в полубога республиканской концентрации.

Вальдек-Руссо в 1884 году, когда тот смеялся над мыслью о революционной федерации профсоюзов. Но материальные интересы церкви настолько ослепляют католиков, что они способны на любые глупости.

Представления об экономике сближают социал-католиков с самыми подлыми нашими политиками. Ведь клерикалам так же трудно себе представить, что дела могут совершаться иначе, как чьей-либо милостью, кумовством или взятками.

Мне часто приходилось слышать от адвокатов, что священник не в состоянии понять, почему некоторые деяния, не наказуемые по закону, все же преступны; а от нотариуса одного епископа я слыхал, что монастырская клиентура не только привлекательна, но и весьма опасна, так как монастыри часто требуют составлять мошеннические акты. Пятнадцать лет тому назад, когда религиозные конгрегации принялись воздвигать столько пышных памятников, многие удивлялись, что за безумие охватило церковь. Они не знали, что это строительство позволяло целой толпе благочестивых плутов жить за счет церковных богатств. Часто указывали на неосторожность конгрегаций, упорствовавших в ведении длинных и дорогостоящих тяжб с государственным казначейством. Эта тактика позволяла радикалам вести энергичную агитацию против монахов, изобличая жадность тех, кто якобы дал обет бедности. Однако эти тяжбы прекрасно устраивали дела целой армии набожных сутяг. Я едва ли преувеличу, если скажу, что более трети церковного достояния разошлось по рукам такого рода хищников.

В католической среде царит, таким образом, общая бесчестность, которая приводит богомольцев к мысли, что экономические отношения зависят главным образом от прихоти тех, кто ведет кассу. Всякий, кто получает неожиданный доход[250] (а для них всякая капиталистическая прибыль неожиданна), должен поделиться им с теми, кто имеет право на его любовь или уважение: прежде всего со священниками[251], а затем и с их сторонниками. Если он этого правила не соблюдает, то он негодяй, франкмасон или жид, и нет такого насилия, которое было бы недопустимо против подобного приспешника Сатаны. Поэтому, когда

250 Полагаю, что нет людей, менее способных понимать экономику производства, нежели священники.

251 Когда в Турции высокий сановник получает взятку, султан требует, чтобы деньги передали ему, а впоследствии отдает сановнику часть суммы. Размер возвращаемой доли зависит от настроения властителя. Мораль султана сходна с моралью социал-католиков.

священник произносит революционные речи, не стоит придавать значения внешним формам и верить, что у этих пламенных ораторов имеются какие-либо социалистические чувства, — можно только быть уверенными, что капиталисты не проявили достаточной щедрости.

Здесь также придется прибегнуть к посредничеству: нужно будет обратиться к людям с большим жизненным опытом и узнать от них, на какие жертвы должны пойти богачи в пользу бедных сторонников церкви.

IV

Проведенный выше анализ не дает нам основания думать, что теоретики социального мира движутся в сторону создания некой достойной принятия морали. Проверим этот вывод еще одним способом: попытаемся выяснить, способно ли пролетарское насилие приводить к таким результатам, каких напрасно было бы ожидать от мягкой тактики.

Прежде всего нужно заметить, что современные философы, похоже, единодушно требуют, чтобы мораль будущего имела возвышенный характер, отличаясь, таким образом, от мелкой и довольно пошлой католической морали. Главный упрек, с которым обращаются к теологам, связан с тем, что они уделяли слишком много внимания понятию пробабилизма. Для современных философов нет ничего более нелепого (или даже возмутительного), чем пересчитывать мнения за или против какой-либо максимы, чтобы определить, следует ли сообразовать с ней наше поведение.

Профессор Дюркгейм не так давно (11 февраля 1906 года) говорил во Французском философском обществе, что из области *морали* нельзя устранить *священное*, а священное отличается тем, что несоизмеримо с остальными человеческими ценностями. Он признал, что его социологические исследования приводят к выводам, очень близким к заключениям Канта, и утверждал, что утилитарные системы морали недооценивали проблемы долга и обязанности. Я не хочу обсуждать здесь эти положения и цитирую их лишь для того, чтобы показать, до какой степени идея возвышенного подчиняет себе даже авторов, которые по характеру своих работ, казалось бы, менее всего склонны к ее принятию.

Из всех авторов принципы этой морали, которую современность тщетно старалась провести в жизнь, с наибольшей силой выразил Прудон: «Чувствовать и поддерживать человеческое достоинство, — говорит он, — прежде всего, во всем, что касается нас самих, а затем в личности ближнего, и притом без всякой примеси эгоизма, равно как помимо

всякого отношения к божеству или обществу — вот *право*. Быть готовым во всяких обстоятельствах принять на себя со всей энергией, а в случае нужды и против себя самого, защиту этого достоинства — вот *Справедливость*»[252]. Клемансо, несомненно, не применяющий этой морали в собственной жизни, выражал ту же самую мысль, когда писал: «Без достоинства человеческой личности, без независимости, свободы и права жизнь была бы просто животным состоянием, которое не стоит того, чтобы его охранять» (Aurore, 12 mai 1905).

Прудону сделали очень справедливый упрек, такой же, впрочем, как и многим величайшим моралистам: ему сказали, что его правила нравственности великолепны, но обречены на бессилие. В самом деле, опыт, к несчастью, показал нам, что те наставления, которые историки идей называли самыми возвышенными, остаются обычно без всякого влияния. Это очевидно в случае стоиков и так же хорошо заметно в случае кантианства — да и практическое влияние Прудона совсем не кажется ощутимым. Чтобы посмотреть со стороны на те наклонности, против которых возвышает голос мораль, человеку необходима мощная побудительная сила, устанавливающая над его сознанием господство *убеждения*, которое будет воздействовать на него раньше, чем его разумом овладеют соображения расчета.

Можно даже сказать, что все те прекрасные рассуждения, какими авторы надеются заставить человека поступать нравственно, скорее способны увлечь его по наклонной плоскости пробабилизма. Как только мы станем раздумывать над тем, что предстоит сделать, мы волей-неволей задумываемся, нет ли какого-нибудь способа ускользнуть от строгого веления долга. О. Конт предполагал, что человеческая природа в будущем изменится и что мозговые центры, порождающие альтруизм (?), возобладают над создающими эгоизм. Вероятно, он отдавал себе отчет в том, что моральное решение мгновенно и, словно инстинкт, исходит из глубин человеческого существа.

Для объяснения парадоксальности нравственного закона Прудон, как и Кант, иногда вынужден прибегать к схоластике: «Чувствовать себя в других до такой степени, чтобы приносить в жертву этому чувству всякий иной интерес, чтобы требовать к другому такого же уважения, как и к себе самому, и возмущаться против человека недостойного, страдающего от невнимания других, как будто бы забота о достоинстве не касалась его лишь одного, — такая

252 *Proudhon*, De la Justice dans la Révolution et dans l'Église, tome I, p. 216 [vol. 1, p. 414].

способность кажется, на первый взгляд, странной. [...] Всякий человек стремится определить и выдвинуть на первый план собственную сущность, являющуюся его личным достоинством. Из этого следует, что, так как сущность у всех людей одна и та же, каждый из нас чувствует себя одновременно и личностью, и видом; что причиненная обида чувствуется третьими лицами и самим обидчиком так же, как и обиженным, и что вследствие этого возражение имеет общий характер, — в этом-то и состоит Справедливость»[253].

Религиозные моральные системы претендуют на обладание той побудительной силой, которой недостает в системах светских[254], но здесь нужно провести одно различие, чтобы избежать ошибки, которую совершают многие авторы. Большинство христиан не следует истинной христианской морали, той, которую философ считает особой для их религии, — светские практикующие католики заняты прежде всего пробабилизмом, механическими обрядами и действиями, более или менее родственными магии, которые должны обеспечить их благополучие в настоящем и будущем, несмотря на все их прегрешения[255].

Теоретическое христианство никогда не было религией светских людей: учители жизни духовной всегда рассуждали о тех, кто может освободиться от условий обыденной жизни. «Когда Гангрский собор, — говорит Ренан, — объявил в 325 году, что евангельские максимы о бедности, отречении от семьи и девственности не имеют в виду простых христиан, то совершенные[256] создали обособленные поселения, где жизнь по Евангелию, слишком возвышенная для обычных верующих, могла бы осуществляться без всяких послаблений». Ренан верно замечает далее, что «монастырь заменит собой мученичество, чтобы заветы Христа хоть где-нибудь выполнялись»[257], но он недостаточно развивает это сопоставление: жизнь великих отшельников должна быть физической борьбой с силами преисподней,

---

253 Ibid., p. 216–217 [414–415].

254 Прудон считает, что этот изъян характерен для языческой античности: «На протяжении нескольких столетий в обществах, созданных многобожием, имелись обычаи, но морали у них не было никогда. В отсутствие морали, твердо установленной в форме принципов, обычаи в конце концов исчезли» (Ibid., p. 173 [370]).

255 Генрих Гейне полагает, что католичество супруги весьма благотворно для мужа, потому что женщина недолго носит бремя своей вины: после исповеди она «вновь начинает щебетать и смеяться». Кроме того, она не склонна рассказывать о своих проступках (*Гейне Г.* Германия // *Гейне Г.* Собр. соч. в 6 тт. М.: Худ. лит., 1981. Т. 2).

256 «Совершенные» — духовенство у катаров. — *Прим. ред.*

257 См. *Ренан Э.* Марк Аврелий.

преследующими их даже в пустыне[258], и эта борьба служит продолжением противостояния мучеников их гонителям.

Эти факты позволяют нам понять сущность высокоморальных убеждений: они происходят вовсе не из рассуждений и не из воспитания индивидуальной воли, но из состояния войны, в которой люди соглашаются участвовать и которая отражается в определенных мифах. В католических странах монахи ведут борьбу с князем зла, который торжествует в бренном мире и стремится подчинить их своей воле; в странах протестантских маленькие фанатические секты играют роль монастырей. Эти поля сражений и обеспечивают сохранение христианской морали[259], чей возвышенный характер и поныне очаровывает многих и придает ей достаточно блеска, чтобы побуждать общество к созданию бледных подражаний.

Если же рассмотреть не столь выраженное состояние христианской морали, то поражает, насколько сильно она зависит от борьбы. Ле Пле, будучи ревностным католиком, часто противопоставлял (к большому возмущению единоверцев) твердость религиозных убеждений, которую он встречал в странах с разными религиями, расслабленному духовному состоянию, преобладающему в странах, подчиненных исключительно влиянию Рима. Чем яростнее нападают на существующую протестантскую церковь отколовшиеся от нее секты, тем сильнее моральный пыл протестантских народов. Таким образом, убеждение основывается на конкуренции различных вероисповеданий, каждое из которых считает себя армией защитников истины, которым предстоит одолеть армии зла. В таких условиях можно найти и возвышенное, но, когда религиозная борьба ослабевает, на первое место выступают пробабилизм, механические обряды и полумагические приемы.

То же мы можем отметить и в истории современных либеральных идей. Наши предки долго питали почти религиозные чувства к Декларации прав человека, которая теперь нам кажется довольно пошлым сборником отвлеченных, смутных и не имеющих большого практического значения сентенций. Объясняется это тем, что вокруг учреждений, связанных с этим документом, велась ожесточенная борьба. Клерикалы стремились показать основополагающее заблуждение либерализма, организовывали повсюду

---

258 Католические святые часто борются не с абстракциями, а с видениями, которые наделены всеми признаками реального существования. Да и Лютеру пришлось сражаться с дьяволом и бросить в него чернильницу.

259 Ibid., p. 627 [1137–1138].

воинствующие общества, задачей которых было навязать народу и правительству господство церкви, и хвалились, что скоро уничтожат защитников Революции. В то время, когда Прудон писал книгу о Справедливости, это противостояние было далеко от разрешения, потому-то вся книга и написана в воинственном тоне, изумляющем современного читателя, — автор говорит так, словно он ветеран революционных войн, он хочет отомстить сегодняшним победителям, которые грозят уничтожить все завоевания Революции, и предвещает новое, уже закипающее восстание.

Прудон надеется, что столкновение близко, что обе стороны ударят всеми своими силами и что произойдет наполеоновское сражение, которое окончательно уничтожит противника. Он часто говорит языком эпопеи. Он не видит, что его отвлеченные рассуждения покажутся слабыми, когда его воинственные идеи исчезнут. Его душа охвачена кипением, которое определяет ее и придает его мысли скрытый смысл, далекий от любой схоластики.

Та дикая ярость, с какой церковь преследовала книгу Прудона, показывает, что в клерикальном лагере характер и последствия этого конфликта понимали в точности так же, как их понимает он.

Пока над современным сознанием господствовало возвышенное, казалось возможным строить светскую и демократическую систему морали, но в наше время такое предприятие вызовет скорее улыбку. С тех пор как клерикалы уже не внушают страха, все изменилось; с тех пор как либералы уже не воодушевляются прежними воинственными чувствами, либеральных убеждений больше нет. Сегодня все так спуталось, что священники мнят себя лучшими из всех демократов — они избрали Марсельезу своим гимном, и если бы их хорошенько попросили, они зажгли бы праздничную иллюминацию в годовщину 10 августа 1792 года. Ни в том, ни в другом лагере теперь не видно ничего возвышенного, и потому их мораль отличается удивительной низостью.

Каутский, конечно, прав, когда говорит, что в наше время подъем рабочих зависит от их революционного духа: «Напрасно стараются, — говорит он в конце исследования социальных реформ и революции, — посредством моральных проповедей внушить английским рабочим более высокое жизнепонимание и возбудить в них интерес к более благородным стремлениям. Этика пролетариата проистекает из его революционного рвения, из него черпает пролетариат свою мощь, им он облагораживается. Идея революции — вот что вызвало тот изумительный подъем пролетариата из

его глубочайшего принижения»[260]. Очевидно, для Каутского мораль всегда подчинена идее возвышенного.

Социалистическая точка зрения значительно отличается от той, какую мы находим в старой демократической литературе. Наши отцы полагали, что человек тем лучше, чем он ближе к природе, что простой человек подобен дикарю и что вследствие этого чем ниже спускаться по социальной лестнице, тем больше можно встретить добродетели. В подтверждение такого мнения демократы не раз указывали на то, что во время революций беднейшие люди часто показывали пример высшего героизма, — они объясняют это предположением, что безвестные герои были истинными детьми природы. Я же объясняю это тем, что поскольку эти люди были вовлечены в борьбу, которой предстояло окончиться либо полной их победой, либо порабощением, то из самих условий борьбы естественно возникало чувство возвышенного. Во время революций представители высших классов обычно выступают в особенно неблагоприятном свете, ведь они принадлежат к армии, обращенной в бегство, а потому испытывают чувства побежденных, жалких просителей и пораженцев.

В тех рабочих кругах, которые, к удовольствию профессиональных социологов, отличаются *рассудительностью*, конфликты сводятся к спорам из-за материальных интересов, а потому там нет места чему-либо более возвышенному, чем торги сельскохозяйственных профсоюзов с торговцами удобрениями по поводу цен на гуано.

Торги по денежным вопросам никто никогда не считал способными оказывать на людей морализирующее влияние. Опыт торговли скотом мог бы скорее склонить к предположению, что при таких условиях заинтересованные в первую очередь станут восхищаться хитростью, чем добросовестностью — перекупщики не могут похвастаться особенно высокими *моральными качествами*. Перечисляя великие завоевания сельскохозяйственных профсоюзов, де Рокиньи сообщает, что в 1896 году, «когда муниципалитет Марманда вздумал обложить пригоняемый на ярмарку скот *налогом, который скотоводы сочли несправедливым*... то эти последние устроили стачку и перестали снабжать мармандский рынок, так что муниципалитету пришлось уступить»[261]. Вот

---

260 *Каутский К.* Социальная революция. М.: УРСС, 2012. С. 61–62. В другом месте я отметил, что у прежних борцов, которые становятся *благоразумными*, упадок революционной идеи, очевидно, сопровождается упадком морали, как и у священника, утратившего веру (Insegnament sociali, p. 344–345).

261 *De Rocquigny*, op. cit., p. 379–380. Мне было бы любопытно узнать, в чем налог может быть несправедливым — что за тайна, что за *Социальный музей*! Воистину *добрые люди* говорят на особом языке.

вполне мирный подход, принесший крестьянам полезные плоды, но очевидно, что мораль в таком споре ни при чем.

Когда в дело вмешиваются политики, происходит — почти неизбежно — заметное снижение нравственности, так как они ничего не делают даром и действуют лишь при условии, что покровительствуемое объединение войдет в число их сторонников. Так мы оказываемся весьма далеко от возвышенного, на пути, ведущем к приемам уголовно-политических сообществ.

По мнению многих ученых мужей, нельзя не восхищаться переходом от насилия к хитрости, проявляющимся в нынешних стачках в Англии. Тред-юнионы очень желали бы, чтобы за ними было признано право применять угрозы, облеченные в дипломатические фразы, — они хотят, чтобы их не беспокоили в случаях, когда они рассылают по заводам делегатов с поручением внушить рабочим, желающим работать, что для них выгоднее было бы следовать *указаниям* тред-юнионов. Они *соглашаются* выражать свои *пожелания* в такой форме, которая будет вполне ясна для слушателя, но в суде может быть представлена как призыв к солидарности. Признаться, я не понимаю, почему эта тактика, достойная Эскобара, заслуживает такого восхищения. Когда-то католики использовали подобные средства устрашения против либералов, и я очень хорошо понимаю, почему тред-юнионами восхищаются *добрые люди* — но мораль *добрых людей* я вовсе не нахожу достойной восхищения.

Правда, в Англии насилие давно лишено всякого революционного характера. Преследуются ли корпоративные выгоды при помощи кулаков или хитрости, большой разницы между этими двумя методами установить нельзя. Между тем мирная тактика тред-юнионов обнаруживает такое лицемерие, которое лучше было бы оставить *добрым людям*. В странах, где существует понятие о всеобщей стачке, удары, которыми обмениваются во время стачек рабочие и представители буржуазии, имеют совершенно иное значение: их последствия долговременны и могут породить нечто возвышенное.

Я полагаю, что именно к соображениям возвышенного и следует прибегать, чтобы по крайней мере отчасти понять, почему в среде немецкой социал-демократии такое отторжение вызвала доктрина Бернштейна. Немец в необычайной степени был напитан возвышенным: прежде

всего, благодаря литературе о войнах за независимость[262], затем вследствие возрождения вкуса к старым национальным песням, последовавшего за этими войнами, и, наконец, под влиянием философии, которая ставила себе цели, очень далеко отстоящие от обыденных стремлений. Нужно признать также, что победа 1871 года немало способствовала укреплению в немцах всех классов веры в свои силы, какой у нас в настоящее время нет. Сравните, например, немецкую католическую партию с теми мокрыми курицами, которые составляют большую часть сторонников церкви во Франции! Наши клерикалы только и знают, что унижаться перед противниками, и вполне довольны, если только зимой бывает достаточно званых вечеров, — они совершенно не помнят о том, какие услуги им оказывают[263].

Немецкая социалистическая партия приобрела особую силу благодаря идее катастрофы, которую повсюду распространяли ее пропагандисты и к которой очень серьезно относились все то время, что преследования со стороны Бисмарка поддерживали в группах воинственный дух. Этот дух был настолько силен, что массам еще и теперь не удалось понять, что их вожди ни в коем случае не революционеры.

Когда Бернштейн, который был слишком проницателен, чтобы не знать истинного настроения своих друзей из руководящего комитета, возвестил, что нужно отказаться от тех грандиозных чаяний, которые партия успела заронить в души сторонников, это изумило почти всех. Лишь немногие поняли, что заявления Бернштейна были свидетельствами смелости и честности и что их целью было привести слова в соответствие с действительностью. Если впредь следовало довольствоваться социальной политикой, то нужно было вступать в переговоры с парламентскими партиями и министрами — делать в точности то, что делают буржуа. Людям, воспитанным на теории катастрофы, это казалось чудовищным. Ведь до этого они неоднократно осуждали уловки буржуазных политиков, их изворотливости

---

262 Ренан даже писал: «Война 1813–1815 гг. — единственная в нашем веке, в которой было что-то эпическое и возвышенное [...]. Она соответствовала известному идейному движению и имела подлинно интеллектуальное значение. Один участник этих грандиозных битв рассказывал мне, что, когда он проснулся от канонады в первую же свою ночь среди французских объединенных войск в Силезии, ему показалось, что он присутствует на грандиозном богослужении» (Essais de morale et de critique, p. 116 [24]). Вспомним оду Мандзони «Март 1821 года», посвященную «светлой памяти Теодора Кернера, поэта и борца за независимость Германии, павшего в битве под Лейпцигом 18 дня лета MCCCXIII, чье имя дорого всем народам, сражающимся за отечество» [Цит. по: *Мандзони А.* Март 1821 года // Европейская поэзия XIX века. Антология. М.: Худ. лит., 1977. С. 472]. Наши революционные войны носили эпический характер, но о них нет литературы, сравнимой с литературой о войне 1813 г.

263 Дрюмон тысячу раз изобличал эти умонастроения религиозного бомонда.

противопоставляли прямоту и бескорыстие социалистов, указывали на условный характер их оппозиции. Никто бы не поверил, что ученики Маркса могут пойти по стопам либералов. При новой политике — ни героических характеров, ни мыслей о возвышенном, ни твердых убеждений! Мир для немцев перевернулся.

Очевидно, что Бернштейн был тысячу раз прав, когда отказывался поддерживать видимость революции, противоречившую партийной мысли. Он не находил в своей стране таких стихий, какие есть во Франции и в Италии, и поэтому не видел другого средства для удержания социализма на почве действительных отношений, кроме как уничтожения всего, что было обманчивого в революционной программе, в которой разуверились вожди. Каутский, напротив, хотел сохранить завесу, скрывавшую от глаз рабочих истинную деятельность социалистической партии. Благодаря этому он имел большой успех у политиков, но зато более чем кто-либо другой содействовал обострению кризиса немецкого социализма. Сохранить в неприкосновенности революционную идею можно, не разжижая положения Маркса многословными комментариями, но постоянно приспособляя мысль к тем фактам, которые могут принять революционный характер. Сегодня такой результат может дать только всеобщая стачка.

Можно было бы поставить теперь очень важный вопрос: «Почему в некоторых странах акты насилия могут собираться вокруг картины всеобщей стачки и тем самым создавать богатую и возвышенную социалистическую идеологию, и почему они, по-видимому, не способны приводить к такому результату в других странах?» Очень важную роль здесь играют национальные традиции; рассмотрение этой проблемы, вероятно, могло бы пролить яркий свет на происхождение идей, но здесь мы не будем ее касаться.

ГЛАВА VII

Мораль производителей

I. — *Мораль и религия. — Пренебрежение моралью в демократиях. — Внимание «новой школы» к вопросам морали.*

II. — *Беспокойство Ренана о будущем мира. — Его предсказания. — Потребность в возвышенном.*

III. — *Мораль Ницше. — Роль семьи в происхождении морали; теория Прудона. — Мораль Аристотеля.*

IV. — *Гипотезы Каутского. — Сходства духа всеобщей стачки и духа революционных войн. — Страх парламентариев перед этим духом.*

V. — *Рабочий на развитом производстве, художник и солдат революционных войн: желание превзойти всякую меру; забота о точности; отказ от идеи вознаграждения, отмеренного по заслугам.*

I

Полвека тому назад Прудон отмечал необходимость дать народу мораль, соответствующую новым потребностям. Первая глава предварительных замечаний, помещенных в начале книги «О справедливости в революции и церкви», носит такое заглавие: «Состояние нравов в XIX столетии. Вторжение морального скептицизма: общество в опасности. В чем спасение?». В ней можно прочесть следующие пугающие слова: «Франция переживает упадок нравственности. Притом нельзя сказать, что люди нашего поколения хуже своих отцов [...] Когда я говорю об упадке нравственности во Франции, я разумею нечто совершенно иное, а именно утрату веры в собственные принципы. Франция потеряла моральное сознание, совесть и даже самое понятие нравственности. Путем непрерывной критики мы пришли к тому печальному выводу, что справедливое и несправедливое, различие между которыми прежде мы ясно себе представляли, являются лишь условными терминами, неясными и неопределимыми; что все эти слова: Право, Долг, Мораль, Добродетель и пр., — о которых так много говорят с церковной кафедры и в школе, служат лишь прикрытием для необоснованных допущений, пустых утопий и недоказуемых предрассудков; что, таким образом, жизненная практика, руководимая какой-то непонятной боязнью общественного мнения, соображениями приличия, по существу произвольна»[264].

264 *Proudhon*, De la Justice dans la Revolution et dans l'Église, tome I, p. 70 [vol. 1, p. 250–251].

Тем не менее он не думал, что современное общество близко к гибели: он полагал, что со времен Революции человечество приобрело достаточно ясное понятие о справедливости, чтобы справиться с временным состоянием упадка. Такое понимание будущего совершенно обособляет его от того взгляда, который должен был лечь в основу современного официального социализма, равнодушного к морали. «Я утверждаю, что основу той юридической веры... того знания прав и обязанностей, которого мы тщетно ищем повсюду, которым никогда не обладала церковь и без которого невозможно жить, — заложила Революция. Эти основы безотчетно нами управляют и поддерживают нас, но, вполне признавая их в глубине сердца, мы отбрасываем их в силу предрассудка, и эта-то измена самим себе составляет нашу моральную нищету и порабощение»[265]. Он утверждает, что можно просветить умы, дать им то, что он называет «экзегезой Революции», и обращается для этого к истории, стараясь показать, как человечество непрестанно стремилось к Справедливости, как религия была причиной разложения, а «Французская революция, приведя к господству юридического принципа [над принципом религиозным], знаменует собой наступление нового периода, создавая противоположный прежнему порядок вещей, отдельные стороны которого и предстоит в настоящее время определить»[266]. «Что бы ни стало впредь с нашей утомленной расой, — говорит он в конце предварительных замечаний, — потомство когда-нибудь признает, что третий период существования человечества[267] имеет исходным пунктом Французскую революцию, что сущность нового закона была понята некоторыми из нас во всей полноте, что и в практическом применении этого понимания у нас не было большого недостатка и что, помимо всего прочего, гибель тех, кто помогал рождению этих высоких принципов, не

265 Ibid., p. 74 [255]. Под юридической верой Прудон подразумевает здесь троякую веру, которая господствует в семье, договорах и политических отношениях. Первая ее сторона — «представление о взаимном достоинстве [супругов], которое, возвышая их над чувствами, сделает их друг для друга не столь дорогими, сколь святыми, и превратит их плодотворный союз в религию более нежную, чем сама любовь»; вторая сторона, «возвышая души над эгоистическими стремлениями, делает их счастливее от уважения к праву другого, нежели от их собственной удачи»; без третьего постулата «граждане, предоставленные одним лишь соблазнам индивидуализма, останутся, что бы они ни делали, лишь совокупностью обособленных и взаимоотталкивающих существований, которые рассеются, словно прах, при первом же дуновении» (Ibid., p. 72–73 [253]). В строгом смысле юридическая вера, очевидно, является вторым пунктом в этом перечислении.

266 Ibid., p. 93 [274].

267 Две первых — эпохи язычества и христианства.

была лишена величия. В этот час определяется судьба Революция: итак, она жива. Все остальное не способно мыслить. А может ли *живое и мыслящее существо* быть задавлено трупом?»[268]

В предыдущей главе я говорил, что вся доктрина Прудона подчинена революционному воодушевлению и что это воодушевление угасло с тех пор, как в церкви перестали видеть опасного противника. Поэтому неудивительно, что предприятие, которое Прудон считал легким (а именно создать мораль, совершенно свободную от всякой религиозной веры), многим из наших современников кажется очень сомнительным. Подтверждение такого образа мыслей я нахожу в речи, произнесенной Комбом 26 января 1903 года при обсуждении бюджета дирекции культов: «В настоящее время мы считаем моральные идеи, как их представляют церкви, необходимыми. Я лично с трудом представляю себе современное общество состоящим из философов вроде г-на Аллара[269], которым начальное образование дало достаточную защиту от жизненных опасностей и испытаний». Комб не принадлежит к людям с самостоятельными взглядами — он воспроизводил мнение, господствовавшее в его кругу.

Это заявление вызвало в палате много шума; в дебаты вступили все депутаты, мнящие себя философами. Поскольку Комб говорил о поверхностном и ограниченном образовании, которое дают наши начальные школы, Ф. Бюиссон, как великий педагог Третьей республики, счел долгом возразить: «Образование, которое мы даем в начальной школе ребенку из народа, — заявил он, — нельзя назвать половинчатым; напротив, это лучшие плоды цивилизации, собранные на протяжении веков, у различных народов, заимствованные из религий и законодательств всех времен и всего человечества». Такая отвлеченная мораль лишена решительно всякой действенности. Помнится, я когда-то читал в одном учебнике Поля Бера, что основной принцип

268 Ibid., p. 104 [284].

269 Этот депутат произнес резко антиклерикальную речь, в которой я нахожу следующую странную идею: «Иудейская религия была наиболее клерикальной из всех, ей был присущ наиболее сектантский и ограниченный клерикализм». Чуть выше он сказал: «*Не будучи антисемитом*, я делаю евреям лишь один упрек — в том, что они отравили столь возвышенную и широкую арийскую мысль иудейским монотеизмом». Он требовал введения в начальной школе курса истории религий, чтобы подорвать авторитет церкви. По его мнению, социалистическая партия видела в «интеллектуальном освобождении масс необходимую преамбулу к прогрессу и к социальной эволюции обществ». Не следовало ли бы сказать скорее противоположное? Не доказывает ли это рассуждение, что существует свободомыслящий антисемитизм, столь же ограниченный и невежественный, как и антисемитизм клерикальный?

морали опирается на наставления Зороастра и на конституцию III года — я думаю, этого недостаточно, чтобы заставить кого-либо действовать.

Можно предположить, что Университет создавал существующие программы в надежде внушить практическую мораль учащимся путем механического повторения заповедей. Он так настойчиво множит курсы морали, что можно задуматься о применимости в данном случае (с небольшим изменением) известного стиха Буало:

Орех мускатный любите? Его везде так много[270].

Думаю, найдется немного людей, которые столь же наивно верят в свою мораль, как Бюиссон и университетские профессора. Г. де Молинари, как и Комб, полагает, что к религии нужно прибегать, так как она обещает людям награду в мире ином и, таким образом, «обеспечивает справедливость [...] Именно религия на заре человечества возводила здание морали, она его поддерживает, и лишь она одна может это делать. Таковы функции, которые выполняла и продолжает выполнять религия и которые — нравится это поборникам независимой морали или нет — свидетельствуют о ее полезности»[271]. «Нужно обратиться к орудию более могущественному и действенному, чем общественный интерес, чтобы осуществить реформы, необходимость которых доказана политической экономией, а такое орудие можно найти лишь в религиозном чувстве, сопряженном с чувством справедливости»[272].

Г. де Молинари намеренно употребляет смутные выражения. По-видимому, он смотрит на религию так же, как многие современные католики (вроде Брюнетьера): это средство общественного управления, которое должно соразмеряться с потребностями отдельных классов. Представители высших классов всегда полагали, что они менее нуждаются в моральном направлении, чем их подчиненные, и иезуиты завоевали любовь современной буржуазии именно тем, что положили это прекрасное открытие в основу своей теологии. Наш автор различает четыре побудительные причины, способные обеспечить выполнение долга — «силу общества, облеченную в форму правительственного аппарата, силу общественного мнения, силу индивидуальной совести и силу религии», и полагает, что этот

---

270 Цитата из «Третьей сатиры» Буало. Русский перевод Кантемира сохранился не полностью, и этот стих утерян. Сорель, очевидно, имеет в виду, что слово muscade (мускатный орех) здесь можно заменить на morale (мораль) без ритмических нарушений. — *Прим. ред.*

271 *G. de Molinari*, Science et Religion, p. 94.

272 Ibid., p. 198.

духовный механизм заметно отстает от материального[273]. Две первые побудительные причины могут воздействовать на капиталистов, но бессильны на фабрике; для рабочего действенны только две последние движущие силы, и они с каждым днем приобретают все больше влияния ввиду «усиления ответственности тех, на кого возложена обязанность управлять машинами или следить за их работой»[274]; но, по мнению Молинари, силу индивидуальной совести нельзя понимать отдельно от силы религии[275].

Поэтому я думаю, что Молинари недалек от одобрения предпринимателей, которые защищают религиозные учреждения. Правда, он, вероятно, стоял бы за большее разнообразие, чем предлагали некогда Шаго в Монсо-ле-Мине[276].

Социалисты долго относились к морали с большим предубеждением именно из-за этих католических учреждений, которые заводили у себя крупные промышленники. Социалистам казалось, что в нашем капиталистическом обществе мораль служит лишь средством добиваться покорности от рабочих путем поддержания в них суеверного страха. Литература, которой с давних пор увлекается буржуазия, изображает настолько нелепые или даже постыдные нравы, что трудно верить искренности богатых классов, когда они говорят о нравственном воспитании народа.

У марксистов были особые причины относиться с недоверием ко всему, что касалось этики. Пропагандисты социальных реформ, утописты и демократы так много злоупотребляли понятием Справедливости, что создали все основания для того, чтобы смотреть на всякое рассуждение на эту тему как на упражнение в риторике или на софистику, призванную сбить с толку всех интересующихся рабочим движением. Так, Роза Люксембург несколько лет тому назад называла идею Справедливости «старой почтовой клячей, которую много веков подряд седлали все новаторы в отсутствие более надежных средств исторического передвижения, разбитым на ноги Росинантом, на котором таскалось в поисках великого преобразования мира столько Дон-Кихотов истории, не привозя из этих странствий ничего, кроме синяков»[277]. От таких насмешек над фантастической Справедливостью, порожденной воображением

273 Ibid., p. 61.

274 Ibid., p. 54.

275 Ibid., p. 87, 93.

276 Я уже говорил, что в 1883 г. И. Гюйо выступил с резкой критикой Шаго, который поставил рабочих под начало священников и принуждал их ходить к обедне (*Morale*, p. 183).

277 Le Mouvement socialiste, 15 juin 1899, p. 649.

утопистов, иногда слишком легко переходили к грубым шуткам над самой обыденной моралью. Из высказанных официальными марксистами парадоксов на эту тему можно было бы составить довольно гнусный сборник. Особенно отличился в этом деле Лафарг[278].

Главная причина, мешавшая социалистам изучить этические проблемы так, как они того заслуживают, заключалась в долго владевшем их умами демократическом предубеждении, которое заставляло их направлять усилия главным образом на завоевание мест в политических собраниях.

А раз внимание сосредоточено на выборах, приходится подчиниться известным общим условиям, неизбежным для всех партий, в любой стране и во всякое время. Если верить, что будущее мира зависит от избирательных программ, от соглашений между влиятельными лицами, от купли и продажи покровительства, то нельзя сильно заботиться о моральных ограничениях, не позволяющих человеку стремиться к тому, в чем заключается его наиболее явный интерес. Опыт показывает, что во всех странах, где демократия может свободно развиваться сообразно своей природе, господствует подкуп в самом бессовестном виде, причем никто не считает нужным скрывать своего мошенничества: нью-йоркский Таммани-холл всегда называли наиболее совершенным образцом демократической жизни, а в большинстве наших крупных городов встречаются политики, которые ничего более не желали бы, как следовать по стопам американских собратьев. Пока человек верен своей партии, он может совершать лишь небольшие прегрешения, но стоит ему неосторожно выйти из партии, как в нем тотчас же откроют самые постыдные пороки. Нетрудно было бы показать на хорошо известных примерах, что этой удивительной моралью с определенной долей цинизма руководствуются и наши парламентские социалисты.

Демократия, основанная на выборном принципе, имеет очень большое сходство с биржевыми кругами: в обоих случаях нужно рассчитывать на наивность масс, покупать помощь большой прессы и посредством бесконечных хитростей *содействовать фортуне*. Нет большой разницы между финансистом, выступающим на рынке с блестящими предприятиями, которые рухнут через несколько лет, и политиком,

---

278 Например, в Le Socialiste от 30 июня 1901 г. читаем: «Когда в коммунистическом обществе исчезнет *мораль, обременяющая мозг цивилизованных людей*, словно *отвратительный кошмар*, возможно, новая мораль побудит женщин *порхать*, по выражению Ш. Фурье, от мужчины к мужчине, не обрекая себя на то, чтобы быть собственностью единственного самца... В диких племенах, при первобытном коммунизме, чем большему числу любовников женщины дарют свою благосклонность, тем большим почетом они пользуются».

обещающим согражданам целый ряд реформ, которых он не в состоянии завершить[279] и которые воплотятся лишь в кипы бумаг в парламентских канцеляриях. Оба ничего не смыслят в производстве и тем не менее всячески стремятся влиять на него, плохо управлять им и без всякого стыда эксплуатировать: оба ослеплены чудесами современной промышленности и думают, что мир достаточно изобилен, чтобы его можно было разграблять незаметно для производителей. Стричь налогоплательщика так, чтобы он этим не возмущался, — вот и все искусство крупного государственного деятеля и крупного финансиста. Демократы и дельцы обладают исключительным умением добиваться одобрения своих плутней со стороны обсуждающих их действия собраний — при парламентском режиме надувательство так же процветает, как и на собраниях акционеров. Вероятно, именно в силу глубокого психологического сродства, возникшего из схожих методов, те и другие великолепно понимают друг друга: демократия — страна с молочными реками и кисельными берегами, о которой мечтают бессовестные финансисты.

Тошнотворное зрелище, которое представляют эти финансовые и политические хищники[280], объясняет нам давний успех авторов-анархистов: они видели надежду на обновление мира в интеллектуальном развитии индивидов и непрестанно призывали рабочих к самообразованию, к выработке более ясного сознания своего человеческого достоинства и к проявлению преданности товарищам. Такая позиция продиктована их убеждениями — ведь как допустить возможность образования общества свободных людей, если не предполагать, что индивиды уже в настоящее время приобрели способность самостоятельно управлять своими действиями? Политики уверяют, что это совершенно наивная мысль и что люди будут наслаждаться всеми благами, каких они только могут пожелать, как только их лицемерные защитники получат возможность пользоваться всеми преимуществами, даруемыми властью, — для государства, которое возведет на престол редакторов L'Humanité, не будет ничего невоз-

279 Клемансо, отвечая 21 июня 1907 г. Мильерану, сказал ему, что, представив проект пенсий для рабочих, не задумавшись о ресурсах для их обеспечения, он не проявил себя «ни большим политическим мыслителем, ни даже попросту *серьезным человеком*». Возражение Мильерана весьма характерно для спесивого политика-выскочки: «Не говорите о вещах, которых не знаете». Но о чем тогда говорит он сам?

280 Здесь я рад опереться на неоспоримый авторитет Жеро-Ришара, который в La Petite République от 19 марта 1903 г. разоблачал «интриганов, карьеристов, обжор и кутил, [которые] видят в министерской должности один лишь жирный кусок, который им не терпится заполучить», и утверждал, что поэтому они и стремились сбросить Комба. В следующем номере мы видим, что речь шла о друзьях Вальдека-Руссо, противостоявших, как и он сам, удушению конгрегаций.

можного. И тогда, если новые правители сочтут полезным завести свободных людей, они издадут один или два соответствующих милостивых декрета. Но едва ли друзья и компаньоны, субсидирующие Жореса, сочтут это необходимым — с них довольно будет слуг и налогоплательщиков.

«Новая школа» быстро обособилась от официального социализма, признав необходимость улучшения нравов[281], и поэтому у вождей парламентского социализма в моде обвинять ее в наклонности к анархизму. Я лично без всякого затруднения готов признать себя в этом смысле склонным к анархизму, так как парламентский социализм кичится таким же презрительным отношением к морали, какое проявляют самые ничтожные представители поигрывающей на бирже буржуазии.

Иногда «новую школу» упрекают также в возврате к утопическим мечтам. Эта критика показывает, как плохо наши противники понимают произведения социалистов прошлого и современную ситуацию. Прежде авторы стремились выработать такую мораль, которая могла бы воздействовать на чувства светских людей, возбуждая в них симпатию к тем, кого с жалостью называли обездоленными классами, и толкая на некоторые жертвы в пользу несчастных братьев. Авторы того времени представляли себе цех совершенно не в том виде, какой он может иметь в обществе пролетариев, посвятивших себя прогрессивному труду, — они предполагали, что мастерская эта будет похожа на гостиную, в которой дамы собираются за вышиванием, и таким образом обуржуазивали сам механизм производства. Наконец, они приписывали пролетариям чувства, очень похожие на те, какие путешественники XVII–XVIII вв. приписывали дикарям, утверждая, что те добры, наивны и желают подражать людям высшей расы. Основываясь на таких допущениях, нетрудно было измыслить и организацию, несущую с собой мир и благополучие: нужно было лишь облагородить богатый класс и просветить класс бедный. Эти две операции, казалось, было очень легко осуществить — и тогда в этих цехах-салонах, вскруживших голову стольким утопистам, произошло бы желанное слияние[282]. И, конечно, «новая школа» смотрит на вещи не с такой идиллической, христианской и буржуазной точки зрения — она сознает, что прогресс производства требует совершенно не тех качеств, какие можно встретить у людей высших классов.

---

281 Именно это Бенедетто Кроче отметил в La Critica, juillet 1907, p. 317–319. Этот автор хорошо известен в Италии как весьма проницательный критик и философ.

282 В колонии «Новая Гармония», основанной Р. Оуэном, работали мало и плохо, зато увеселений было в избытке. В 1826 г. герцог Саксон-Веймарский был очарован тамошними концертами и балами (Dolléans, Robert Owen, p. 247–248).

Именно вопрос о моральных ценностях, необходимых для усовершенствования производства, и заставляет ее уделять значительное внимание этике.

Поэтому «новая школа» стоит ближе к экономистам, чем к утопистам. Подобно Г. де Молинари, она полагает, что моральное развитие пролетариата ничуть не менее важно, чем материальное усовершенствование орудий производства, для того чтобы двигать современную промышленность на все более высокие уровни развития, достигнуть которых позволяют имеющиеся технические знания. Однако она углубляется в эту проблему гораздо сильнее Молинари, не довольствуясь пустыми разглагольствованиями о религиозном долге[283]; в своей ненасытной жажде реальности она старается добраться до самых корней этого морального совершенствования и узнать, как может *уже сегодня создаваться мораль будущих производителей.*

II

В начале всякого исследования о современной морали нужно задаться следующим вопросом: при каких условиях возможно обновление? Марксисты тысячу раз правы, когда смеются над утопистами и настаивают, что морали не создать умилительными проповедями, остроумными идеологическими построениями и красивыми жестами. Прудон не исследовал этот вопрос и потому впал в глубокое заблуждение относительно стойкости сил, питающих его мораль. Скоро опыт показал, что его предприятие было несостоятельным. Какое же будущее ожидает современный мир, если в нем уже сейчас не скрыты источники новой морали? Если он действительно навсегда потерял нравственность, то жалобы хнычущей буржуазии его не спасут.

Незадолго до смерти Ренан был сильно озабочен моральной будущностью человечества: «Моральные ценности хиреют, это несомненно; самопожертвование почти исчезло; недалек день, когда все объединятся в союзы[284] и место любви и самоотречения займет организованный эгоизм. Начнут вспыхивать странные ссоры. Те два учреждения, которые только и противостояли до сих пор повсеместному исчезновению

283 Г. де Молинари, очевидно, полагает, что людям может быть достаточно естественной религии в духе Ж.-Ж. Руссо и Робеспьера. Сегодня мы знаем, что это средство не имеет моральной действенности.

284 Мы видим, что Ренан не имел и малой доли того почтения к корпоративному духу, которое демонстрируют многие наши сегодняшние идеалисты.

почтительности, — армия[285] и церковь — скоро будут сметены общим потоком»[286]. В этих строках Ренан обнаружил замечательную проницательность в то самое время, когда множество пустозвонов возвещало возрождение идеализма, примирение церкви с современным миром и появление у нее прогрессивных наклонностей. Но Ренан был слишком избалован судьбой, чтобы не быть оптимистом: он верил, что грядущие беды выразятся лишь в необходимости пережить тяжелые дни, и добавлял: «Тем не менее ресурсы человечества безграничны. Что предначертано, то свершится, и не иссякнет *источник живых сил*, что неизменно поднимаются на поверхность».

За несколько месяцев до того Ренан окончил пятый том «Истории израильского народа», и поскольку этот том был издан по рукописи, его мысли там выражены, конечно, грубее и проще, ведь известно, что обычно он очень долго правил гранки. Там мы видим более мрачные предчувствия — автор даже задумывается о гибели человечества: «Если случится так, что эта планета уклонится от исполнения своего долга, то найдутся другие миры, которые в полной мере воплотят программу всякой жизни, гласящую: просвещение, разум, истина»[287]. Грядущее его пугает: «Ближайшее будущее темно. Нельзя быть уверенными, что оно тяготеет к просвещению». Ренан боялся социализма, несомненно, разумея под ним гуманистический вздор, какой ему приходилось слышать в среде глупых буржуа, и поэтому предположил, что католицизм мог бы стать союзником социализма[288].

На той же странице он говорит о возможных расколах в обществе, и это очень важно: «Иудея и греко-римский мир были как бы двумя вселенными, находившимися рядом, но вращавшимися под воздействием противоположных сил... История человечества в отдельных частях движется неодинаково. Трепещите! В эту минуту, может быть, создается религия будущего... помимо нас. О мудрый Кимри, видевший, что делается под землей! Именно там все подготовляется, туда следовало бы заглянуть». Эти слова не могут не нравиться теоретикам классовой борьбы; я вижу в них комментарий к мысли, которую Ренан выскажет несколько позже об «источнике живых сил, что неизменно поднимаются на поверхность»: обновление придет от класса, который трудится в недрах общества,

---

285 Он не предвидел, что во время дела Дрейфуса его зять [Яннис Психарис, греческий писатель и филолог, муж дочери Ренана Ноэми. — *Прим. ред.*] займет непримиримую позицию против армии.

286 *Renan*, Feuilles détachées, p. XIV [943].

287 *Renan*, Histoire du peuple d'Israël, tome V, p. 421 [1517].

288 Ibid., p. 420 [1516].

в подполье, и так же отделяет себя от современности, как иудейство отделяло себя от античного мира.

Что бы ни думали официальные социологи, низшие классы отнюдь не обречены пробавляться той болтовней, какую им преподносят высшие классы, и отрадно видеть, что Ренан возражает против этой нелепой доктрины. Синдикализм задается целью создать истинно пролетарскую идеологию, и, что бы ни говорили буржуазные ученые, исторический опыт, на который ссылается Ренан, указывает нам, что это весьма возможно и в этом, быть может, и состоит спасение мира. Синдикалистское движение развивается действительно в недрах общества, в подполье, и те, кто ему себя посвящает, не производят шума на поверхности — как велика разница между ними и былыми вождями демократии, которые стремились к завоеванию власти!

Они были опьянены надеждой, что исторические случайности в один прекрасный день помогут им сделаться *принцами республики*[289]. В ожидании, когда колесо фортуны повернется в нужную им сторону, они получали моральные и материальные выгоды, какие известность дает всем виртуозам в обществе, привыкшем щедро платить тем, кто его забавляет. Главным мотивом для многих из них была непомерная гордость, и они воображали, что, поскольку их имя должно сиять особым светом в летописях человечества, они могут купить эту будущую славу ценою некоторых жертв.

Современные синдикалисты вполне свободны от всех этих мотивов: у пролетариата нет рабских наклонностей демократии, он нисколько не стремится пресмыкаться перед бывшим товарищем, попавшим в высшие сановники, и млеть от восторга перед туалетами министерских дам[290]. Люди, посвящающие себя делу революции, знают,

---

289 Вся демократия воплощена в изречении г-жи Флокон: «Это мы — принцессы». Демократы обожают наблюдать, как царскими почестями осыпают какого-нибудь Феликса Фора, персонажа столь смешного, что Жозеф Рейнак сравнил его с *мещанином во дворянстве* (Histoire de l'affaire Dreyfus, tome IV, p. 552).

290 Парламентский социализм твердо верит в значение хороших манер, в чем можно убедиться, прочтя многочисленные статьи Жеро-Ришара. Приведу наугад несколько примеров. 1 июня 1903 г. в La Petite République он заявляет, что сербская королева Наталья должна «вспомнить о приличиях», так как ездила в Обервилье на проповедь отца Кубе [о. Стефен Кубе — иезуитский священник-патриот, выступавший с проповедями на политические темы. — *Прим. ред.*], и требует, чтобы ей сделал выговор квартальный полицейский комиссар. 26 сентября Жеро-Ришар возмущается грубостью и невежеством нравов адмирала Марешаля. Социалистический протокол полон загадок: жены у граждан-социалистов — то дамы, то гражданки; в обществе будущего дело дойдет и до споров за табуреты, как в Версале [согласно версальскому этикету, привилегией сидеть на табурете (раскладном стуле) в присутствии членов королевской династии обладали не все придворные. — *Прим. ред.*]. 30 июля 1903 г. в газете L'Autorité Кассаньяк смеется над Жеро-Ришаром, порицавшим его за несоблюдение правил хорошего тона.

что им всегда придется жить в очень скромных условиях. Они ведут организационную работу, не привлекая ничьего внимания, и самый последний писака, марающий бумагу для L'Humanité, пользуется несравненно большей известностью, чем борцы Конфедерации труда. Для огромного большинства французской публики Гриффюэль никогда не будет такой же знаменитостью, как Руане[291]. Синдикалистам нечего надеяться ни на материальные выгоды, ни на удовлетворение, какое могла бы дать им слава. Они всецело полагаются на движение масс и совершенно не рассчитывают на наполеоновскую славу, предоставляя буржуазии наивную веру в великих людей.

И это хорошо, потому что от того, что организация пролетариата происходит в тени, развитие его становится только устойчивее. Политики-социалисты не любят занятий, не приносящих славы (а следовательно, и прибылей), поэтому они совершенно не расположены заниматься нуждами профессиональных союзов, которые хотят оставаться пролетарскими организациями, — вместо этого они красуются на парламентской трибуне, и это, как правило, не влечет за собой дурных последствий. Те же, кто действительно принимает участие в рабочем движении, являют собой пример того, что всегда считалось величайшей добродетелью, и в самом деле не могут получить ни одного из тех благ, которые в буржуазном мире считаются наиболее желательными.

И если история, как утверждает Ренан[292], вознаградит за безропотное самоотречение борцов, которые без всяких выгод для себя вершат великое дело истории, то для нас это будет еще одно основание верить в пришествие социализма, так как он представляет собою высший нравственный идеал, какой когда-либо знало человечество. В таком случае это не новая религия выковывается под землей без помощи буржуазных мыслителей, а *нарождающаяся добродетель*, которой не способны понять буржуазные интеллектуалы; а между тем она может спасти цивилизацию, как надеялся Ренан, но лишь при полном устранении того класса, в среде которого он жил.

---

291 Виктор Гриффюэль (Victor Griffuelhes, 1874–1922) — рабочий, синдикалист, в 1901–1909 гг. генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда. Гюстав Руане (Gustave Rouanet, 1855–1927) — редактор La Revue socialiste, также писал для L'Humanité, в 1893–1914 гг. депутат, входивший в группу парламентариев-антисемитов. — *Прим. ред.*

292 Renan, op. cit., tome IV, p. 267 [1167].

Рассмотрим теперь пристальнее те причины, которые заставляли Ренана бояться разложения буржуазии[293]. Особенно его поражал упадок религиозных идей: «Если из мира исчезнет религия, то наступит колоссальное моральное, *а может быть, и интеллектуальное* падение. Мы можем обходиться без религии, потому что за нас ею обладают другие. Того, кто не верует, увлекает за собой более или менее верующая масса; но как только у масс не будет больше порыва, даже храбрецы вяло пойдут на приступ». Ренана страшит отсутствие возвышенного. Как все старики в дни печали, он думает о своем детстве и добавляет: «Ценность человека определяется в зависимости от того религиозного чувства, какое он получает от своего первоначального воспитания и которое осеняет его в течение всей его жизни». Он жил тем возвышенным, что преподала ему мать-христианка, ведь, как мы знаем, г-жа Ренан была женщина возвышенного характера. Но источник возвышенного иссякает: «Люди религиозные живут мечтой. Мы живем отражением мечты. *Чем же будут жить после нас?*»[294]

По своему обыкновению, Ренан старается смягчить те печальные перспективы, которые ему смутно подсказывает проницательность. В этом он похож на многих французских авторов, которые, желая нравиться легкомысленной публике, никогда не осмеливаются добираться до дна поднимаемых жизнью вопросов[295]. Он не хочет пугать своих милых поклонниц и поэтому прибавляет, что религия не должна быть непременно отягчена догмами, как христианство, — достаточно одного религиозного чувства. После него не было недостатка в болтунах, которые занимали нас разговорами об этом неопределенном религиозном чувстве, которое будто бы способно заменить стремительно разрушающиеся положительные религии. Ф. Бюиссон сообщает, что останется «не религиозная доктрина, а религиозное переживание, которое, ничуть не противореча науке, искусству или морали, будет способствовать лишь новому объединению их в чувстве глубокой гармонии с жизнью

---

293 Ренан отметил один симптом упадка, на котором он, однако, слишком мало настаивал и который, очевидно, не слишком впечатлил его читателей: его раздражали суетливость, оригинальничанье и наивные преувеличения молодых метафизиков: «Но, милые мои дети, бесполезно так ломать себе голову ради того, чтобы лишь сменить одно заблуждение на другое» (*Feuilles détachées*, p. X [941]). Такая суетливость, приобретающая сегодня либо социологический, либо социалистический, либо гуманитарный оттенок, есть верный признак внутреннего кризиса.

294 Ibid., p. XVII–XVIII [944].

295 Брюнетьер упрекает в этом французскую литературу: «Если вы хотите знать, почему, например, Расин или Мольер не достигли той глубины мысли, какую мы находим у Шекспира или у Гете... то ищите женщину, и вы обнаружите, что виною здесь — влияние салонов и женщин» (Évolution des genres, 3e édition, p. 128).

Вселенной»[296]. Если глаза мои мне не изменяют, это образец тройной чепухи.

«Чем будут жить после нас?» Вот великая задача, которую поставил Ренан и которой не разрешить буржуазии. Если бы на этот счет оставались какие-либо сомнения, то глупости, излагаемые официальными моралистами, показали бы, что упадок буржуазии отныне неизбежен. Никакие соображения о гармонии во Вселенной (даже если одушевить эту Вселенную) не могут дать людям той смелости, которую Ренан сравнивает с мужеством солдата, идущего на приступ. Возвышенное в буржуазии умерло, и потому она обречена больше не иметь морали[297]. Ликвидация дела Дрейфуса, из которой дрейфусары, к великому негодованию *полковника Пикара*[298], сумели извлечь столько пользы, показала, что возвышенное в буржуазном понимании есть биржевая ставка. В этом деле обнаружились все интеллектуальные и моральные изъяны класса, пораженного безумием.

III

Прежде чем выяснять, каких качеств требует от свободных производителей современная экономика, мы должны проанализировать составные части морали. Философам всегда непросто разобраться в этих этических проблемах, так как они сталкиваются с невозможностью свести к единству идеи, бытующие одновременно у какого-либо класса, и тем не менее воображают, что их обязанность — сводить все к единству. Чтобы скрыть от самих себя основополагающую разнородность всякой просвещенной морали, они прибегают к бесконечным уловкам: то относят все, что их смущает, к разряду исключений, заимствований или пережитков, то топят действительность в потоках смутных терминов, а чаще всего сочетают оба этих средства, чтобы основательнее запутать

---

296 Questions de morale (лекции нескольких профессоров) в Bibliothèque des sciences, p. 128.

297 Прошу обратить внимание на чрезвычайную осторожность, какую являет Рибо в «Психологии чувств» по поводу эволюции морали. По аналогии с другими чувствами он, казалось бы, должен был сделать вывод об эволюции к чисто интеллектуальному состоянию морали и исчезновению ее действенности — но Рибо не осмелился сделать такого вывода ни о морали, ни о религии.

298 Я имею в виду статью, опубликованную в La Gazette de Lausanne 2 апреля 1906 г., довольно большой отрывок из которой приводит La Libre Parole (см. *Joseph Reinach*, op. cit., tome VI, p. 6). Спустя несколько месяцев после того, как я написал эти строки, сам Пикар [Жорж Пикар (Georges Picquart, 1854–1914) — один из главных сторонников Дрейфуса, попытавшийся разоблачить майора Эстергази. — *Прим. ред.*] сделался объектом чрезвычайных почестей; он не справился с превратностями парижской жизни, которые сражали и людей гораздо более сильных.

вопрос. Я полагаю, напротив, что *составить верное представление о той или иной совокупности в истории идей можно, лишь попытавшись вскрыть все заключенные в ней противоречия*. Это я и сделаю, взяв за исходную точку установленное Ницше известное противопоставление между двумя группами моральных ценностей: об этом противопоставлении много писали, но так и не изучили его надлежащим образом.

А. — Ницше, как известно, превозносил моральные ценности, созданные господами — высшим классом воинов, которые в походах пользуются полной свободой от всякого общественного принуждения, возвращаясь к звериной простоте сознания и становясь торжествующими чудовищами, подобными «похотливо блуждающей в поисках добычи и победы белокурой бестии», причем «этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу». Чтобы правильно понять этот тезис, не следует слишком строго придерживаться порой намеренно преувеличенных формулировок — нужно смотреть на исторические факты: автор указывает нам, что он имеет в виду «римскую, арабскую, германскую, японскую знать, *гомеровских героев*, скандинавских викингов».

Именно о гомеровских героях стоит задуматься, чтобы понять, что хотел сказать Ницше современникам. Не стоит забывать, что он преподавал греческий язык в Базельском университете и обрел известность благодаря книге, прославляющей греческий гений («Рождение трагедии из духа музыки»). Он замечает, что даже в период расцвета высокой культуры греки сохраняли память о своем былом темпераменте *господ*: «Перикл говорит...: „Ко всем странам и морям проложила себе путь наша смелость, всюду воздвигая себе непреходящие памятники в хорошем и плохом“». К героям легенд, к греческой истории применимо все, что удивляет его в «этой смелости благородных рас, безумной, абсурдной, внезапной в своих проявлениях... их равнодушии и презрении к безопасности, телу, жизни, удобствам». И разве не специально Ахилла из «Илиады» имеет в виду Ницше, когда говорит «об ужасной веселости и глубине радости, испытываемой [героями] при всяческих разрушениях, всяческих сладострастиях победы и жестокости»[299]?

Именно на тип воина классической Греции намекает Ницше, когда пишет: «Предпосылкой рыцарски-аристократических суждений ценности выступает мощная телесность,

299 [Цит. по: *Ницше Ф.* Генеалогия морали, в: Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 428. М., 1990.] *Nietzsche*, Généalogie de la morale, trad. franç. p. 58–59 [52]

цветущее, богатое, даже бьющее через край здоровье, включая и то, что обусловливает его сохранность, — войну, авантюру, охоту, танец, турниры и вообще все, что содержит в себе сильную, свободную, радостную активность»[300].

Очень древний тип, тип ахейский, воспетый Гомером, — не просто воспоминание, на протяжении истории он неоднократно возрождался. «В эпоху Ренессанса произошло блистательно-жуткое пробуждение классического идеала, преимущественного способа оценки всех вещей; в суматохе после великой Революции случилось самое чудовищное, самое неожиданное: сам античный идеал выступил *во плоти* и в неслыханном великолепии перед взором и совестью человечества... явился Наполеон, этот самый единоличный и самый запоздалый человек из когда-либо бывших»[301].

Я думаю, что если бы Ницше не был так захвачен воспоминаниями профессора-филолога, он увидел бы, что этот тип *господина* существует и поныне: именно он обеспечивает необычайное величие Соединенных Штатов. Ницше был бы изумлен поразительным сходством между способным на любую работу янки и древнегреческим мореком, который был то пиратом, то переселенцем или купцом, и, конечно, провел бы параллель между античным героем и человеком, бросающимся на завоевание Дальнего Запада[302]. Де Рузье великолепно обрисовал тип *господина*: «Чтобы сделаться и остаться американцем, нужно смотреть на жизнь *как на борьбу, а не как на удовольствие*, искать в ней прежде всего победоносных усилий, энергичной и продуктивной деятельности, а не утех и не досуга, украшенного различного рода искусствами и утонченностями, свойственными другим обществам. Повсюду... мы убеждались, что главная составляющая американского типа, ведущая его к успеху, — это моральная сила, личная энергия, энергия деятельная и творческая»[303]. Такое же глубокое презрение, какое было у грека по отношению к варвару, янки питает к иностранному рабочему, который не делает никаких усилий, чтобы стать настоящим американцем. «Многие из этих людей были бы лучше, если бы мы брали их под опеку, — сказал французскому путешественнику старый полковник,

---

300 *De Rousiers*, La Vie americaine. L'éducation et la société, p. 325.

301 [Указ. соч. С. 436-437.] Ibid., p. 78–80 [69–70].

302 П. де Рузье замечает, что социальная среда, люди, ведущие крупные дела, во всей Америке приблизительно одинаково; но «именно в западных областях ярче всего обнаруживаются достоинства и недостатки этого необычайного народа... *здесь-то и находится ключ ко всей общественной системе*» (La Vie américaine, Ranches, fermes et usines, p. 8–9; 261).

303 *De Rousiers*, La Vie americaine. L'éducation et la société, p. 325.

ветеран гражданской войны, — но мы представляем собой расу-повелительницу», — а один лавочник в Потсвилле назвал при нем пенсильванских шахтеров «неразумным народом»[304]. Ж. Бурдо отмечает странное сходство между идеями Э. Карнеги и Рузвельта, с одной стороны, и идеями Ницше, с другой: первый сокрушался о трате денег на поддержку неумелых, а второй приглашал американцев сделаться завоевателями, расой хищников[305].

Я не из тех, кто полагает, что ахейскому типу, воспетому Гомером, — типу неукротимого героя, верящего в свои силы и ставящего себя выше законов, — в будущем суждено исчезнуть. Те, кто верил в его скорое исчезновение, считали гомеровские ценности несовместимыми с другими ценностями, происходящими из совершенно иных оснований. Эту ошибку допустил Ницше, и ее трудно избежать всякому, кто верит в необходимость единства мысли. Совершенно очевидно, что свобода оказалась бы под серьезной угрозой, если бы людям вздумалось считать гомеровские ценности (очень близкие к корнелевским) свойственными лишь варварским народам. Многие моральные проблемы перестали бы толкать человечество вперед, если бы какой-нибудь бунтарь не способствовал самоуглублению народа. И искусство, которое тоже чего-нибудь да стоит, потеряло бы при этом прекраснейший цветок из своего венка.

Философы не склонны признавать за искусством право поддерживать культ «воли к власти». Им кажется, что они должны давать художникам уроки, а не учиться у них, и полагают, что в поэзии имеют право на изображение лишь чувства, получившие на то патент от университетов. Искусство, как и экономика, никогда не хотело подчиняться требованиям идеологов — оно позволяет себе нарушать их планы социальной гармонии. Человечество слишком сжилось со свободой искусства, чтобы захотеть подчинить его изготовителям социологических пошлостей. Марксисты привыкли к тому, что идеологи понимают все навыворот, и должны наперекор своим врагам смотреть на искусство как на действительность, порождающую идеи, а не как на приложение идей.

В. — Ценностям, созданным *господами*, Ницше противопоставляет систему, построенную жреческими

---

304 *De Rousiers*, La Vie américaine, Ranches, fermes et usines, p. 303–305.

305 *J. Bourdeau*, Les Maîtres de la pensée contemporaine, p. 145. С другой стороны, автор сообщает, что «Жорес весьма удивил женевцев, объяснив им, что герой Ницше, сверхчеловек, есть не кто иной, как пролетариат» (p. 139). Мне не удалось получить сведений об этой лекции Жореса — будем надеяться, что когда-нибудь он ее опубликует, к большой нашей радости.

кастами, — аскетический идеал, который он бесконечно осыпает ругательствами. История этих моральных ценностей гораздо более туманна и запутанна, по сравнению с историей более ранних ценностей. Немецкий автор пытается найти основы аскетизма в причинах физиологического свойства, которые я не стану здесь рассматривать. Он, несомненно, ошибается, приписывая тут преобладающую роль евреям — древнему иудаизму едва ли был присущ аскетизм: как и в других семитских религиях, большое значение в нем придавалось паломничеству, постам, молитвам, произносимым в бедной обстановке, а древнееврейские поэты воспевали надежду на отмщение, которая теплилась в сердцах гонимых, но до II века нашей эры евреи требовали вооруженного реванша[306]; кроме того, семейная жизнь была для них крайне важна и монашеский идеал никогда не мог с ней соперничать.

Как бы ни была проникнута христианством наша современная цивилизация, очевидно, что даже в Средние века она подвергалась чуждым церкви влияниям, так что аскетические ценности мало-помалу видоизменились. Те ценности, к которым более всего тяготеет современный мир, считая их *свойствами подлинной добродетели*, воплощаются не в монастырях, а в семье. Уважение к человеческой личности, половая верность и забота о слабых составляют элементы морали, которой гордятся все люди с возвышенной душой; мораль вообще очень часто к этому и сводится.

Если критически рассмотреть ставшие сегодня многочисленными произведения, посвященные браку, окажется, что серьезные реформаторы стремятся так усовершенствовать семейные отношения, чтобы они как можно лучше воплощали эти свойства добродетели: так, требуют, чтобы супружеские проступки не выставлялись напоказ в судах, чтобы брачный союз расторгался в случаях, когда в нем уже нет верности, чтобы опека со стороны главы семейства не уклонялась от моральной цели, превращаясь в эксплуатацию, и пр.

С другой стороны, любопытно наблюдать, до какой степени церковь не признает этих ценностей, созданных христианско-классической цивилизацией: в браке она видит в первую очередь сочетание финансовых и светских интересов; она крайне снисходительно относится к любовным связям, не хочет допускать расторжения брака в тех случаях, когда совместная жизнь стала адом, и не придает значения долгу преданности. Священники как нельзя лучше

306 Необходимо всегда иметь в виду, что средневековые евреи, ставшие чрезвычайно кроткими, больше напоминают христиан, чем собственных предков.

умеют добывать богатое приданое для обедневшей знати, так что дошло до обвинений церкви в понимании брака как союза дворянчиков-сутенеров с мещанками, низведенных до роли проституток. Если хорошо заплатить, церковь находит непредвиденные причины для развода и изыскивает средства для расторжения тягостных союзов под самыми смехотворными предлогами. «Да разве может, — иронически спрашивает Прудон, — серьезный человек, значительный ум, примерный христианин заботиться о том, чтобы жена его любила? [...] Если муж, требующий развода, или жена, добивающаяся раздельного жительства, сошлются на невыполнение супружеского долга — это еще куда ни шло, тогда может последовать разрыв, поскольку не оказана та услуга, ради которой заключался брак»[307].

Наша цивилизация сосредоточила почти всю мораль в ценностях, производных от ценностей нормально построенной семьи, и отсюда вытекают два очень важных следствия: 1) встал вопрос, стоит ли рассматривать семью как точку применения моральных теорий или же вернее будет считать мораль основой этих теорий; 2) стало казаться, что церковь, перестав разбираться в вопросах полового союза, сделалась несостоятельной и в области морали. Именно к таким выводам склонялся Прудон: «Природа даровала нам разделение полов как орудие Справедливости [...] Осуществление Справедливости и есть высшая цель этого разделения, а деторождение с его последствиями играет здесь лишь второстепенную роль»[308]. «Брак, являясь по своей сути и назначению *орудием человеческого права*, живым отрицанием права божеского, находится в формальном противоречии с теологией и церковью»[309].

Любовь, в силу порождаемого ею воодушевления, может создавать возвышенное, без которого не было бы действенной морали. В конце книги о Справедливости Прудон посвятил роли женщины страницы, которые никогда не будут превзойдены.

С. — Наконец, нам нужно рассмотреть те моральные ценности, которые не укладываются в классификацию

---

307 *Proudhon*, op.cit., tome IV, p. 99 [vol. 4, p. 103]. Известно, что теологам не слишком нравится, когда любознательные обращаются к их авторам относительно супружеского долга и законного способа его исполнять.

308 Ibid., p. 212 [264].

309 *Proudhon*, Œuvres, tome XX, p. 169 [213]. Эти слова извлечены из его ходатайства перед парижским судом — после того как его приговорили к трехлетнему заключению за книгу о Справедливости. Стоит отметить, что Прудона обвинили за нападки на брак! Это дело принадлежит к числу бесчестий, опозоривших церковь при Наполеоне III.

Ницше и касаются сферы *гражданских отношений*. Вначале в установление этих ценностей была впутана магия. У евреев до последнего времени можно было встретить смесь гигиенических предписаний, правил половой жизни, советов, касающихся порядочности, доброжелательности и национальной солидарности, и все это было облечено в магические суеверия. Эта смесь, при всей ее странности для философа, оказала весьма благоприятное влияние на их нравственность, пока они сохраняли свой обычный образ жизни; и даже теперь они еще отличаются особой аккуратностью при исполнении договоров.

Идеи современных моралистов в очень значительной мере заимствованы из Греции времен упадка. Аристотель, живший в переходную эпоху, сочетал старые ценности с теми, которым предстояло становиться все более влиятельными. В это время самые видные горожане перестали заботиться о войне и производстве, стремясь обеспечить себе приятное существование. Важнее всего было установление дружественных отношений между благовоспитанными людьми, и поэтому основным правилом отныне станет пребывание в правильной среде: новая мораль впредь будет усваиваться главным образом через привычки, которые молодой грек может приобрести, вращаясь в просвещенном обществе. Можно сказать, что здесь мы находимся в области морали потребителей. Неудивительно, что католические теологи все еще превозносят мораль Аристотеля, так как и они становятся на ту же потребительскую точку зрения.

В античной цивилизации мораль производителей могла быть лишь моралью рабовладельца, и в эпоху, когда философия составила опись греческих обычаев, этой морали не сочли нужным уделить много места. Аристотель утверждает, что не надо очень больших и глубоких познаний для того, чтобы пользоваться трудом рабов: «Ведь то, что раб должен уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать. Поэтому у тех, кто имеет возможность избежать таких хлопот, управляющий берет на себя эту обязанность, сами же они занимаются политикой или философией»[310]. Ниже он пишет: «Ясно, что господин должен давать рабу импульс необходимой для него добродетели, специально ему присущей, но что в обязанность господина вовсе не входит обучать раба этой добродетели»[311]. Здесь мы, очевидно, ступаем на почву интересов городского потребителя,

310 Цит. по: *Аристотель*. Собр. соч. в 4-х тт., т. 4, с. 387. М., 1984. Перевод С.А. Жебелева. Политика, кн. I, гл. II, 23.

311 Там же, с. 401. Политика, кн. I, гл. V, 11.

для которого обязанность уделять хоть малейшее внимание условиям производства есть ненужная тягость[312].

Что же касается раба, то ему нужно совсем немного добродетели: «Он должен обладать добродетелью в слабой степени, именно в такой, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба исполняемым работам»[313]. «Для рабов больше, чем для детей, нужно назидание»[314], хотя некоторые и полагают, что рабы лишены рассудка и годятся лишь для исполнения приказов.

Легко заметить, что современным авторам очень долго казалось, что о трудящихся людях не скажешь больше, чем сказал Аристотель: им нужно отдавать приказания, обращаться с ними ласково, как с детьми, и смотреть на них, как на пассивные орудия, избавленные от необходимости мыслить. Революционный синдикализм был бы невозможен, если бы рабочим в самом деле была присуща такая *мораль слабых*, а государственный социализм, напротив, вполне приспособился бы к ней, так как в основе его лежит разделение общества на класс производителей и класс мыслителей, применяющих к производству научные данные. Единственное различие между этим мнимым социализмом и капитализмом заключалось бы в применении более хитроумных средств для поддержания дисциплины на производстве.

В настоящее время официальные моралисты от Левого блока стараются создать средства морального руководства, способные заменить ту смутную религию, которую Молинари считает необходимой для капитализма. Ведь вполне очевидно, что религия с каждым днем теряет влияние на народ — нужно отыскать что-то другое, если мы хотим предоставить интеллектуалам средство жить в стороне от производительной работы.

---

312 Ксенофонт, который во всем представляет значительно опережающую свое время концепцию греческой жизни, озабочен вопросом воспитания хорошего управляющего фермы (*Ксенофонт*. Домострой // Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993. С. 237–243). Маркс отмечает, что Ксенофонт говорит о разделении труда на производстве, что как будто свидетельствует о буржуазных наклонностях (*Маркс К.* Капитал. С. 379). Я же полагаю, что это признак наблюдателя, понимающего важность производства, чего совершенно не понимал Платон. В Ксенофонтовых «Воспоминаниях о Сократе» (книга II, 7) Сократ советует одному гражданину, имеющему на содержании многочисленную родню, наладить вместе с родственниками производство; Ж. Флак видит в этом новшество (лекция 19 апреля 1907 г.) — по-моему, это скорее возвращение к старинным обычаям. Историки философии, на мой взгляд, весьма враждебно настроены к Ксенофонту, потому что он — слишком древний грек; Платон подходит им больше, ведь он — аристократ, а значит, более равнодушен к экономике.

313 Там же, с. 401. Политика, кн. I, гл. V, 9.

314 Там же, с. 401. Политика, кн. I, гл. V, 11.

IV

Теперь мы приступим к поискам решения наиболее сложной проблемы из всех, какие только может затронуть автор-социалист: мы рассмотрим вопрос, как можно мыслить переход современных людей к положению свободных производителей, работающих на фабрике без хозяев. Нужно уточнить, что мы ставим этот вопрос не для общества, уже ставшего социалистическим, а для нашего времени и для переходного состояния, неизбежного на пути между тем и другим строем, — если не сделать этого ограничения, можно впасть в утопию.

Каутский очень интересуется вопросом, что произойдет на другой день после социальной революции, но предлагает решение, которое кажется мне таким же слабым, как и решение Г. де Молинари. Если профсоюзы достаточно сильны, чтобы убедить нынешних рабочих выходить с фабрик и приносить большие жертвы во время стачек, направленных против капиталистов, то у них, вероятно, хватит силы, чтобы снова привести рабочих на фабрику и добиться от них превосходной и бесперебойной работы, если будет признано, что этой работы требуют интересы всего общества[315]. Впрочем, Каутский, по-видимому, не особенно верит в превосходство своего решения.

Совершенно очевидно, что никоим образом нельзя сравнивать дисциплину, побуждающую рабочих к общей приостановке работы, с дисциплиной, которая может заставить их с большей сноровкой управлять станками. Ошибка происходит от того, что Каутский гораздо больше идеолог, нежели ученик Маркса: он любит рассуждать отвлеченно и думает, что приблизился к разрешению вопроса, когда ему удается произвести некий наукообразный набор слов, — глубинные основания действительности не так его интересуют, как схоластический декор. Впрочем, и многие другие совершали ту же ошибку, смешивая различные значения слова «дисциплина» — ведь его одинаково употребляют для обозначения как правильного поведения, происходящего от рвения глубокой натуры, так и внешнего принуждения.

В истории старинных корпораций не найти пригодных здесь сведений: корпорации, похоже, никогда не были источником прогрессивного движения, а служили для поддержания заведенного порядка. Если внимательно рассмотреть английский тред-юнионизм, не остается сомнения,

315 *Karl Kautsky*. La Révolution sociale, trad. franç., p. 153.

что он также сильно проникнут промышленной рутиной, происходящей от корпоративного духа.

Не способен пролить свет на этот вопрос и пример демократии. Работа, организованная на демократических основаниях, была бы регламентирована указами, поставлена под надзор полиции и подчинена санкциям судов, назначающим штрафы и тюремные сроки. Дисциплина основывалась бы на внешнем принуждении, очень сходном с тем, какое существует сегодня на капиталистическом производстве, — но в нем было бы, вероятно, еще больше произвола из-за влияния избирательных интересов в комитетах. Если поразмыслить об особенностях приговоров по уголовным делам, легко понять, что подавление осуществлялось бы крайне неудовлетворительно. Кажется, все согласны, что суды не должны быстро выносить приговоры за мелкие правонарушения, основываясь на правилах строгой *юридической* системы; многие предлагали учредить административные советы, которые решали бы участь детей. В Бельгии попрошайничество подвергается административному произволу, сравнимому с полицией нравов, а во Франции, как мы знаем, эта полиция, несмотря на многочисленные жалобы, продолжает пользоваться почти всей полнотой власти. Кажется даже примечательным, что в случаях крупных правонарушений административные вмешательства становятся все более жесткими, так как начальникам исправительных домов предоставляют право смягчать или даже отменять наказания. За эту систему, отводящую полиции столь же значительную роль, как и при Старом режиме, ратуют врачи и социологи. Опыт показывает, что режим капиталистической фабрики отличается гораздо большей жесткостью, чем полицейский режим, так что едва ли можно усовершенствовать капиталистическую дисциплину средствами, которыми располагает демократия[316].

Я полагаю, что гипотеза Каутского отчасти справедлива: он угадал, что движущая сила революционного движения должна стать также и источником морали производителей. Эта мысль полностью соответствует марксистским принципам, однако ее следует применять совершенно иначе, нежели это делал немецкий автор. Не нужно думать, что воздействие профсоюза на труд должно быть непосредственным, как считал Каутский, — это воздействие должно осуществляться опосредованно.

---

316 Можно даже задуматься, не является ли дисциплина капиталистической фабрики идеалом относительно честных и просвещенных демократий. Проявлением этого процесса мне кажется усиление власти мэров и губернаторов штатов в Америке.

Мы приходим к удовлетворительному результату, исходя из весьма любопытных сходств между качествами солдат, участвовавших в революционных войнах, качествами, которые порождает пропаганда всеобщей стачки, и качествами, которые нужно требовать от свободного трудящегося в прогрессивном обществе. Я полагаю, что эти сходства представляют новый (и, возможно, решающий) довод в пользу революционного синдикализма.

В годы революционных войн каждый солдат считал себя *личностью*, которая должна сделать в битве нечто очень важное, а не винтиком в военной машине, вверенной верховному управлению хозяина. В литературе того времени поражает постоянное противопоставление *свободных людей* в республиканских армиях *автоматам* в королевских войсках — и для французских писателей это были отнюдь не риторические фигуры: проведя глубокое исследование одной из этих войн, я смог лично убедиться, что эти выражения в точности соответствовали подлинным чувствам солдат.

Итак, битвы уже нельзя было уподобить шахматной игре, в которой человек сравним с пешкой, — они становились совокупностью подвигов, свершенных индивидами, для которых воодушевление было источником их героических действий. Нельзя сказать, что революционная литература безосновательно лжет, передавая множество напыщенных речей, которые будто бы произносили бойцы. Вероятно, ни одна из этих фраз не была произнесена теми, кому их приписывают, а форму им придали литераторы, привыкшие управляться с классической декламацией, но основание здесь вполне реально — в том смысле, что благодаря лжи революционной риторики мы имеем совершенно точное представление о том, как смотрели на войну бойцы, подлинное выражение чувств, какие она вызывала, и *саму тональность вполне гомеровских сражений*, которые тогда бушевали. Я отнюдь не думаю, что какой-либо актер этих драм стал бы возражать против слов, вложенных в его уста, ведь под фантастическими деталями каждый находил сокровенные движения собственной души[317].

До появления Наполеона война не имела того научного характера, какой ей иногда считали нужным приписать теоретики стратегии последующих эпох. Обманываясь сходством между победами революционных войск и

317 Эта история загромождена еще и массой приключений, которые изготовлялись в подражание приключениям реальным и имеют очевидное сходство с теми, что сделали столь популярными «Трех мушкетеров».

наполеоновских армий, историки воображали, что генералы донаполеоновских времен составляли планы своих кампаний, однако таких планов не было, или же они оказывали незначительно малое влияние на ход операций. Лучшие военачальники того времени отдавали себе отчет, что их талант заключается в способности снабжать войска материальными средствами для воплощения их порыва. Победа была обеспечена всякий раз, как солдаты давали волю своему пылу и их не стесняло ни дурное снабжение продовольствием, ни глупость народных представителей, мнивших себя стратегами. На поле боя полководцы показывали пример чрезвычайной храбрости и отваги и были всего лишь первыми бойцами, словно настоящие гомеровские цари: именно этим объясняется большой почет, который сразу же снискали себе у молодых армий многочисленные унтер-офицеры Старого режима, которых уже в самом начале войны выдвинула в первые ряды популярность в солдатской среде.

Если в этих ранних революционных армиях требуется найти ростки будущего представления о дисциплине, то можно сказать, что солдаты были убеждены, будто малейшая слабость любого из них может поставить под угрозу общий успех и жизни всех товарищей — и действовали они в соответствии с этим убеждением. Это значит, что никто не задумывается о сравнительной важности разных факторов победы и что все рассматривается с *качественной и индивидуалистической* точки зрения. И в самом деле, нас поражают индивидуалистические характеры, встречаемые в этих армиях, и мы не находим ни капли той покорности, о которой пишут современные авторы. Итак, мы не допустим неточность, утверждая, что невероятные французские победы были одержаны благодаря разумным штыкам[318].

Тот же настрой обнаруживается в рабочих кружках, увлеченных всеобщей стачкой. Ведь эти группы представляют себе революцию как грандиозный бунт, который можно назвать и индивидуалистическим: каждый действует со всем своим пылом, сам за себя, нимало не заботясь о подчинении своего поведения умело составленному общему

318 Генерал Доноп в своей нашумевшей брошюре изобличил смехотворные следствия современной дисциплины, прививающей офицерам «раболепные привычки». Он, подобно Бюжо и Драгомирову, хотел бы, чтобы каждый участник битвы точно знал план своих командиров, и находит абсурдным, «что стратеги отбрасывают и осуждают такие военные действия, в которых используются или подвергаются испытанию благороднейшие способности человека в сложнейших и трагичнейших обстоятельствах — мысль и душа человека в той полноте, какую даровал ему Бог, Господь воинств, ради защиты и победы благородного дела» (*Commandement et Obéissance*, p. 14–19, 37). Этот генерал был одним из виднейших полководцев в нашей кавалерии, а в этом роде войск, как кажется, чувство войны сохранилось намного лучше, чем в других.

плану. О таком характере всеобщей пролетарской стачки не раз писали, и он не может не пугать алчных политиков, прекрасно понимающих, что революция, проведенная таким способом, не даст им ни малейшего шанса захватить бразды правления.

Жорес, которого нельзя не назвать осторожнейшим человеком, хорошо понял, какая опасность ему угрожает. Он обвиняет сторонников всеобщей стачки в том, что они *дробят жизнь* и тем самым действуют против интересов революции[319]. Эта нелепица означает следующее: революционные синдикалисты стремятся усилить индивидуальный характер жизни производителя; следовательно, они выступают против интересов политиков, которым хотелось бы управлять революцией так, чтобы передать власть новому меньшинству; значит, революционные синдикалисты подрывают основы государства. Мы полностью со всем этим согласны, и именно такой характер всеобщей стачки (пугающий парламентских социалистов, финансистов и идеологов) придает ей колоссальное моральное значение.

Сторонников всеобщей стачки обвиняют в склонности к анархизму. В последние годы многие анархисты действительно вступили в профсоюзы и вложили много труда в создание благоприятных условий для всеобщей стачки.

Этот процесс объясняется сам собою, если обратиться к предыдущим объяснениям: всеобщая стачка, как и революционные войны, представляет собой наиболее блестящее проявление *индивидуалистического духа в восставших массах*. Мне кажется, впрочем, что официальным социалистам не стоило бы так настаивать на этой мысли, ведь они рискуют вызвать людей на размышления, которые приведут к выводам не в их пользу. Ведь тогда придется задуматься, не являются ли наши официальные социалисты, с их любовью к дисциплине и безграничной верой в гений вождей, самыми верными преемниками королевских армий, тогда как анархисты и сторонники всеобщей стачки предстают сегодня хранителями духа воинов революции, которые столько раз, вопреки всем правилам искусства, разбивали превосходные армии коалиции. Я понимаю, что социалистам, официально утвержденным, проэкзаменованным и надлежащим образом патентованным администраторами L'Humanité, совсем не по душе оборванные герои Флерюса, которые произвели бы очень дурное впечатление в салонах крупных финансистов; однако не все подчиняют свои мысли удобству денежных покровителей Жореса.

---

319 *Jaurès*, Études socialistes, p. 117–118.

V

Теперь мы попытаемся отметить сходства, которые покажут значение революционного синдикализма как важнейшей воспитательной силы, какой обладает современное общество для подготовки будущего труда.

А. — Свободный производитель на фабрике в высокоразвитом обществе никогда не должен измерять затрачиваемые усилия внешней мерой. Он считает посредственным все предлагаемые ему образцы и хочет превзойти все, что было сделано до него. Таким образом производству обеспечено постоянное количественное и качественное совершенствование — в таком производстве воплощается идея бесконечного прогресса.

Прежние социалисты предугадали этот закон, когда писали, что в производстве от каждого нужно требовать по способностям. Но они не умели объяснить своих правил, и эти правила в их утопиях кажутся подходящими скорее для монастыря или семьи, чем для современного общества. Тем не менее иногда они предполагали у людей такое же вдохновение, какое описывают биографии некоторых великих художников, — этой точкой зрения нельзя пренебрегать, хотя прежние социалисты едва ли понимали ценность такого сопоставления.

Всякий раз, когда затрагиваются вопросы промышленного прогресса, искусство обыкновенно рассматривают как *предвосхищение* высокоразвитого производства, хотя художник с его капризами часто кажется антиподом современного трудящегося[320]. Эта аналогия оправдывается тем, что художник не любит воспроизводить готовые типы — *безграничность его желания* отличает его от заурядного ремесленника, которому удается, главным образом, неограниченное воспроизведение типов, ему совершенно чуждых. Изобретатель — это художник, тратящий все силы на стремление к целям, которые кажутся абсурдными практичным людям, и легко получающий славу сумасшедшего, если он сделает

320 Когда мы говорим о воспитательной ценности искусства, мы зачастую забываем, что нравы современных художников, основанные на подражании жизнерадостной аристократии, отнюдь не являются неизбежными и происходят от традиции, которая оказалась гибельной для многих незаурядных талантов. Кажется, Лафарг полагает, что парижский ювелир может иметь потребность хорошо одеваться, есть устриц и бегать за женщинами, чтобы «воспроизводить художественные качества своего труда» (*Journal des économistes*, septembre 1884, p. 386). Он никак не обосновывает этот парадокс — впрочем, можно заметить, что зять Маркса вообще одержим аристократическими идеями.

важное открытие; практичные же люди подобны ремесленникам. Во всех отраслях промышленности можно найти примеры значительных усовершенствований, которые развились из небольших изменений, внесенных рабочими, обладавшими артистической склонностью к новаторству.

Это духовное состояние также совершенно совпадает с состоянием первых армий, участвовавших в революционных войнах, а также с настроем пропагандистов всеобщей стачки. У рабочих классов не было бы и следа этого страстного индивидуализма, если бы они получили воспитание от политиков, — они были бы способны лишь менять своих господ. *Дурные пастыри* надеются как раз, что так оно и будет, а биржевики не платили бы им денег, если бы не были убеждены, что парламентский социализм вполне совместим с расхищением государственной казны.

В. — Современная промышленность характеризуется все возрастающей заботой о точности. По мере того как орудия производства все более усовершенствуются наукой, от продукта начинают требовать отсутствия скрытых недостатков и точного соответствия качества внешнему виду при употреблении.

Германия потому до сих пор не завоевала себе того места в экономической жизни, какое должно было бы ей принадлежать в виду богатства ее недр, энергии промышленников и учености инженеров, что ее фабриканты долго без зазрения совести наводняли рынок недоброкачественным барахлом. Хотя за последние несколько лет немецкое производство сильно улучшилось, оно еще не получило особого признания.

Мы можем и тут сравнить высокоразвитую промышленность с искусством. Бывали времена, когда публика ценила главным образом средства, при помощи которых создавались иллюзии, но эти методы никогда не принимались выдающимися школами и получали единогласное осуждение авторов, имевших вес в области эстетики[321].

Об этой порядочности, которая в настоящее время кажется нам одинаково необходимой как в промышленности, так и в искусстве, утописты не имели почти никакого понятия[322]. Фурье на заре новой эпохи полагал, что обман в

---

321 См. в «Семи светочах архитектуры» у Рескина главу «Светоч истины».

322 Не следует забывать, что существует два способа рассуждать об искусстве; Ницше упрекает Канта за то, что, «подобно всем философам, он рассуждал об искусстве и прекрасном у *зрителя* вместо того, чтобы рассматривать эстетическую проблему, основываясь на опыте художника, *творца*» (op. cit., p. 175 [153–154]). В эпоху утопистов эстетика была пустой болтовней любителей, которые всегда приходили в восторг по поводу ловкости, с какой художник сумел обмануть публику.

отношении качества товара есть отличительная черта в отношениях между цивилизованными людьми; он не замечал прогресса и обнаруживал неспособность к пониманию того мира, который складывался вокруг него. Как почти все профессиональные пророки, этот мнимый провидец смешивал будущее с прошлым. Маркс, напротив, будет утверждать, что при «капиталистическом способе производства... несправедлив обман на качестве товара», потому что он уже не соответствует современной системе деловых отношений[323].

Солдат революционных войн относился к выполнению малейших приказаний почти с суеверной добросовестностью. Поэтому он и не испытывал никакой жалости к генералам или чиновникам, которых гильотинировали у него на глазах в случае поражения, по обвинению в неисполнении долга. Он смотрел на эти события совершенно иначе, чем сегодняшние историки. У него не было никакого средства установить, действительно ли осужденные совершили предательство, и неуспех в его глазах объяснялся лишь некой весьма серьезной виной военачальников. Высокое сознание собственного долга и чрезвычайная честность, какую он проявлял при исполнении малейших приказаний, вели его к одобрению суровых мер против людей, которых он считал виновными в несчастье армии и потере плодов массового героизма.

Нетрудно заметить, что то же настроение проявляется в ходе стачек; побежденные рабочие убеждены, что их неуспех объясняется подлостью нескольких товарищей, не совершивших того, чего от них все были вправе ожидать. Многочисленные обвинения в предательстве выдвигаются из-за того, что, с точки зрения побежденных масс, лишь предательством может объясняться поражение героических войск. Таким образом, насильственные действия часто связаны с усвоенным всеми понятием честности, которую необходимо проявлять при выполнении задач. Я думаю, что авторы, писавшие о последствиях стачек, недостаточно размышляли о сходстве между стачками и революционными войнами, а следовательно, и между этими насильственными действиями и казнями обвиненных в измене генералов[324].

---

323 *Маркс К.* Капитал. Т. 3. Ч. 1. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 25. С. 373.

324 П. Бюро посвятил целую главу своей книги о трудовом договоре объяснению причин бойкота рабочих, которые не участвуют в стачках вместе с товарищами. Он полагает, что эти люди заслуживают своей участи, так как обладают заведомо более низкими профессиональными и моральными качествами. Такое описание причин, объясняющих подобное насилие в глазах трудящихся масс, кажется мне совершенно недостаточным. Автор здесь занимает слишком интеллектуалистскую точку зрения.

С. — На войне никогда не было бы великих подвигов, если бы каждый солдат, не переставая вести себя как героическая личность, притязал на получение наград, соответствующих его заслугам. Когда колонну бросают на штурм, возглавляющие ее знают, что их послали на смерть и что славу получат те, кто, пройдя по их трупам, вступит в неприятельский город; однако они не размышляют об этой огромной несправедливости и идут вперед.

Как только в армии начинает остро ощущаться потребность в наградах, можно утверждать, что ее доблесть в упадке. Некоторые офицеры, участвовавшие в кампаниях Революции и Империи, но служившие под непосредственным началом Наполеона лишь в последние годы своей карьеры, очень удивлялись большому шуму вокруг подвигов, которые в годы их юности остались бы незамеченными: «Меня засыпали похвалами, — говорил генерал Дюгем, — за то, на что в армии департамента Самбр-и-Мез никто не обратил бы внимания»[325]. Это фиглярство было доведено до гротеска Мюратом, и историки не вполне поняли, какая мера ответственности за вырождение подлинного боевого духа лежала на плечах Наполеона. Он был чужд того великого воодушевления, которое позволило героям 1794 года совершить столько чудес, и полагал, что нужно измерить способности каждого и каждому присудить награду в точном соответствии с его заслугами — это уже было практическим осуществлением принципа сенсимонизма[326], и каждого офицера побуждали отличиться. Это шарлатанство истощило моральные силы нации, тогда как силы материальные были пока еще значительными. Наполеон воспитал очень мало выдающихся генералов и воевал преимущественно с теми, кто достался ему в наследство от Революции, — это бессилие есть неоспоримый приговор его системе[327].

Часто отмечали скудость доступных нам сведений о великих готических художниках. Среди каменотесов, создававших облик соборов, были люди незаурядного таланта, однако их, как правило, не выделяют из массы других

---

325 *Laffaille*, Mémoires sur les campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, p. 336.

326 Сенсимонисты были шарлатанами не менее отвратительными, чем Мюрат. Впрочем, историю этой школы невозможно понять, если не сравнивать ее с наполеоновской моделью.

327 Генерал Доноп подчеркивает невежество наполеоновских помощников, пассивно повиновавшихся его приказам, которых они даже не стремились понять и за исполнением которых командующий лично тщательно следил (op. cit., p. 28–29, 32–34). В такой армии все заслуги теоретически были приравнены друг к другу и получали выверенную оценку, однако на практике ошибочные оценки были неисчислимыми.

ремесленников, отчего они не производили меньше шедевров. Виолле-ле-Дюк находил странным, что архивы Нотр-Дама не донесли до нас подробностей сооружения этого гигантского памятника и что средневековые документы вообще чрезвычайно скупы на сведения об архитекторах; он добавляет, что «гений может развиваться в тени, и стремление к тишине и безвестности свойственно его природе»[328]. Можно даже пойти дальше и задуматься, догадывались ли современники, что возводимые этими гениальными художниками здания будут покрыты неувядаемой славой. Мне представляется весьма правдоподобным, что соборами восхищались лишь сами художники.

Это стремление к совершенству, проявляющееся вопреки отсутствию какой бы то ни было личной, немедленной и соответствующей заслуге награды, образуют *тайную доблесть*, обеспечивающую непрерывный прогресс в мире. Что сталось бы с современной промышленностью, если бы изобретатели находились лишь для таких вещей, которые обеспечивали бы им верное вознаграждение? Ремесло изобретателя, вероятно, самое жалкое из всех, и все-таки от него никогда не отказываются. Сколько раз бывало на фабриках, что небольшие изменения, внесенные в процесс труда изобретательными рабочими, в конечном счете, накапливаясь, приводили к глубоким усовершенствованиям, хотя новаторы так и не смогли извлечь долгосрочной и соразмерной выгоды из своей изобретательности? И разве даже простой сдельной работе не удавалось вызвать медленный, но непрерывный прогресс в производительности труда — прогресс, который, временно улучшив положение нескольких трудящихся и особенно их хозяев, в конечном счете приносит пользу покупателям?

Ренан размышлял о том, что толкает к действиям героев великих войн: «Наполеоновский солдат, конечно, говорил себе, что он всегда будет простым бедняком; но он ощущал, что эпопея, в которой он участвовал, вечна, что он будет жить благодаря славе Франции». Греки сражались за славу; русские и турки идут на смерть, потому что ждут химерического рая. «Солдата не делают обещания награды в земной жизни.

---

328 *Viollet-le-Duc,* Dictionnaire raisonné de l'architecture française, tome IV, p. 42–43. Эта мысль согласуется и с содержанием статьи «архитектор» в этом словаре. Там мы узнаем, что зодчие часто писали в соборах свои имена (tome I, p. 109–111), отсюда делали вывод, что эти творения не были безымянными (*Bréhier,* Les Églises gothiques), но что говорили такие надписи горожанам? Они могли представлять интерес лишь для художников, которые позже работали в тех же зданиях и были знакомы с традициями различных школ.

Солдату необходимо бессмертие. Если нет рая, есть слава, представляющая собой тоже своего рода бессмертие»[329].

Экономический прогресс выходит далеко за пределы нашего существования и приносит гораздо большую выгоду грядущим поколениям, нежели собственным творцам; но приносит ли он славу? Существует ли такая экономическая эпопея, которая могла бы воодушевлять трудящихся? Побудительная сила бессмертия, которую Ренан считал столь мощной, здесь, очевидно, бесполезна, потому что никогда еще не бывало художников, которые создавали бы шедевры, находясь во власти мысли о том, что эта работа откроет им врата рая (подобно туркам, которые идут на смерть, чтобы получить обетованное Магометом блаженство). Рабочие даже отчасти правы, когда рассматривают религию как буржуазную роскошь, ведь у религии нет ресурсов для обеспечения совершенствования машин и для того, чтобы ускорить их работу.

Вопрос необходимо поставить иначе, чем это делал Ренан: нужно понять, есть ли в мире производителей воодушевляющие силы, способные сочетаться с моралью добросовестного труда, чтобы эта мораль в наше тяжелое время могла приобрести необходимое влияние и повести общество по пути экономического прогресса.

Мы должны остерегаться того, чтобы обостренное переживание необходимости такой морали и пылкое желание увидеть ее воплощение не заставили нас принимать фантомы за силы, способные перевернуть мир. Обильная идиллическая литература, написанная профессорами риторики, очевидно, представляет собой чистый вздор. Столь же напрасны и усилия многочисленных ученых, направленные на поиски в прошлом образцов для подражания — учреждений, которые могли бы дисциплинировать их современников: подражание никогда не приносило хороших плодов и часто вызывало большое разочарование. Разве не абсурдна идея заимствовать у упраздненных общественных структур средства, способные контролировать экономику производства, которая с каждым днем обнаруживает все более значительные противоречия с экономиками былых времен? Так, стало быть, надеяться не на что?

Морали отнюдь не суждено погибнуть от того, что изменятся ее движущие силы. Она избежит участи превратиться в простой сборник наставлений, если сможет сочетаться с

329 *Renan*, Histoire du peuple d'Israël, tome IV, p. 191 [1118]. По-моему, Ренан чересчур легко уподоблял славу бессмертию — он стал жертвой языковых фигур.

воодушевлением, способным преодолеть все препятствия, которые ставят на ее пути рутина, предрассудки и потребность в сиюминутных наслаждениях. Но с уверенностью можно сказать, что мы не найдем этой всепобеждающей силы, следуя путями, по которым нас хотели бы направить современные философы, специалисты по социальной науке и изобретатели *глубоких реформ*. Существует лишь одна сила, которая сегодня способна произвести такое воодушевление, без помощи какового мораль вообще невозможна, — и это сила, возникающая из пропаганды всеобщей стачки.

Предыдущие объяснения показали, что идея всеобщей стачки, непрерывно обновляемая чувствами, которые возбуждает пролетарское насилие, порождает героическое настроение и в то же время направляет все силы души к условиям, позволяющим создать свободно функционирующее и чрезвычайно прогрессивное производство. В частности, мы установили, что существует близкое родство между чувствами, вызываемыми всеобщей стачкой, и теми, что необходимы для обеспечения непрерывного прогресса в производстве. Итак, у нас есть право утверждать, что современный мир обладает важнейшей движущей силой, которая может обеспечить мораль производителей.

Здесь я останавливаюсь, так как полагаю, что выполнил поставленную задачу. Я установил, что пролетарское насилие имеет совершенно иной исторический смысл, нежели тот, что приписывают ему поверхностные ученые и политики. При полном упадке учреждений и нравов оно остается мощным, новым и неколебимым. Собственно говоря, именно оно и заставляет биться сердце революционного пролетариата. И его не постигнет общее падение моральных ценностей, если у трудящихся достанет сил, чтобы преградить путь буржуазным соблазнителям, ответив на их лживые обещания в высшей степени понятной жестокостью.

Я полагаю, что внес существенный вклад в дискуссии о социализме. Теперь эти дискуссии должны обратиться к условиям, делающим возможным развитие специфически пролетарских сил, то есть *к насилию, вдохновленному идеей всеобщей стачки*. Все прежние отвлеченные рассуждения становятся бесполезными для грядущего социалистического строя. Мы переходим в область реальной истории, к интерпретации фактов, к этическим оценкам революционного движения.

Отмеченная мною в начале этих исследований связь между социализмом и пролетарским насилием теперь предстает перед нами во всей своей силе. Именно насилию социализм обязан высокими моральными доблестями, посредством которых он принесет спасение современному миру.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Единство и множественность

I. — *Биологические образы, поддерживающие идею единства; их происхождение.*

II. — *Античное единство и исключения из него. — Христианская мистика. — Права человека; их последствия и их критика. — Польза концепции неисторического человека.*

III. — *Церковная монархия. — Гармония властей. — Отказ от теории гармонии; современное улучшение понимания идеи абсолютного.*

IV. — *Склонность современных католиков к приспособлению. — Безразличие государства. — Сегодняшняя борьба.*

V. — *Современный опыт, который дает церковь: парламентаризм; отбор боевых групп; множественность форм.*

I

Настоящее издание «Размышлений о насилии» воспроизводит текст, увидевший свет в 1908 году. Я счел необходимым добавить к нему эту главу, чтобы показать, как ошибаются люди, воображающие, что выдвигают неопровержимый довод против доктрин, основанных на классовой борьбе, когда говорят, ссылаясь на здравый смысл, что понятие общества насквозь проникнуто идеей единства.

Ни один разумный человек не станет спорить, что при самых разнообразных обстоятельствах, особенно при тех, где наиболее естественно действовать в соответствии с теми банальными построениями духа, которые мы относим к здравому смыслу, единство общества следует принимать весьма серьезно. Можно сказать, что в нашем повседневном существовании единство общества в некотором смысле теснит нас по всем фронтам, поскольку мы почти все время ощущаем действие иерархизированной власти, навязывающей единообразные правила гражданам одной страны. С другой стороны, не следует забывать, что, хотя здравый смысл прекрасно приспособлен к условиям обыденных отношений, он, как правило, пренебрегает самыми тяжелыми событиями жизни, в которых наиболее важной оказывается глубина воли. Следовательно, главенство идеи единства во всякой социальной философии не нужно считать непреложным.

Больше, чем любые доводы, популяризации предрассудков о единстве способствовали некоторые чрезвычайно распространившиеся сегодня обычаи словоупотребления. Многие находили удобным пользоваться формулировками, в которых человеческие объединения уподобляются организмам высшего порядка, и социологи извлекли громадную выгоду из такой манеры речи, ведь она помогала заставить публику поверить, что они обладают очень серьезными знаниями, основанными на биологии, — на протяжении XIX века натуралисты сделали много громких открытий, и социология воспользовалась престижем естественной истории. Такие социобиологические аналогии крайне настойчиво продвигают идею единства, так как при изучении крупных животных невозможно не поразиться чрезвычайной зависимости различных частей от всего живого тела. Эта связь столь тесна, что многие ученые долго считали, что в физиологии невозможно применять методы, хорошо зарекомендовавшие себя в физике: экспериментальные устройства, полагали они, нарушают природное единство и дают возможность наблюдать лишь больное существо, подобное страдающим от опухолей[1].

Не нужно быть большим философом, чтобы заметить, что язык постоянно дает нам обманчивое впечатление о подлинной природе отношений между вещами. Очень часто, прежде чем заняться догматической критикой системы, полезно установить происхождение нередко встречающихся в ней образов. В рассматриваемом случае очевидно, что социобиологические аналогии дают картину, противоположную действительности. Можно обратиться, например, к знаменитой книге Эдмона Перье «Колонии животных»: этому ученому удалось вразумительно объяснить описываемые им таинственные явления при помощи образов, заимствованных из разнообразных человеческих общностей. Это прекрасный метод, потому что в нем достаточно ясные области знания используются для объяснения устройства самых темных областей[2], однако Перье совершенно не отдает себе отчета в природе своего труда. Введенный в заблуждение доктриной социологов, утверждающих, будто

1 Физиологи стремятся не нарушать в экспериментах обычного порядка возникновения явлений, чтобы не смешивать здоровое животное с больным.

2 Курно, в отличие от О. Конта, отмечает, что «нет ничего более ясного для человеческого ума, ничего менее требующего признания новой тайны, постулирования новой, ни к чему не сводимой данности, нежели объяснение социального механизма. Кто же не видит, — пишет он, — что, переходя от явлений жизни к социальным фактам, мы переходим из относительно темной области в область относительно проясненную?» (*Cournot A.* Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme, p. 172).

они изучают нечто более возвышенное, чем биология, он воображает, что исследования колоний животных могут заложить основу общественной науки, которая «позволит нам предвидеть будущее наших обществ, упорядочить их строй и обосновать договоры, на которых они зиждутся»[3].

Использовав для получения хороших биологических описаний все изобилие средств, которые предоставляют нам группы людей, имеем ли мы право вносить, как это делают социологи, в социальную философию формулы, построенные на основе наблюдений над людьми, но, конечно, не избежавшие некоторых изменений в ходе их приспособления к потребностям естественной истории? Чтобы они стали применимы и к организмам, ученым пришлось весьма сильно исказить понятие человеческой деятельности, устранив из него то, что принято считать наиболее благородными привилегиями нашей природы.

Когда мы сравниваем одни колонии животных с другими, мы можем расположить их на лестнице эволюции, завершающейся тем совершенным единством всевозможных частных функций, которое можно наблюдать в человеке с нормальной психологией. О функциях, над которыми менее всего господствует руководящий центр, можно сказать, что они уже обладают потенциальным единством; одни фрагменты отличаются от других лишь большей или меньшей степенью сосредоточения, ведь нигде нет элемента, не поддающегося объединению с другими. Напротив, многие отмечали, что благодаря христианской культуре наши западные общества являют собой зрелище сознаний, которые достигают полноценной моральной жизни лишь при условии понимания собственной бесконечной ценности[4],— следовательно, в таких обществах не может быть того единства, какое обнаруживают колонии животных. Итак, сводя социологию к образам общества, созданным биологией для собственных нужд, мы рискуем впасть в совершенную бессмыслицу.

II

Историки часто отмечали, что античные общества были гораздо более унитарными, чем наши[5]. Читая во второй книге «Политики» аргументы Аристотеля против теорий

---

3 *Perrier Edmond,* Les Colonies animales, p. XXXII.

4 *Taine,* Le Gouvernement révolutionnaire, p. 126 [vol. 2, p. 78]. Ср. *Hegel,* Philosophie de l'esprit, trad. franç., tome II, p. 254 [427].

5 Как пишет Дом Леклерк, режим испанской церкви в эпоху вестготов дает нам пример сохранения в христианстве унитарной идеи античного полиса (*L'Espagne chrétienne,* p. XXXII–XXXIII).

Платона, мы прекрасно видим, что у греческих философов, как правило, господствовало убеждение, будто полное единство есть наивысшее благо, какого только можно желать для государства[6]. Мы даже склонны сомневаться, что Аристотель дерзнул бы с такой уверенностью представить свои антиунитарные концепции, если бы в его эпоху полисы не были поражены неостановимым вырождением, так что восстановление прежней дисциплины показалось бы его читателям странным и утопичным.

Хотя в мире, вероятно, в любую эпоху существовали анархические элементы, но они были ограничены *рамками общества*, которое их не защищало. Народ мог воспринимать их существование, лишь предполагая наличие таинственных покровителей, защищающих этих одиночек от угрожавших им опасностей. Подобные аномалии не могли влиять на умы тех, кто стремился заложить в Греции основания для политической науки, наблюдая за самыми обычными явлениями.

Наиболее заметные типы в такой изоляции представляют нищие, некоторые бродячие артисты и особенно певцы, а также бандиты. Их приключения породили легенды, очаровывавшие народные массы, — это очарование происходило, прежде всего, от необычайности таких приключений, однако необычайное не могло попасть в классическую философию греков.

Между тем я полагаю, что, когда Аристотель говорил о судьбе гения, он вопреки этому правилу вспомнил о греческом герое, занимавшем весьма важное место в национальных традициях. Гений не может подчиняться обычным законам, его не уничтожат ни смерть, ни изгнание — стало быть, у полиса нет иного выбора, кроме как подчиниться его власти. Необходимо отметить, что эти знаменитые размышления занимают в «Политике» лишь несколько строк, а главное, что Аристотель, очевидно, считает гипотезу о возвращении таких полубогов совершенно неправдоподобной[7].

Истории аскетов суждено было стать важной в ином смысле, чем истории других одиночек. В странах Востока людей, которые подвергают себя телесным испытаниям, поражающим воображение народа, считают преодолевшими условия, ограничивающие человеческие силы. Поэтому им приписывают способность воплотить в природе столь же необычайные вещи, как и мучения, которые они

6 Аристотель. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, М., 1984. С. 375–645.

7 Там же. С. 375–645.

причиняют собственной плоти, и они слывут тем более могущественными чудотворцами, чем диковиннее их поступки. В Индии их легко признают воплощениями божеств, когда из-за многочисленных чудес, свершившихся на их могилах, брахманы находят выгодным их обожествление[8].

Греки не любили такой образ жизни, однако на них оказала некоторое влияние литература стоиков, заимствовавшая наиболее диковинные парадоксы о боли в практиках восточного аскетизма. Святой Нил, применивший в V веке максимы Эпиктета к наставлениям о духовной жизни, лишь признал истинную природу этой доктрины.

Западное христианство в своих монастырях глубоко изменило аскетизм: оно породило множество мистических персонажей, которые не бежали от мира, а поддались желанию распространить вокруг себя свое преобразующее влияние и получали сверхчеловеческие силы из *религиозного опыта*. Универсализировать воздействие благодати, до тех пор доступной почти исключительно монахам, и было главной целью Реформации: вместо того чтобы утверждать, как обычно делают, что Лютер стремился превратить всякого христианина в священника, точнее было бы сказать, что он *признает* за каждым убежденным верующим некоторые из тех мистических способностей, какие развиваются духовной жизнью в монастыре. Ученик Лютера, читающий Библию в том расположении души, которое его наставник называет *верой*, полагает, что вступает в постоянные отношения со Святым Духом — совершенно так же, как верующие, далеко продвинувшиеся на мистическом пути, верят, что получают откровения от Христа, Богородицы или святых.

Этот постулат Реформации явно ложен: людям, подверженным всевозможным влияниям обыденной жизни, нелегко достичь того восприятия Святого Духа, которое казалось таким простым фанатичному монаху Лютеру. Для большинства современных протестантов чтение Библии является лишь назидательным, и, уверяясь, что в присутствии священного текста они не получают обетованное им мистическое озарение, они начинают сомневаться в наставлениях своих пасторов: одни предаются полному неверию, тогда как другие обращаются в католичество, поскольку хотят во что бы то ни стало оставаться христианами. Не связав мистические способности с исключительными условиями жизни, которые могли бы их поддерживать, теоретики Реформации совершили весьма грубую ошибку, которой

8 *Lyall*, Études sur les mœurs religieuses et sociales de l'Extrême-Orient, trad. franç., p. 42–48.

суждено было в конечном счете привести их церкви к краху, но здесь мы рассмотрим лишь некоторые последствия этого заблуждения для философии.

Многие отмечали, что в работе человеческой рефлексии почти во все времена существовали две расходящиеся тенденции: за неимением лучших терминов их можно обозначать названиями, заимствованными из истории Средних веков, и говорить, что мыслители делятся на *схоластов* и *мистиков*. Авторы первой группы полагают, что наш разум, отталкиваясь от свидетельств органов чувств, может обнаружить, каковы вещи на самом деле, выразить отношения между сущностями на языке, естественном для всякого разумного *человека*, и тем самым достичь знания о внешнем мире. Вторые заняты личными убеждениями, они полностью доверяют решениям своей совести и хотят, чтобы те, кого они могут заставить себя слушать, заимствовали их способ миропонимания, но не могут сослаться ни на какие научные доказательства.

Различение двух этих тенденций следовало бы сделать важнейшей целью философии. Предприятие это, кажется, не особенно трудное. Неясности, в том числе весьма большие, в учении Канта объясняются тем, что у него две эти тенденции особенно сложно переплетены. Католические авторы непрестанно упрекают Канта за то, что он учил субъективизму, который легко может привести к скептицизму, — Кант же был уверен, что не заслуживает такой критики, потому что привык допускать, что вся полнота выражения истины, совместимая с нашей человеческой слабостью, дана нам в религиозном опыте[9].

Заблуждения Канта должны сделать нас снисходительными к людям, лишенным его философского гения и извлекшим из мистики, искаженной и вульгаризированной протестантизмом, никуда не годные политические теории. Протестантизм приводил людей, чуждых всяким историческим рассуждениям, к странному допущению: они предполагали, что для вычленения основополагающих социальных принципов нужно представить себе человеческое сознание, близкое к сознанию монаха, постоянно живущего в присутствии Бога. Такое допущение, разрывающее все связи между гражданином и экономическими, семейными или политическими основами жизни, стало частью юридических построений, значение которых оказалось колоссальным.

---

9 Во втором издании моей книги был фрагмент о кантовских антиномиях — я удалил его, так как более полно осветил этот вопрос в Revue de métaphysique et de morale (septembre 1910) и планирую вернуться к нему в будущем.

Нетрудно понять, что первые американские общества регулировали свое публичное право согласно парадоксальным принципам мистики. В их конституциях было нечто монашеское — ввиду того, что пуритане очень напоминали монахов, упоенных духовной жизнью. Их формулировки сохранились в Соеди-ненных Штатах благодаря религиозному почтению, неизменно поддерживаемому в воспоминаниях об этих знаменитых предках. Такая литература у нас смешалась с произведениями Руссо: он грезил о городе, где живут швейцарские ремесленники, и рассуждал о *неисторическом* человеке, основываясь на собственных путевых впечатлениях. Законодатели Революции, большие почитатели американцев и Жан-Жака, полагали, что добились подлинного совершенства, провозгласив права абсолютного человека.

Многие цитировали Жозефа де Местра, отпустившего в 1796 году немало шуток по поводу работы наших учредительных собраний: они стремились придумать законы «для человека. Однако, — говорил де Местр, — в мире отнюдь нет *общечеловека*. В своей жизни мне довелось видеть Французов, Итальянцев, Русских и т.д. [...] но касательно *общечеловека* я заявляю, что не встречал такового в своей жизни; если он и существует, то мне об этом неведомо. [...] Конституция, которая создана для всех наций, не годится ни для одной: это чистая абстракция, схоластическое произведение, которое выполнено для упражнения ума согласно идеальной гипотезе и с которым надобно обращаться к *общечеловеку* в тех воображаемых пространствах, где он обитает. Что же есть конституция? Не является ли она решением следующей задачи? При заданных населении, нравах, религии, географическом положении, *политических отношениях, богатствах, добрых и дурных свойствах какой-то определенной нации найти законы, ей подходящие*»[10].

Слова этого безмерно проницательного автора сводятся к тому, что законодатели должны принадлежать к своей стране и к своему времени. Впрочем, едва ли деятели Революции настолько позабыли эту истину, как утверждает Жозеф де Местр: многие отмечали, что в тех самых случаях, когда они подчеркивали, что рассуждают о *неисторическом* человеке, они, как правило, стремились удовлетворить

10 *Местр Ж. де.* Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 88. Эти слова очень напоминают подзаголовок первого издания «Духа законов»: «Об отношениях, которые законы должны иметь с конституцией каждого правительства, нравами, климатом, религией, торговлей».

потребности, чаяния или загладить былые обиды современных им средних классов. Многие правила из области гражданского права и управления не пережили бы Революцию, если бы их авторы вечно странствовали по воображаемым краям в поисках абсолютного человека.

В наследии, которое они нам оставили, самого пристального рассмотрения заслуживает сосуществование норм права, написанных для реальных людей того времени, и *неисторических* положений. История современной Франции позволяет нам точно определить, какие неудобства возникают от введения таких положений в правовую систему. Считалось, что принципы 1789 года закладывают философский фундамент наших кодексов. Профессора сочли себя обязанными доказать, что эти принципы могут служить для оправдания общих правил *юридической науки*, которую они преподавали, и это им удалось, ведь тонкий ум может справиться и не с такими предприятиями. Однако ловкие авторы противопоставили этим консервативным софизмам новые софизмы — либо для того, чтобы показать необходимость развития права, либо даже для того, чтобы показать абсурдность существующего общественного строя.

Нечто подобное произошло Риме, когда юристы эпохи Антонинов пожелали использовать для объяснения своих доктрин стоическую философию. Она происходила от восточного аскетизма и могла рассуждать только о человеке, чуждом условий реальной жизни, из-за чего произошел распад прежнего правового порядка. Большинство историков настолько ослеплены престижем, которым обладают в традиции школ тексты *Пандектов*[11], что обычно не видят социальных последствий этого колоссального восстановительного труда. Они хвалили *развитие* юриспруденции, но не заметили, что в то же самое время исчезает былое римское уважение к праву[12]. Так же и у нас юридический *прогресс*[13], вызванный введением в законодательство принципов 1789 года, несомненно, способствовал обесцениванию идеи права.

---

11 См. *Ренан Э.* Марк Аврелий.

12 Весьма ценные свидетельства содержит история гонений: сколь бы жестокими ни были древние римляне, им никогда не приходило в голову приговаривать девственниц к содержанию в домах терпимости (*Le Blant Edmond*, Les Persécuteurs et les Martyrs, chap. XVIII). Решение Марка Аврелия относительно лионских мучеников, на мой взгляд, знаменует собой откат к варварству (*Sorel G.*, Le Système historique de Renan, p. 335).

13 Я употребляю слово прогресс, потому что встречаю его в употреблении, хотя изменения, которые им обозначают, не всегда положительны.

На протяжении XIX века к доктрине *неисторического* человека обращались многие догматические критики. Неоднократно было показано, что, исходя из прав этого схоластического существа, невозможно построить общество, похожее на известные нам исторические примеры. Если же некоторые теоретики демократии полагали, что это осуществимо, то потому, что они, не всегда осознавая совершаемый подлог, сильно ограничили поле, на которое этот абсолютный человек может распространять действие своей свободной воли.

Философия, основанная на постулатах, заимствованных у мистической жизни, может познать лишь одиночек или людей, вышедших из изоляции ради присоединения к группе, где господствуют убеждения, в точности совпадающие с их собственными. Поэтому, чтобы найти верное и постоянное применение принципов, провозглашаемых современной демократией, нам придется заглянуть в монастыри. Именно это превосходно выразил Тэн: «Краеугольный камень этой [религиозной] республики заложил Руссо [...] *общественный договор*, пакт, предложенный законодателем и принятый гражданами; правда, в монашеском договоре воля принимающих его единодушна, искренна, серьезна, взвешена и постоянна, а в договоре политическом она не такова; итак, если второй договор представляет собой теоретический вымысел, то первый — действительная истина»[14].

Эта критика располагает к заключению, что все рассуждения о *неисторическом* человеке следует оставить профессорам риторики. Но такой вывод вызвал бы возражения множества моралистов, ведь они за более чем сто лет уже привыкли выдвигать идею абсолютного долга[15], которая, конечно, предполагает, что человек может избавиться от уз, связывающих его с историческими условиями. С другой стороны, человеческие массы совершили множество великих исторических событий под воздействием убеждений, очень похожих на религиозные силы, то есть в достаточной мере абсолютных, чтобы заставить людей забыть о многих материальных условиях, которые обычно учитываются при выборе направления действий. Если мы хотим выразить этот факт на языке методов, которые мы называем научными, юридическими или логическими, то нужно

---

14 *Taine*, Le Régime moderne, tome II, p. 108 [vol. 2, p. 666]. Ср. p. 106 [664] и p. 109 [667].

15 См. *Brunetière*, Questions actuelles, p. 33. Эта идея была выражена в знаменитом изречении Иисуса: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф, 5, 48); жизнь по Евангелию после триумфа церкви была заключена в монастырях (*Renan*, op. cit., p. 558 [1095]), и современная философия вдохновляется Реформацией, стремившейся привести весь христианский мир к монастырскому образцу.

сформулировать принципы, которые будут сочтены принципами *неисторических* людей, более или менее продвинувшихся на пути к абсолютному. Стало быть, абстрактный человек вовсе не бесполезен для философа, как думал Жозеф де Местр, — он представляет собой прием нашего мышления, как есть много других приемов, необходимых для приспособления действительности к человеческому пониманию.

Основополагающее различие между методами социальной философии и физиологии представляется нам теперь более ясным. Физиология никогда не может рассматривать работу того или иного органа, не соотнося его с живым существом в целом; можно сказать, что это целое определяет способ деятельности того или иного элемента. Социальная философия, чтобы проследить наиболее значительные феномены истории, обязана прибегать к *расщеплению*, рассматривать отдельные части, не учитывая всех связей, соединяющих эти части с целым, и в каком-то смысле определять род их деятельности, подталкивая их к независимости. Когда тем самым социальная философия достигает наиболее полного знания, она больше не может пытаться восстановить нарушенное единство.

Теперь, чтобы лучше оценить значение этих принципов, мы применим их к истории церкви.

III

Вне всякого сомнения, в начале нашей эры и, вероятно, сразу же после смерти Христа христианские общины организовались и сплотились, взяв за образцы восточные монархии: их предводители были не народными магистратами, как писали протестанты, а царями, действовавшими по божественному поручению[16]. Благодаря этому теократическому управлению церковь смогла сослужить большую службу верующим, когда римское государство начало распадаться[17]: она обеспечивала им более справедливое правосудие, чем официальные суды, покупала благосклонность имперской полиции, чтобы избежать ее придирок[18], содержала отряды бедняков, которые могли оказаться большим подспорьем как защитники мирных горожан от смутьянов из метрополий.

---

16 *Sorel G.*, op. cit., p. 421.

17 Ренан сравнивает епископа в III в. с греческими или армянскими епископами современной ему Турции (*Renan*, op. cit., p. 586 [1112]).

18 Тертуллиан негодует на то, что церковь тем самым смогла смягчить гонения (*Tertullien*, De fuga, 13).

После обращения Константина империя окончательно закрепила за епископской властью престиж, который позволил навязать ее и германским завоевателям. Несколько столетий церковь весьма успешно защищала привилегированные группы, в которых сохранялась изрядная часть римской традиции. Наша западная цивилизация обязана католицизму далеко не только сохранением древней литературы, но и прежде всего остатками римского духа. Оценить громадное значение этого наследия мы можем, сравнивая причастные к нему народы с народами Востока, которым крайне непросто понять наши установления[19].

Теоретики церкви построили свои доктрины, идеализируя славное прошлое церкви. По их словам, церковь — единственная монархия, которая вправе утверждать, что ее власть исходит непосредственно от Бога. В отличие от протестантских юристов, отстаивавших божественное право королей, католические теологи полагают, что в происхождении светских властей есть нечто народное[20], что ставит их на более низкую ступень по сравнению с папством. Итак, церковь не может быть подвластна никакому суверену, но на практике она не имеет такой же независимости, как королевства, поскольку не обладает землями, отдельными от территорий различных государств: церковь включена в светские общества, ее верующие одновременно являются и гражданами. Две короны легко могут не иметь никаких взаимоотношений, но церковь не может осуществлять все, что считает необходимым для свершения своей миссии, не встречая на каждом шагу каких-либо общественных отношений, подчиненных правилам светского законодательства, — стало быть, необходимо, чтобы государство соглашалось с церковью или чтобы по некоторым вопросам оно не позволяло себе издавать законов.

Христианство обладает традицией, не позволяющей ему превращаться в военную силу, подобно мусульманскому халифату. Причины этого не только в доктринах древнейших

---

19 Немцы, кажется, особенно хорошо усвоили уроки церкви. Когда смотришь на смирение, с которым они принимают неравенство, суровую дисциплину в их организациях, таких как армия и фабричное производство, на их упорство в делах, невозможно не сравнить их с древними римлянами. Лютеранская Реформация долго защищала их от проникновения идей Возрождения и тем самым продлила воздействие на них римского воспитания.

20 Современные католики из-за этого восторгаются демократическим духом церкви, а между тем теологи лишь следуют доктрине имперских юристов, когда-то приписывавших императорам нечто делегированное римским народом (*Taine*, op. cit., p. 133 [680]).

Отцов Церкви[21], но еще и в том, что император Феодосий создал систему правления, которая осталась «вечной мечтой христианского сознания, по крайней мере, в романских странах». Ренан справедливо утверждал, что христианская империя была «тем, что церковь на протяжении своей долгой жизни больше всего любила»[22]. В Средние века папство занималось грандиозными предприятиями, которые были бы легко осуществимы в сотрудничестве с новым Феодосием, но представляли невероятные сложности при использовании сил, которые оно случайным образом объединило под своим руко-водством. Крестовые походы, инквизиция, итальянские войны — все это примеры весьма посредственных результатов, достигнутых отчаянными усилиями. Лучшего доказательства в пользу системы Феодосия нельзя и желать.

Итак, теологи не добиваются ни единства, ни полной независимости двух властей. Они грезят о гармонии, достичь которой, на их взгляд, не слишком трудно, так как они гораздо больше доверяют рассуждениям о том, что должно существовать, нежели наблюдению фактов. По мнению этих ученых мужей, люди имеют некоторое право обвинять Провидение в недостатке мудрости, если оно не обеспечивало им возможности пользоваться всеми преимуществами, какие должны давать церковь и государство, а этих преимуществ можно достичь, только если между двумя властями будет царить совершенная гармония. Из этих предпосылок делается вывод, что гармония будет воцаряться всякий раз, когда истинный порядок вещей, обнаруженный при помощи рассуждений, не будет нарушаться никакими злоупотреблениями.

В эпоху, последовавшую за Контрреформацией и укреплением национальных государств, думали, что эту счастливую гармонию естественно порождают общественные институты. Обычной формой правления в цивилизованных обществах тогда была монархия[23], и гармония не могла не принести благие плоды, если только короли и вожди христианской иерархии обладали ясным осознанием тяжкого бремени ответственности, которое легло бы на них в случае конфликта. Тогда полагали достаточным, чтобы

---

21 Григорий VII вдохновлялся весьма древними христианскими концепциями, когда изобличал власть князей как основанную на грабеже, что позволяло связывать ее с влиянием дьявола, «князя мира сего» (*Flach*, Les Origines de l'ancienne France, tome III, p. 297).

22 *Renan*, op. cit., p. 621 [1134] и p. 624–625 [1136].

23 В первой половине XVIII в. Вико полагал, что Англии предстоит стать чистой монархией (*Michelet*, Œuvres choisies de Vico, p. 629).

наставники будущих правителей старались внушить воспитанникам такие чувства к епископату, какие Феодосий испытывал к святому Амвросию.

На протяжении XIX века история церкви не была благоприятна для доктрины гармонии: в отношениях между церковными властями и сменявшимися во Франции правительствами почти всегда были серьезные трудности. Текущие задачи заставили взглянуть на прошлое с совсем иной точки зрения, чем это было принято у прежних теоретиков, и стало ясно, что во все времена конфликты были слишком часты, чтобы считать их злоупотреблениями — скорее их следовало сравнивать с войнами, которые часто бушевали между независимыми державами, оспаривавшими друг у друга гегемонию в той или иной части Европы.

Прежде церковные авторы, придававшие наибольшее значение воспитанию совести князей как средству достижения гармонии, связывали конфликты с моральными причинами: с гордыней суверенов, алчностью вельмож, с мелочной, зловредной, порою нечестивой завистью законников. Ученые XIX века взяли за правило объяснять значительные явления лишь значительными причинами, поэтому с тех пор былые контроверзы историков-казуистов стали казаться смешными. Политико-церковную борьбу начали обосновывать причинами того же порядка, что и великие европейские войны.

Подтверждению такого толкования очень способствовали труды о Средневековье, написанные апологетами папства. Стремясь защитить пап от много-численных изобличений их непомерного властолюбия, многие католики принялись писать историю раздоров между Святым престолом и Империей в *гвельфском* духе. Они утверждали, что верховные понтифики оказали цивилизации безмерные услуги, защищая итальянские свободы от германского деспотизма. Этот в высшей степени политический способ представлять крупнейшие конфликты между церковью и государством вынуждает сравнивать обычные отношения между двумя видами власти с отношениями между двумя независимыми коронами.

Итак, старая доктрина о гармонии оказалась, на взгляд новых историков, такой же химерой, какой можно назвать идею Соединенных Штатов Европы: это две концепции одного порядка, имеющие целью заменить факт *случайного мира* теорией *постоянного союза*. О Соединенных Штатах Европы рассуждают время от времени на застольях шутники; но ни один серьезный человек не станет заниматься таким вздором.

Светские авторы долго рассматривали подтверждающие папскую власть документы, составленные в годы раздоров между Святым престолом и Империей, скорее с юридической, чем с исторической точки зрения. Французские правоведы находили абсурдными положения, которые сделали бы невозможным монархический строй, главными представителями которого они являлись. Они сформулировали принципы галликанства, чтобы сдержать ультрамонтанские притязания в границах, совместимых с принципами светского управления. Историки же были склонны относить к нелепым парадоксам то, что законники с такой строгостью порицали. Но сегодня никого уже не занимают вопросы правоты понтификов с юридической точки зрения и возможности применения их теорий на практике — мы хотим знать, какие отношения существуют между этими постановлениями о церковной власти и развитием конфликтов; несомненно, они составляют очень удобное идеологическое выражение борьбы, которую вела церковь.

Точно оценив значение этих старых документов, мы лучше понимаем и требования, наделавшие столько шуму в либеральных кругах, когда в 1864 году был опубликован «Силлабус» Пия IX. Церковь почти всегда ясно сознавала, что для выполнения роли, назначенной ее основателем, она должна утверждать некое абсолютное право, даже если на практике она и склонна принимать множество ограничений собственной власти, чтобы облегчать развитие светских обществ, в которых она существовала.

Только *расщепление* позволяет узнать внутренний закон жизни церкви. В периоды серьезной борьбы католики отстаивают за церковью независимость, отвечающую этому внутреннему закону и несовместимую с общим порядком, который устанавливает государство; чаще всего церковная дипломатия устраивает соглашения, скрывающие от поверхностного наблюдателя абсолютный характер ее принципов. Гармония — лишь мечта теоретиков, не соответствующая ни внутренним законам церкви, ни практическим соглашениям и ничего не объясняющая в истории.

При всяком возрождении церкви историю потрясали проявления абсолютной независимости, на которую притязали католики. Именно такие периоды подъема обнаруживают то, что образует *сущностную природу* церкви, и это служит полным обоснованием метода *расщепления*, указанного в конце раздела II.

IV

По мнению очень многих французских католиков, церковь должна оставить свои прежние абсолютные *тезисы* досугу школьных учителей. Тем, кто знает мир лишь по старым книжкам, никогда не понять, как устроено современное общество, а значит, внимательно наблюдать явления современной жизни надлежит тем, кто лишен схоластических предрассудков. Церковь немало выиграла бы, прислушиваясь к советам людей, у которых есть чувство приемлемого и возможного. Она решилась бы заменить *тезис гипотезой*, сделав все необходимые уступки, чтобы как можно меньше страдать от тех отвратительных условий, в какие теперь поставлено католичество.

Нас уверяют, что такая политика крайней осторожности основана на самых возвышенных соображениях научной философии. Католическая публика почти всегда сильно запаздывает по сравнению со светской[24] и принимает за важные новшества течения, которые уже выходят из моды. Так, в последние годы клир сильно увлекся *Наукой* и в этой страсти мог бы дать фору самому г-ну Омэ[25]. Часть клира, стремящаяся быть на высоте сегодняшних проблем, открыла для себя трансформизм и упивается рассуждениями о развитии. Однако есть много способов понимать эти слова; для современных аббатов, более или менее подпавших под влияние модернизма, эволюция, адаптация и относительность, несомненно, принадлежат к одному и тому же течению мысли. Объявляя себя трансформистами, католики хотят преодолеть прежнее *фанатичное отношение к истине*, ограничиться самыми удобными теориями и иметь обо всем мнения, способные вызвать благосклонность людей, равнодушных к религиозным делам. Это *прагматисты* довольно низкого пошиба.

Существует весьма большое различие между доктриной гармонии и трансформистской бессвязицей, которая так по нраву нынешним католикам. Учение о гармонии подходило активной и могущественной церкви, проникнутой идеей абсолютного, — эта церковь зачастую снисходительно ограничивала свои требования, чтобы не слишком мешать работе государственной машины, но навязывала государству, когда только могла, обязанность признавать безграничные

---

24 Гюисманс уверяет, что «с точки зрения понимания искусства католическая публика на десять голов ниже светской» (*Гюисманс Ж.К.* Собор. М.: «Энигма», 2012 г. С. 29). И это не ограничивается искусством!

25 Господин Омэ — герой флоберовской «Госпожи Бовари», отличавшийся начетнической верой в науку. — *Прим. пер.*

права, полученные ею от Бога. Вторая система подходит людям, чья слабость была доказана многочисленными поражениями, всегда живущим в страхе получить новые удары и считающим себя невероятно удачливыми, если у них находится свободное время, чтобы усвоить привычки нового раболепия, соответствующие требованиям хозяев.

Церкви не слишком удавалась эта премудрая тактика. Республиканцы часто хвалили Льва XIII, называя его *великим папой*, за то, что он советовал католикам подчиниться требованиям времени. Венцом его политики стало упразднение религиозных орденов[26]. Дрюмон несколько раз сумел возложить на него ответственность за несчастья, преследовавшие французскую церковь (например, La Libre Parole, 30 mars 1903); но можно также сказать, что католикам пришлось пожинать горькие плоды своей трусости и никогда еще чьи-либо несчастья не были столь заслуженными. О подобном опыте следует помнить синдикалистам, которым часто советуют отказаться от абсолютного, чтобы довольствоваться осторожной, продуманной политикой, целиком посвященной немедленным результатам. Синдикалисты не хотят ни к чему приспособляться, и они, конечно, правы, поскольку у них достает храбрости подвергать себя тяготам борьбы.

Немало католиков считает, что в современном обществе можно достичь мира без приспособленчества и без попыток воплотить невозможную гармонию старых теологов. Ведь трудности, которые представляет сосуществование двух властей, можно свести к пустякам, как только количество смешанных областей, в которых они некогда соперничали, еще немного уменьшится.

В варварские времена чрезмерное распространение церковной юрисдикции могло быть благотворным, ведь тогда еще не было серьезно устроенных судов. Этому режиму предстояло постепенно исчезнуть по мере того, как государство расширяло сферу своей деятельности. Предпочтение было с полным основанием отдано светским учреждениям, так как они были лучше приспособлены к экономике: никто, например, уже не думает обращаться с завещаниями как с религиозными документами; договоры много столетий назад перестали дополнять клятвами, за исполнением

---

26 Во Франции заметно, что возражения против закона об ассоциациях, изложенные в письме от 29 июня 1901 г., на редкость мелочны. Эти смутные писания можно сравнить с депешами от 1 и 8 июня 1903 г. в связи с поездкой Лубе в Рим: Лев XIII прекрасно чувствовал важность *итальянского факта*, уязвлявшего его гордость, уверовав, что *французские факты* не имеют большого значения, так как возлагал величайшие надежды на результаты своей дипломатии в целом.

которых следили церковные суды; наконец и клириков стали судить так же, как и остальных граждан. Хотя теологи продолжают с неизменной настойчивостью утверждать, что только церковь может творить истинные браки, создание семьи от нее полностью ускользает, и клиру уже не удается даже сколько-нибудь эффективно ограничивать уважение, которым пользуются люди, заключающие гражданский брак после развода. Богатства, накопленные предыдущими поколениями для поддержки католических благотворительных учреждений, были конфискованы, а сами учреждения по большей части стали светскими.

Основополагающие предписания, в виду которых была учреждена религиозная монархия, по мнению многих, исполнялись бы верно, если бы церковь довольствовалась отправлением публичного культа, управлением богословскими школами и монашескими учреждениями. При условии, что обычное право было бы достаточно проникнуто свободой, католичеству хватило бы его для исполнения этой миссии. Исчезла бы необходимость согласия между держателями духовной и светской власти, и вместо гармонии, которая была лишь мечтой теоретиков, царило бы полное безразличие. Мы не могли бы сказать, что государство совершенно игнорирует церковь, ведь первый долг законодателя — как следует ознакомиться с условиями, в которых действует каждый субъект права, а значит, законы следовало бы составить таким образом, чтобы не препятствовать свободной экспансии церкви.

Такой режим безразличия не лишен сходства с режимом, который установился в иудаизме после разрушения Иудейского царства[27]. Евреи хотели восстановить Иерусалим, но единственно для того, чтобы сделать из него своего рода огромный монастырь, посвященный храмовым обрядам. Об управлении Неемии Ренан пишет: «В тот день в Иерусалиме основывается церковь, а не государство. Толпа, которую развлекают на празднествах, знать, тщеславию которой льстят почестями процессий, не составляют части родины — для родины необходима военная аристократия. Иудей не будет гражданином — он останется жить в городах других народов. Но поспешим отметить, что на свете есть не только родина»[28]. Именно в тот момент, когда у иудеев не осталось

27 Юридические причины были, очевидно, разными, хотя результаты оказались похожи. В самом деле, Ренан отмечает, что «свобода определенно создана в новейшие времена. Она есть следствие идеи, которой не существовало в античности: государство обеспечивает самые противоположные виды человеческой деятельности и сохраняет нейтралитет в делах совести, вкуса, чувства». (*Histoire du peuple d'Israël*, tome IV, p. 82 [1052].)

28 Ibid., p. 81 [1052].

родины, им удалось дать своей религии постоянную жизнь. В годы национальной независимости они были весьма склонны к ненавистному пророкам синкретизму, но, попав под власть язычников, сделались фанатичными приверженцами Яхве. Именно к этой эпохе относится развитие жреческого кодекса, псалмы, которым предстояло занять столь важное место в теологии, Второисайя[29]. Таким образом, и при режиме безразличия в церкви может протекать в высшей степени интенсивная религиозная жизнь[30].

Католические церкви в протестантских странах вполне удовлетворяются такой системой: их иерархия, наставники и монастыри очень мало их обременяют, политически они представляют собой столь же ничтожную величину, как и иудаизм в персидском мире. Иначе дела сложились в католичестве французском, чьи руководители до последнего времени слишком много вмешивались в различные дела, чтобы легко принять такое преобразование своей деятельности, как я описал выше. Особенно важным им кажется сохранить право открывать учебные заведения, ведь они убеждены, что начальными школами и коллежами следует управлять так, чтобы все образование верующих было проникнуто теологическими принципами, которые, по их мнению, помогут священникам направлять души, — это и есть источник яростного соперничества церкви и государства.

Вот уже тридцать лет республиканское правительство движимо своего рода антицерковью, ведущей политику, как правило, тайную[31], порою прямолинейную и неизменно фанатичную с целью подавить во Франции христианские вероисповедания. Эта торжествующая сегодня антицерковь стремится извлечь выгоду из неожиданных успехов, каких она добилась после дрейфусовского переворота. Она полагает, что режим безразличия — это обман, а церковь еще имеет значительное влияние; ее главная забота в том, чтобы в корне подавить все черное духовенство, потому что ее ру-

---

29 Ренан относит эту книгу к времени до возникновения второго Храма; я придерживаюсь мнения Исидора Леба, потому что оно кажется мне более правдоподобным.

30 В литературе периода после уничтожения независимости иудаизм проявляет столь потрясающее равнодушие к государству, что Ренан удивляется этому как парадоксу: «Чего же стоят все наши монашеские братии? — вопрошает он. — Католическая церковь, как бы она ни презирала государство, без него прожить не смогла бы» (op. cit., tome III, p. 427 [930]).

31 Например, пресловутая нейтральность в отношении школы была лишь военной хитростью с целью усыпить бдительность католиков. Сегодня официальные представители правительства заявляют, что важнейшей целью начального образования должно быть устранение религиозной веры. (См. выступление Аристида Бриана перед Лигой образования в 1906 г. в Анже.)

ководители справедливо считают, что белого духовенства для сохранения католичества будет недостаточно.

V

Нынешнее положение католичества во Франции показывает достаточно примечательных сходств с положением пролетариата, вовлеченного в классовую борьбу, чтобы пробудить в синдикалистах неподдельный интерес к внимательному изучению современной истории церкви. Как в рабочей среде есть множество *реформистов*, мнящих себя большими знатоками общественной науки, так и католические круги не знают недостатка в сдержанных людях, хорошо знакомых с современными науками, понимающих потребности своего века, грезящих о религиозном мире, моральном единстве нации, компромиссе с врагом. Но у церкви нет таких возможностей для избавления от дурных советчиков, какие есть у профсоюзов.

Ренан замечает, что обострение гонений в Риме вызвало всплеск идей о пришествии Антихриста[32], а следовательно, и всевозможных апокалиптических упований на царствие Христа. Стало быть, мы можем сравнить эти преследования с крупными насильственными стачками, которые так усиливают значение катастрофических концепций. В наше время мы уже не увидим таких жестокостей, как в первые века нашей эры, однако Ренан — опять весьма справедливо — считал, что мученичество способны заменить монастыри[33]. Отдельные религиозные ордены, конечно, весьма успешно воспитывали героизм, но к несчастью, некоторое время назад монашеские учреждения, похоже, начали всерьез стремиться к приобретению светского характера, чтобы добиться большего успеха у мирян. Эти новые обстоятельства ведут к тому, что церковь сегодня теряет условия, которые долгое время способствовали появлению героических вождей, поддерживали их силы и пропагандировали их власть. Примирителям сегодня не приходится сильно опасаться возмутителей.

Благоразумные католики, как и *благоразумные* люди в рабочей среде, считают, что лучший способ улучшения трудной ситуации состоит в принятии покровительства политических сил, и церковные коллежи весьма способствуют развитию у своих подопечных интриганства. Церковные деятели были сильно удивлены, когда на собственном горьком опыте узнала цену этого *благоразумия*: парламент принял ряд

32 *Renan*, Marc-Aurèle, p. 337 [955].

33 Ibid., p. 558 [1095].

антицерковных законов, очевидно продиктованных масонами; умножились приговоры против конгрегаций, основанные на причудливых мотивировках; публика с чрезвычайным безразличием приняла откровенный произвол; все средства против антицеркви оказались, таким образом, недоступны. Католики возрадовались нескольким красноречивым голосам, клеймившим несправедливые законы, но негодование последних исчерпалось литературой, и единственное героическое решение, на которое они оказались способны, было сбором небольшого числа голосов в поддержку сганарелей, столь комично представляющих церковь в парламенте[34].

Практика стачек натолкнула рабочих на более смелые мысли: они питают совсем мало уважения к бесчисленным бумагам, которые слабоумные законодатели марают нелепыми формулами социального мира, и заменяют обсуждение законов[35] боевыми действиями. Они больше не позволяют депутатам-социалистам поучать себя, и *реформистам* почти всегда приходится отступать, когда смельчаки выдвигают хозяевам победоносные требования.

Многие полагают, что если у профсоюзов будет хватать средств, чтобы заниматься полномасштабной взаимопомощью, то их умонастроение изменится. Большинство членов профсоюзов станут бояться, что кассам товарищества придется по суду возмещать убытки, нанесенные не вполне законными действиями революционеров, и тогда распространение получат тактики хитрости, а управление перейдет к *ловкачам*, с которыми республиканские чиновники всегда находят общий язык. Священники заняты другими экономическими заботами: им удалось без особого ущерба для себя отказаться от фабрик, потому что прокормиться им позволяет щедрость верующих, но они опасаются, что потеряют возможность отправлять культ, используя, как они привыкли, богатую утварь. Не имея определенных прав на церкви, священники не могут дать благочестивым людям уверенность, что их дары всегда будут усиливать великолепие культа. Вот почему некоторые католики-интриганы непрестанно предлагают папству планы примирения.

Собрания епископов, прошедшие после голосования по закону об отделении церкви от государства, показали, что, если бы парламентский режим работал должным образом,

---

34 21 декабря 1906 г. в парламентском споре об условиях изгнания кардинала Ришара из его дворца Дени Кошен уверенно разыграл амплуа комического *дурачка*.

35 9 ноября 1906 г. Аристид Бриан заявил парламенту, что, поскольку депутаты-католики отказались заниматься законом об отделении церкви от государства, он не сможет доработать этот законопроект. Вот ясное свидетельство пользы от парламентариев.

во французской церкви победило бы *умеренное* крыло. Прелаты не скупились на торжественные заявления о безусловных правах религиозной монархии[36], но явно стремились не создавать помех Аристиду Бриану. Множество фактов указывает на то, что епископальный парламентаризм при секулярном режиме мог бы дать министрам Республики даже больше влияния на церковь, чем когда-либо имели министры Наполеона III. Папство в конце концов приняло единственно разумное решение — упразднило общие собрания, чтобы ловкачи не мешали смельчакам; впоследствии французские католики благословят Пия X, спасшего честь их церкви.

Этот опыт парламентаризма достоин изучения. Профсоюзам тоже следует опасаться грандиозных торжественных заседаний, на которых правительство так легко может воспрепятствовать исполнению любого смелого решения. Войну не ведут под руководством парламентских ассамблей[37].

Католичество всегда отводило боевую роль малочисленным организациям, чьи члены строго подбирались, подвергаясь испытаниям, предназначенным подтвердить их призвание. Этим правилом пользуется черное духовенство, в то время как революционные авторы слишком часто о нем забывают. Один тред-юнионистский вождь так изложил его Полю де Рузье: «Поглощая слабые эле-менты, мы ослабеваем сами»[38]. Именно благодаря элитным войскам, получив-шим превосходную подготовку в монашеской жизни, готовым преодолеть любые препятствия и полным безусловной веры в победу, католицизм по сей день может торжествовать над врагами. Всякий раз, как для церкви возникала серьезная опасность, люди, отличающиеся, подобно великим полководцам, способностью находить слабые места армии противника, создавали новые религиозные ордены, пригодные для тактики, какой требовала новая война. Религиозная традиция сегодня потому кажется столь уязвимой, что она

---

36 Точно так же на социалистических съездах нет недостатка в заявлениях, предрекающих гибель буржуазии.

37 Республиканцы, похоже, нисколько не расположены прощать Пию X расстройство их махинаций: Аристид Бриан несколько раз жаловался в Палате депутатов на поведение папы; он даже намекал, что оно спровоцировано Германией: «Закон собирались принять. Что же случилось? Мне это неизвестно. Может быть, на решения Святого престола повлияла ситуация у соседей? Становится ли положение в этой стране *расплатой за улучшение положения в другой*? [...] Вот проблема, которая встает перед нами, и я не только могу, но и обязан поставить ее перед вашей совестью» (заседание 9 ноября 1906 г.). Жозеф Рейнак, посетовав на зловредность Пия X, утешается, заявляя, что у него «образование приходского священника» и что он не понимает важности результатов Реформации, «Энциклопедии» и Революции (*Histoire de l'affaire Dreyfus*, tome VI, p. 427).

38 *De Rousiers*, Le Trade-unionisme en Angleterre, p. 93.

не основала себе учреждений, способных бороться с антицерковью; верующие, возможно, еще сохраняют немало набожности, однако они образуют инертную массу.

Для пролетариата было бы крайне опасно не использовать разделение задач, которое так хорошо удавалось католицизму за его длительную историю, — тогда он превратится в неподвижную массу, обреченную, как и демократия[39], на упадок под предводительством политиков, живущих за счет подчинения своих избирателей. Профсоюзам следует стремиться не столько увеличивать членскую базу, сколько стягивать к себе сильные элементы, и революционные стачки незаменимы для проведения такого отбора, потому что они отталкивают примирителей, которые могли бы испортить отборные войска.

Разделение задач позволило католицизму представить весь спектр различий: от групп, чья жизнь как бы погружена в общее единство, до орденов, посвящающих себя абсолюту. Благодаря религиозным специализациям католицизм находится в гораздо лучших условиях, чем протестантизм: согласно принципам Реформации, настоящий христианин должен быть способен произвольно переходить от экономического типа к монашескому, а такого чередования от отдельного человека добиться гораздо труднее, чем беспрекословной дисциплины от монашеского ордена. Ренан сравнивал небольшие англосаксонские конгрегации с монастырями[40]: эти группы показывают нам, что принцип Реформации подходит лишь для исключительных натур, но их деятельность, как правило, менее плодотворна, чем действия черного духовенства, так как их меньше поддерживает широкая христианская публика. Многие отмечали, что церковь с чрезвычайной легкостью заимствовала новые системы обеспечения духовной жизни, внедрявшиеся основателями орденов, — протестантские пасторы, напротив, почти всегда были весьма враждебны к сектам, в частности, англиканская церковь жестоко раскаялась в том, что выпустила из-под контроля методистов[41].

Таким образом, большинству католиков удалось остаться в стороне от поисков абсолюта и тем не менее

---

39 Социалистическая партия превратилась в демократическую сутолоку, потому что в нее входят «офицеры, кавалеры орденов, богачи, крупные рантье и промышленники» (см. статью Люсьена Ролана в Le Socialiste от 29 августа 1909 г.).

40 *Renan*, op. cit., p. 627 [1138].

41 По этому поводу часто цитировали Маколея, заметившего, что если бы Уэсли был католиком, то он, наверное, основал бы крупный религиозный орден (*Macaulay*, Essais philosophiques, trad. franç., p. 275; *Brunetière*, op. cit., p. 37–38). Америка, похоже, нашла лучшее применение пылу сектантов, чем Англия.

весьма успешно сотрудничать с теми, кто защищал или совершенствовал доктрины в борьбе. Элита, совершавшая набеги на неприятельские позиции, получала материальную и моральную поддержку от масс, видевших в ней воплощение христианства. В зависимости от выбранной точки зрения мы можем считать общество единством или множественностью антагонистических сил: приближение к экономико-юридическому единообразию, как правило, достаточно выражено, чтобы можно было в большинстве случаев не заниматься поисками религиозного абсолюта, который представляют монахи; с другой же стороны, множество важнейших вопросов невозможно понять, если не рассматривать в качестве преобладающей деятельность боевых организаций.

Подобные наблюдения можно сделать и по поводу рабочих организаций: кажется, что их разнообразие будет бесконечно расти по мере того, как пролетариат станет ощущать в себе все больше сил, чтобы занять видное положение в мире. Социалистические партии видят свою задачу в том, чтобы снабжать эти организации идеями[42], давать им советы и собирать их в единый классовый союз, в то время как их парламентские действия установят связь между рабочим движением и буржуазией — а ведь известно, что социалистические партии позаимствовали у демократии любовь к единству. Чтобы как следует понять реальность революционного движения, необходимо принять точку зрения, диаметрально противоположную точке зрения политиков. В экономико-юридическую жизнь общества более или менее глубоко вовлечено множество организаций, так что предпосылки единства в обществе производятся автоматически. Другие группы, не столь многочисленные и основанные на строгом отборе, ведут классовую борьбу — именно они увлекают за собой пролетарскую мысль, создавая идеологическое единство, в котором нуждается пролетариат для выполнения своей революционной задачи. Их вожди не требуют никаких наград, весьма отличаясь в этом, как и во множестве других свойств, от интеллектуалов, требующих, чтобы беззаботную жизнь им обеспечили бедняки, перед которыми они соглашаются краснобайствовать[43].

---

42 Притязание тем более нелепое, что у этих партий нет подходящих идей.

43 Это приложение было написано в сентябре 1909 г. для второго издания «Размышлений о насилии». — *Прим. ред. фр. изд.*

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Апология насилия

Тем, кто обращается к народу с революционными речами, приходится подчиняться суровым требованиям искренности, ведь рабочие не занимаются символической интерпретацией, а понимают эти речи в точном смысле, каким их наделяет язык. Когда в 1905 году я рискнул несколько углубиться в вопрос о пролетарском насилии, я полностью отдавал себе отчет, что принимаю на себя серьезную ответственность, пытаясь подчеркнуть в этих действиях их историческую роль, которую наши парламентские социалисты стремятся поискуснее скрыть. Сегодня я без колебаний заявляю, что социализм не может существовать без апологии насилия.

Пролетариат утверждает свое существование в стачках. Я не могу решиться усматривать в стачках нечто подобное временному разрыву торговых отношений между бакалейщиком и поставщиком чернослива, которые не смогли договориться о ценах. Стачка есть военное событие, поэтому утверждение, что насилие является случайностью, которой предстоит исчезнуть из стачек, представляет собой грубую ложь.

Социальная революция есть продолжение войны, в которой каждая крупная стачка является одним из эпизодов. Вот почему синдикалисты говорят об этой революции на языке стачек. Социализм для них сводится к идее, к ожиданию, к подготовке всеобщей стачки, которая, подобно наполеоновской битве, полностью уничтожит обреченный режим.

Такая концепция не содержит никакой тонкой экзегезы в духе тех, в которых преуспел Жорес. Речь идет о перевороте, в ходе которого организованные производители выставят вон хозяев и государство. Наши интеллектуалы, надеющиеся получить у демократии лучшие места, будут отправлены к своей литературе, а парламентские социалисты, пользующиеся определенной властью в созданной буржуазией системе, станут бесполезными.

Установление сходства между насильственными стачками и войной влечет за собой массу последствий. Никто (кроме Этурнеля де Констана) не сомневается, что именно война дала античным республикам представления, украшающие нашу современную культуру. Социальная война, к которой пролетариат непрестанно готовится в профсоюзах, может породить элементы новой цивилизации, присущей народу производителей. Я не перестаю привлекать внимание своих

молодых друзей к проблемам, которые ставит социализм, рассмотренный с точки зрения цивилизации производителей; я вижу, что сегодня разрабатывается новая философия по плану, о котором едва подозревали несколько лет назад, и эта философия тесно связана с апологией насилия.

Творческая ненависть никогда не вызывала у меня такого восторга, с каким в ней относился Жорес. Я не разделяю его снисходительности к палачам и питаю отвращение ко всяким мерам, поражающим побежденных под прикрытием правосудия. Война, которая ведется открыто, без всякого лицемерного смягчения, с целью поражения непримиримого врага, исключает все мерзости, которые опорочили буржуазную революцию XVIII века. Здесь апология насилия особенно очевидна.

Едва ли имеет смысл объяснять беднякам, что они неправы, когда испытывают к хозяевам зависть и жажду мести: эти чувства слишком властны, чтобы их можно было умерить увещеваниями; именно на их всеобщности демократия прежде всего и основывает свою силу. Социальная война, взывая к чести, естественно возникающей в любой организованной армии, может устранить подлые чувства, против которых мораль осталась бы бессильной. Даже если бы это была единственная причина приписывать революционному синдикализму высокую цивилизаторскую ценность, я счел бы ее достаточно весомым доводом в пользу апологетов насилия.

Идея всеобщей стачки, порожденная практикой насильственных стачек, содержит в себе концепцию неотменимого преобразования. В этом есть нечто пугающее, и страха будет еще больше, когда насилие займет более важное место в умах пролетариев. Но, пустившись в тяжелое, опасное и возвышенное предприятие, социалисты возносятся над нашим легкомысленным обществом и доказывают, что они достойны указывать миру новые пути.

Парламентских социалистов можно сравнить с чиновниками, из которых Наполеон создал дворянство и которые трудились над укреплением государства, доставшегося им от Старого режима. Революционный синдикализм тогда будет подобен наполеоновским армиям, солдаты которых совершили столько подвигов, зная, что останутся бедняками. Что же осталось от Империи? Ничего, кроме эпопеи Великой армии. От современного социалистического движения останется эпопея стачек.

Le Matin, 18 мая 1908 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III[44]

За Ленина

4 февраля 1918 года Le Journal de Genève опубликовал статью под заглавием «Вторая опасность». Большую часть этой статьи я привожу ниже.

«Великая революционная волна, пришедшая с Востока, растекается в Европе, она прокатилась по германским равнинам и уже бушует у подножия наших Альп. Мы должны быть готовыми к тяжелейшему испытанию, прежде чем наша страна отстоит свое право на существование в обновленном мире, который породит война. Пошлые и пустые ссоры между франко-швейцарцами и германо-швейцарцами остаются в прошлом, это печальный эпизод, к которому не стоит возвращаться. Готовятся другие, гораздо более серьезные битвы. Вырыта другая яма, и засыпать ее будет труднее.

Становится все очевиднее, что в наших больших городах слаженно и методично распространяется международная агитация. Ее цель — спровоцировать насилие и революцию, которая, перемещаясь из Швейцарии, постепенно захватит соседние страны.

[...] Перед войной в синдикалистских кругах распространялась доктрина Силы, имевшая очевидное родство с идеями германских империалистов. В «Размышлениях о насилии» Жорж Сорель проповедовал такое новое евангелие: «Роль насилия в истории, — говорил он, — предстает чрезвычайно значительной, если только оно является резким и прямым выражением классовой борьбы»[45]. Ничто не совершается без насилия. Но теперь оно должно осуществляться не сверху вниз, как прежде, а снизу вверх. Здесь нет притязаний положить конец злоупотреблениям Силы. Есть лишь желание, чтобы Сила перешла в другие руки, а вчерашний угнетенный стал завтрашним тираном[46], пока маятник не

---

44 Это приложение было написано в сентябре 1919 г. для четвертого издания «Размышлений о насилии».

45 На с. 100 читаем: «Пролетарское насилие, осуществляемое как чистое проявление чувства классовой борьбы, предстает, таким образом, как нечто возвышенное и героическое». Вероятно, сотрудник Le Journal de Genève пользовался старым изданием — я не проверял эту ссылку.

46 Между тем в своей книге я подверг жесткой критике тиранию Французской революции, которая часто приводила к кровопролитиям.

качнется в обратную сторону, возвращая все в первоначальное состояние.

Во время пребывания в Швейцарии Ленин и Троцкий, должно быть, размышляли на досуге над книгой Жоржа Сореля. Они применяют ее принципы с устрашающей последовательностью. [...] Им требуется армия, чтобы навязать большому и вялому народу, веками приучаемому к рабству, тираническое господство меньшинства. [...] Положить конец внешней войне они хотят лишь для того, чтобы вести по своей прихоти войну классовую. Эти милитаристы-якобинцы стремятся установить к собственной выгоде царизм наизнанку. Вот идеал, который сегодня предлагают европейским нациям.

В Германии социализм пронизан тем же деспотическим духом. Марксизм — брат и враг прусского милитаризма. У них общий характер и общие ме-тоды, общий культ автоматической дисциплины, общее глубокое презрение ко всякой личной независимости[47].

[...] Но не будем беспокоиться. Швейцария все еще остается страной, где у каждого гражданина есть старая привычка исполнять на своем месте свое дело, свой долг. И делает он это добровольно и свободно, потому что таково его дело и его долг, а не потому, что его превратили в автомат. [...] Ему ненавистен любой деспотизм — неважно, исходит ли он сверху или снизу. Поэтому швейцарский гражданин, наследник долгой истории здоровой и нормальной общественной жизни, не позволит навязать себе доктрины, пришедшие из соседней империи, чьи подданные до сих пор содержатся в состоянии политического несовершеннолетия, или республики, чья история насчитывает всего несколько месяцев, самодельные граждане которой не имеют никакого политического воспитания и в своем громадном большинстве не умеют ни читать, ни писать.

---

47 Приписывать марксизму все обычаи германской социал-демократии несправедливо, ведь она находилась больше под влиянием Лассаля, чем Маркса. Шарль Андлер писал в 1897 г. о Лассале: «Он требует для дела освобождения пролетариата всеобщего избирательного права, чтобы обеспечить силу идеального правосудия. Но тотчас же его охватывают сомнения, и, словно бы сознавая свою ошибку, он обращается ради введения своих практических реформ к наличному государству, будь оно даже военное и монархическое. Из колебания между двумя системами возникла любопытная конституционная концепция — сочетание военной монархии с всеобщим избирательным правом: постоянно вступая в противоречия, они вместе работают над проведением социальной эмансипации. Таков портрет сегодняшней Германской империи» (*Les Origines du socialisme d'État en Allemagne*, p. 60–61).

Пусть все Papierlischweizer[48, 49], которые начинают говорить у нас с хозяйскими интонациями и позволяют себе навязывать чересчур послушным собраниям ультиматумы в адрес наших властей, примут это к сведению. Мы не позволим им устраивать саботаж в приютившей их стране. Если они воображают, что швейцарская нация может служить питательным бульоном для вибрионов хаоса, они сильно ошибаются. Мы сумеем уберечься как от гражданских раздоров, так и от международной войны, зная, впрочем, что первые могут быть лишь предвестниками второй, а малейшая трещина в стенах нашего дома может стать брешью, открытой для вторжения»[50].

Хотя друзей Le Journal de Genève неоднократно обвиняли в том, что они — агенты тайной дипломатии Антанты, хотелось бы верить, что профессор Поль Сейппель, написав эту статью, не был столь милосерден, чтобы пожелать привлечь ко мне внимание французской тайной полиции. Нет необходимости пояснять моим читателям, что этот видный представитель либеральной буржуазии ничего не понял в моей книге. Его случай вновь показывает, как полемисты, стремясь защитить латинскую цивилизацию от северных варваров, впадают в глупость.

***

Я не имею намерения заслужить снисхождение Полей Сейппелей, которым нет числа в области *литературы о Победе*, при помощи проклятий в адрес большевиков, которых так боится буржуазия[51]. У меня нет ни малейшего основа-

---

48 *Сионисты* аналогичным образом называют *французами гербовой бумаги* евреев, которые хотят у нас натурализоваться.

49 Papierlischweizer (нем.) — швейцарцы по документам, букв. «по бумажкам». — *Прим. пер.*

50 Автор, очевидно, пугает соотечественников интервенцией Антанты. При режиме миролюбивого Луи-Филиппа Швейцария дважды подвергалась нашествию французов: в 1838 г. за то, что не хотела изгнать будущего Наполеона III, который был гражданином кантона Тургау, а в 1848-м за то, что после дела Зондербунда попыталась изменить свою конституцию, усилив унитарность государственного устройства. Во время последней войны обязательства Антанты относительно швейцарского нейтралитета были не очень категоричны. Генерал Бриальмон писал, что Франция может вторгнуться в Германию, пройдя через Швейцарию. Швейцарский генеральный штаб весьма часто подвергался яростным нападкам прессы, выступавшей за Антанту, потому что всерьез воспринял идеи великого бельгийского инженера.

51 Трусы из Священного союза боятся большевиков даже больше, чем немцев, и это не преувеличение! Ведь побежденная, униженная, задавленная военными поборами Германия до сих пор безмерно страшит наших патриотических демагогов. Чтобы немного приободрить своих читателей, редакторы крупных газет обычно говорят о русских революционерах хвастливым тоном, бесстыдство которого соответствует следующему их ужасу.

ния предполагать, что Ленин заимствовал какие-то идеи из моих книг , но если это так, я был бы несказанно горд тем, что поспособствовал интеллектуальной подготовке человека, который, по моему мнению, является одновременно крупнейшим теоретиком социализма со времен Маркса и государственным деятелем, чей гений сравним с гением Петра Великого.

В момент падения Парижской коммуны Маркс написал манифест Интернационала, в котором сегодняшние социалисты привыкли искать наиболее полное выражение политических доктрин своего учителя. Речь, произнесенная Лениным в мае 1918 года о власти Советов, имеет не меньшее значение, чем Марксово исследование гражданской войны 1871 года. Может быть, большевики в конечном счете и потерпят поражение под ударами наемников, подосланных плутократиями Антанты, но идеология новой формы пролетарского государства не погибнет — она выживет, сплавляясь с мифами, а они возьмут свой материал в борьбе, которую ведет Советская республика против коалиции великих капиталистических держав.

Когда Петр Великий взошел на престол, Россия немногим отличалась от меровингской Галлии — он же хотел преобразовать ее до основания, чтобы его империя заняла достойное место среди высокоцивилизованных государств своей эпохи. Всякому, кто мог бы называться *руководителем* (придворные, чиновники, офицеры), он вменил в обязанность подражать тем, кто занимал подобные посты во Франции. Его труд завершила Екатерина II, которую философы вольтеровской эпохи по праву превозносили как величайшую установительницу порядка, как его понимали в XVIII веке.

Можно сказать, что Ленин, подобно Петру Великому, стремится ускорить ход истории. Он пытается ввести у себя на родине социализм, который, согласно наиболее авторитетным теоретикам социал-демократии, может наступить лишь после чрезвычайно развитого капитализма. Между тем российская промышленность долгое время была под гнетом жесткого государственного управления, придирчивой инспекции и технической небрежности, а сейчас находится в состоянии крайней отсталости, и немало видных социалистов считают затею Ленина химерической. Хорошую организацию производства можно было навязать капиталистам с помощью полуслепых механизмов, а роль интеллигенции, которая ограничивалась критикой, отмечая преимущества и недостатки каждой практики, была довольно

незначительной. Если бы социалистическая экономика сменила капиталистическую при условиях, которые предусматривал Маркс, основываясь на наблюдениях об Англии[52], то передача полезных способов организации произошла бы почти автоматически, а интеллигенции оставалось бы разве что защищать приобретения буржуазного прошлого от иллюзий наивных революционеров. Чтобы дать русскому социализму надежную в глазах марксиста (такого, как Ленин) опору, необходима колоссальная умственная работа: нужно показать руководителям производства ценность отдельных правил, заимствованных из опыта самого передового капитализма, нужно убедить массы принять эти правила — при помощи морального авторитета, которым пользуются те, кто верной службой добился народного доверия. Люди, ответственные за революцию, обязаны в любое время защищать ее от инстинктов, неизменно толкающих человечество к самым низким областям цивилизации.

Когда Ленин утверждает, что кампания, которую следует предпринять для окончательного торжества в России социалистического строя, в тысячу раз сложнее самой сложной военной кампании, он нисколько не преувеличивает. Он справедливо замечает, что революционеры никогда не сталкивались с подобной задачей: когда-то новаторам достаточно было лишь разрушить некоторые учреждения с дурной репутацией, а восстановление они предоставляли инициативам предпринимателей, которых толкали к этому поиски сверхприбылей, — но большевикам приходится и разрушать, и строить наново, чтобы капиталисты больше не встревали между обществом и

---

52 В 1888 г. русский «Юридический вестник» опубликовал найденную в бумагах Маркса заметку, судя по которой автор «Капитала» был весьма далек от мысли, что все экономики должны развиваться одинаково. Он не считал, что для достижения социализма России необходимо начать с разрушения своего старого общинного земледелия, чтобы превратить крестьян в пролетариев, а полагал, что Россия может, «не испытав мук [капиталистического] строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные исторические данные» [Цит по: *Маркс К. и Энгельс Ф.*, ПСС, т. 19, с. 119]. Эта заметка Маркса воспроизведена Николас-Оном в его «Истории экономического развития России после освобождения крепостных» (Histoire du développement économique de la Russie depuis l'affranchissement des serfs, trad. franç., p. 507–509). В написанном в 1882 г. предисловии к русскому переводу «Манифеста коммунистической партии» Маркс выразил следующее гипотетическое мнение: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития» [Цит по: *Маркс К. и Энгельс Ф.*, ПСС, т. 19, с. 305]. Этих текстов достаточно, чтобы продемонстрировать, что подлинный марксизм не так категоричен в своих прогнозах, как хотят утверждать враги Ленина.

трудящимися. Любой прогресс в промышленности достигается лишь длительным обучением. Руководители производства должны останавливаться, как только замечают, что избрали неверный путь, и искать возможности больше преуспеть посредством другого метода — именно это называется приобретением опыта. Ленин отнюдь не из тех идеологов, кто полагает, будто гений ставит их выше уроков действительности, поэтому он крайне внимателен к наставлениям, которые преподает ему практика с момента свершения революции.

Итак, чтобы русскому социализму удалось достичь стабильной экономики, ум революционеров должен быть чрезвычайно деятельным, прекрасно осведомленным и полностью свободным от предрассудков. Даже если Ленину не удастся осуществить всю свою программу, он оставит миру весьма серьезные уроки, которые пригодятся европейскому обществу[53]. Ленин с полным правом может гордиться своими товарищами: русские трудящиеся обретают бессмертную славу, приступая к осуществлению того, что до сих пор было лишь абстрактной идеей.

***

Вопреки предсказаниям главных представителей Антанты, подавить большевизм, очевидно, не так-то легко. Английское и французское правительства должны уже были заметить, что они напрасно столь услужливо прислушивались к русским богачам, живущим в западных столицах: эти люди не имеют ни малейшего представления об идеях, воздействующих на рабочих и крестьян в их стране.

Хотя Ленин долго жил за пределами России, он остался подлинным московитом. Когда придет время судить о современных событиях с исторической беспристрастностью, станет заметно, что большевизм обязан значительной частью своей силы тому факту, что массы видят в нем бунт против олигархии, у которой главная забота — как бы не выглядеть русскими. В конце 1917 года бывший орган «Черной сотни» писал, что большевики «доказали, что они больше русские, чем бунтовщики Русский, Каледин[54] и другие, предавшие царя и отечество» (Le Journal de Genève, 20 décembre 1917). Россия терпеливо переносит большие страдания, потому что чувствует, что ею наконец правит подлинный московит.

---

53 См. речь Ленина, переведенную в L'Humanité от 4 сентября 1919 г.

54 Весьма вероятно, подкупленные Антантой.

На протяжении двухсот лет лишь один царь хотел быть русским — Николай I: «Я люблю свою страну, — говорил он в 1839 году Кюстину, — и мне кажется, понимаю ее; поверьте, когда невзгоды нашего времени слишком уж донимают меня, я стараюсь забыть о существовании остальной Европы и ищу убежища в глубине России. [...] Нет человека более русского сердцем, чем я»[55]. Кюстин полагал, что Николай стремился привести «к естественному состоянию нацию, которая более столетия назад была сбита с истинного своего пути и призвана к рабскому подражательству» — в частности, император требовал, чтобы при дворе говорили по-русски, хотя большинство дам не знали родного языка[56]. Кюстин сожалел, что Николай, «несмотря на свое здравомыслие и глубокую проницательность», не решился переехать из Петербурга в Москву: «...он исправил бы ошибку царя Петра, который увлекал своих бояр в театральную залу, возведенную для них на берегу Балтийского моря, вместо того чтобы просвещать их в родных краях, пользуясь их великолепными природными богатствами — богатствами, которые Петр отверг с презрением и легкомыслием, недостойными такого выдающегося человека, каким был в некоторых отношениях этот император. [...]

Либо Россия не выполнит того назначения, какое, по моему убеждению, ей предначертано, либо в один прекрасный день Москва вновь станет столицей империи. [...] В тот день, когда российский престол будет с подобающими почестями перенесен в сердце империи... в этот день я скажу: „Наконец-то справедливая гордость славян восторжествовала над суетным тщеславием их вождей, наконец-то русский народ сможет зажить собственной жизнью“»[57].

Большевиков осуществить перенос столицы вынудили военные обстоятельства: если бы случилось так, что они потерпели бы поражение, то едва ли реакционное правительство посмело бы отнять у древней Москвы ранг столицы[58] — таким образом, даже если допустить, что новый режим не продлится долго, он все же поспособствует усилению «московизма» в обществе, вожди которого столь долго равнялись на Запад.

---

55 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: в 2 тт. М.: ТЕРРА, 2000. Т. 1. С. 261–262. Выше [на с. 259] этот автор называет его «славянским Людовиком XIV».

56 Там же. С. 363.

57 Там же. Т. 2. С. 160–161.

58 Если Финляндия и Эстония останутся отделенными от России, то расположение столицы в устье Невы окажется совсем неудобным.

Именно опираясь на московские свойства большевизма, мы как историки можем говорить о происходящих в России революционных репрессиях[59]. Конечно, в обвинениях, возводимых прессой Антанты на большевиков[60], много лжи, но чтобы здраво оценить прискорбные эпизоды русской революции, нужно задуматься, что сделали бы великие цари, если бы им угрожали восстания, подобные тем, которые вынуждена быстро подавлять Советская республика, если не хочет погибнуть. Они, конечно, не отступили бы перед самыми страшными и жесткими мерами, чтобы подавить заговоры, поддержанные заграницей и множащие убийц[61]. С другой стороны, национальные традиции предоставляли *Красной гвардии* бесчисленные прецеденты, так что она поверила в свое право подражать им ради защиты Революции[62]; после чудовищно кровавой войны, в ходе которой генерал Корнилов уничтожал целые полки (Le Journal de Genève, 16 octobre 1917), человеческая жизнь в России уже не может цениться[63]; во всяком случае, число расстрелянных большевиками намного меньше числа жертв блокады, организованной официальными органами демократического правосудия.

К тому же, Ленин — не кандидат на премию за добродетель, присуждаемую Французской академией. Он подсуден только *русской истории*, и единственный действительно важный вопрос, о котором может рассуждать

---

59 Le Journal de Genève от 27 сентября 1918 г. приводит речь Ленина, в которой тот выступает против массовых высылок, объявленных после покушения, жертвой которого он едва не стал в начале этого месяца. По-видимому, ответственность за террористические приказы, в которых упрекают большевиков, лежит преимущественно на евреях — участниках революционного движения. Эта гипотеза кажется мне тем правдоподобнее, что к неудаче привело и вмешательство евреев в дела Венгерской советской республики.

60 Наши соотечественники, считающие себя самыми умными людьми в мире, согласились, как дураки, с самой что ни на есть абсурдной клеветой, выдуманной бесстыдными журналистами с целью обесчестить большевиков...

61 3 сентября 1918 г. Le Petit Parisien — издание, милое сердцу наших Жозефов Прюдомов [см. прим. 89 к основному тексту. — *Прим. ред.*], — опубликовал исполненную исступленной радости статью в честь Доры Каплан, совершившей покушение на Ленина.

62 Один сотрудник Le Journal de Genève предполагает, что русские контрреволюционеры, возможно, сильно рассчитывали на помощь криминальных элементов, так как они распространяли прокламации, призывающие «население убивать жидов и революционеров» (14 октября 1917 г.). Во многих случаях красногвардейцы могли верить, что, расправляясь с врагами, полными решимости уничтожить их в случае победы, они применяли законную самооборону.

63 Политики, вместе с Клемансо утверждающие, что Французская революция сформировала некий *блок*, едва ли имеют право осуждать большевиков. Этот *блок*, которым восхищается Клемансо, уничтожил по меньшей мере в десять раз больше людей, чем большевики, изобличаемые друзьями Клемансо как отвратительные варвары.

философ, — способствует ли Ленин направлению России к созданию республики производителей, способных справиться со столь же прогрессивной экономикой, как в наших капиталистических демократиях.

***

Вернемся под конец к моральной общности, которая, по мнению Le Journal de Genève, якобы связывает меня с Лениным. Если память мне не изменяет, ни в одной из своих работ я не защищал высылки, поэтому абсурдно предполагать, как профессор Поль Сейппель, что Ленин мог найти в «Размышлениях о насилии» какое-то побуждение к терроризму. Но если он действительно обдумывал мою книгу во время пребывания в Швейцарии, то она могла оказать на его гений совершенно иное влияние, нежели то, о котором говорит мой обвинитель. Возможно, эта книга, столь прудоновская по своему духу, подтолкнула бы Ленина к заимствованию доктрин, изложенных Прудоном в «Войне и мире». Если это предположение верно, Ленин мог бы всей силой своей страстной души поверить в то, что нарушения права войны ведут к неминуемым историческим санкциям. В таком случае нашлось бы простое объяснение его неукротимому упорству[64].

Вот рассуждение, которое я охотно предоставил бы в пользование Ленину. Голодная война, которую капиталистические демократии ведут против Советской республики, есть война трусливая; она ведет ни много ни мало к отрицанию подлинного права войны, как его определил Прудон. Если допустить, что Красной гвардии придется капитулировать, то плоды поддельной победы Антанты будут недолговечны. Героические же усилия русских пролетариев, напротив, заслуживают вознаграждения от истории и торжества учреждений, ради защиты которых рабоче-крестьянские массы России пошли на такие жертвы. По Ренану, история вознаградила добродетели квиритов, позволив Риму создать средиземноморскую империю. Несмотря на бесчисленные злоупотребления в ходе завоеваний, легионы совершали то, что он называет «Божьим делом»[65]. Если мы признательны римским солдатам за то, что они поставили на место неудавшихся, заблудших и немощных цивилизаций такую цивилизацию,

64 Один французский писатель, наблюдавший большевиков за работой, говорит о ленинском «упрямом и просвещенном мистицизме» (*Etienne Antonelli,* La Russie bolcheviste, p. 272). Что он имеет в виду, не совсем ясно.

65 *Renan,* Histoire du peuple d'Israël, tome IV, p. 267 [1167].

у которой мы до сих пор учимся праву, литературе и искусству, то насколько грядущие поколения будут благодарны русским воинам социализма! Сколь мало будет стоить для историков критика нанятых демократией риторов, обличающих большевистские бесчинства! Новые Карфагены не должны одержать победу над сегодняшним Римом пролетариата.

И вот, наконец, что я хочу добавить от себя лично: да будут прокляты плутократические демократии, которые морят голодом Россию; я всего лишь старик, чья жизнь зависит от ничтожных случайностей; но если бы я только мог перед тем, как сойти в могилу, увидеть унижение чванливых буржуазных демократий, которые торжествуют сегодня с таким цинизмом[66]!

66 В заключение «Размышлений о насилии» я обращаюсь с последней благодарностью к памяти той, которой посвящена эта книга. Думая о многотрудном прошлом, я писал: «Счастлив тот, кто повстречал преданную, сильную, гордую его любовью женщину, которая всегда будет напоминать ему о молодости, не позволит его душе застыть и насытиться, всегда поможет ему не забывать о его долге, а порой даже обнаружить его гений».

ПИСЬМА

Возможностью опубликовать отрывки из неизданной переписки Жоржа Сореля с Даниэлем Галеви мы обязаны любезности Жана-Пьера Галеви. Переписка подтверждает решающую роль Даниэля Галеви в публикации «Размышлений о насилии» отдельной книгой и позволяет проследить многочисленные перипетии, предшествовавшие выходу в свет первого издания книги в мае 1908 года. Здесь можно увидеть и возникновение некоторых сюжетов длинного письма, ставшего введением к книге, в частности темы «избавления», показывающей важность первородного греха в христианском мировоззрении.

Наряду с письмами к «издателю» мы публикуем пространный ответ одному из читателей, Марселю Дальбертозу, представляющий собой своего рода путеводитель по «Размышлениям». За предоставление этого письма мы благодарим г-на Люсьена Депра.

Выдержки из переписки Жоржа Сореля с Даниэлем Галеви по поводу издания «Размышлений о насилии»[1]

20 мая 1907 г.

Милостивый государь.

Ваши слова в нашей беседе в четверг показались мне весьма любезным способом выражения Вашего расположения ко мне, но, как Вы и предположили, я считал такую идею чрезвычайно далекой от действительности.

Мне жаль, что Вы утруждаете себя визитом ко мне, ведь до Булони путь не близок. Утром в субботу я буду дома, в Вашем распоряжении; но если Вы пожелаете, то мы могли бы встретиться в Национальной библиотеке во второй половине дня, что причинит Вам меньше неудобств, — я обычно прихожу туда по субботам около половины второго.

Прошу принять заверения в моей сердечной привязанности.

Искренне Ваш.

---

1 Полностью письма Сореля Даниэлю Галеви будут опубликованы в ближайшее время в журнале «1900». Купюры, сделанные нами в текстах, отмечены знаком [...]. [Полная переписка действительно была опубликована: Lettres de Georges Sorel à Daniel Halévy (1907–1920) Introd. par Michel Prat, in Mil neuf cent, N° 12, 1994, pp. 151–223. — *Прим. рус. ред.*]

27 мая 1907 г.

Милостивый государь.

Вчера я видел Лагарделя[2], который поначалу был немного раздосадован, так как он ранее говорил об этой книге с *будущим* издателем. Но он признал, что было бы не очень по-дружески, как говорят англичане, отказать Вам в том малом удовольствии, о котором Вы просите.

Мой всегдашний издатель не очень доволен, так как он, конечно, имел намерение опубликовать мои статьи, когда его средства будут допускать такого рода расходы. Он дал мне понять, что хотел бы, чтобы Вы обратились к нему.

Как бы то ни было, наше с Вами дело решенное, и я предоставляю Вам право опубликовать эти статьи. Однако я просил бы Вас о небольшой отсрочке для подготовки пояснительной главы, так как у меня сейчас много работы.

Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы оформить эту главу как письмо к Вам — от автора к издателю?

[...]

7 июня 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Я избавился от всех неотложных дел, чтобы приступить к дополнительной главе, которую хочу добавить к «Размышлениям о насилии». Лагардель готов опубликовать это объяснительное письмо в Mouvement socialiste — видите ли Вы здесь какое-нибудь неудобство?

[...]

[конец] июня 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Посылаю Вам заказным письмом дополнительную главу и уведомление к читателю, которые я предполагаю поместить в начало книги. Хотя я и приложил все старания, чтобы писать разборчиво, боюсь, что Вам потребуется много труда, чтобы прочитать мой почерк. Впрочем, плохие почерки всегда дают одно преимущество: написанное мной будет прочитано пословно и Вы сможете лучше рассудить о недостатках моего изложения. Я исправлю части, которые покажутся Вам заслуживающими исправления, ведь, когда ум полностью захвачен одной идеей, мы плохо следим за своей речью: совершенный способ выражения вступает в борьбу с глубинным «Я», о котором нам так красноречиво говорит мэтр[3].

---

2 Юбер Лагардель (Hubert Lagardelle, 1874–1958) — теоретик революционного социализма, основатель и издатель журнала Mouvement socialiste (см. прим. 13 к вступлению).

3 Анри Бергсон. — *Прим. пер.*

Кроме того, я просматриваю текст, стараясь сделать его яснее, и добавляю некоторые примечания. У меня есть злосчастная привычка дописывать вторую книгу в примечаниях к первой. Насколько я знаю, этому искушению часто поддавался и Ренан, когда правил свои гранки.

Искренне Ваш.

6 июля 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Мне отрадно видеть, что мы сошлись в понимании общего основания моральных вопросов, которое так мало занимает наших современников, хотя сами моральные проблемы им и интересны. Это скрытое основание, в котором берут начало движущие силы жизни и куда никто не смеет заглянуть. Люди не только избегают погружения в бездну совести, но еще и старательно скрывают от собственных глаз источник, откуда звучит голос истины. Подлинной моралью достойна называться лишь та, что понимает вещи так, как Вы говорите; лишь уверенное движение, но без надежды на скорое достижение цели, без утилитаристских замыслов, составляет подлинное моральное величие человека.

Главный порок религиозных моральных систем заключался в том, что они придавали поступкам вид коммерческих сделок: благочестивый человек подсчитывает доходы и устраивает свои дела, идя на необходимые жертвы. Человек поистине великий идет по своей путеводной звезде, не зная, ждет ли его в конце пути счастье. Ценность пессимизма связана с тем, что идея избавления способна захватить все сознание и не нуждается в дополнении неким утилитарным расчетом. Мистики — а они были прекрасными психологами — считали, что божественная любовь способна дать ответ на все вопросы, это чувство, которое также заполняет все сознание и приносит успокоение, в то же время побуждая к действию. Вообще говоря, действие приобретает размах лишь тогда, когда сознание спокойно, а волнения проистекают, прежде всего, от болтливого и придирчивого интеллектуализма.

Насколько я понял, Вы хотели бы поставить письмо в начало книги, я же при нумерации страниц предполагал, что оно будет помещено в конце. Это *вопрос вкуса,* и, возможно, лучше ему все-таки быть в начале. Думаю, что его не нужно снабжать кратким содержанием, какое я даю к главам, так как это лишило бы этот фрагмент непринужденного характера, который я стремился ему придать. Если он будет помещен в начало, то я буду за то, чтобы пронумеровать его страницы отдельно. Собственная пагинация подчеркнет, что предисловие написано как *посвящение* и напечатано позже, чем остальные части книги.

[...]

В том отрывке моей рукописи, который Вы не смогли прочесть, я писал, что христиане потому так развили понятие первородного греха, что они чрезвычайно высоко ставят идею избавления — именно она сделала необходимым ужасный первородный грех. Богословы же (обращая исторический порядок вещей) ставят грех в начало и задаются вопросом, как он смог осуществиться. Христиане спрашивали, какое преступление было искуплено страданиями Сына Божьего. Это кажется мне гораздо более правдоподобным, нежели богословская теория.

Искренне Ваш.

29 июля 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Вы попросили меня представить рукопись 25-го числа; 17-го я отнес ее г-ну Моро, который сказал мне, что сначала письмо должно быть напечатано в Mouvement socialiste, поэтому я передал его Лагарделю. У последнего сейчас много забот: владелец типографии, печатающей журнал, обанкротился, так что июльский номер выйдет с запозданием. Тем не менее я думаю, что письмо будет напечатано через месяц. Я внес еще некоторые небольшие правки, так как не умею хранить текст, не редактируя его. Я воспользовался Вашим замечанием о Вечном жиде; у Сент-Бева я не смог найти процитированную Вами фразу Амона: «Жить в мире — вот подлинная борьба».

[...]

26 августа 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Не знаю, послал ли Вам Лагардель гранки письма. Я внес в них правки еще несколько дней назад, но съезды[4] вынудили его пуститься в странствия, и номер выйдет с большим запозданием. Текст, вероятно, нуждается в шлифовке, так как мне пришлось править его в большой спешке. Я совершил оплошность, доверившись Ренану: Немрод, о котором он говорит в предисловии к «Разрозненным листкам» на странице XXIX, не библейский персонаж, а герой В. Гюго! Я постарался по мере возможности это исправить.

Вашу ссылку на Амона я не использовал, так как думаю внести ее в примечание о морали — по-моему, так будет лучше.

---

4 Речь идет, скорее всего, о 4-м национальном съезде Социалистической партии 11–14 августа 1907 г. в Нанси и 23-м Международном социалистическом конгрессе (7-м конгрессе Второго Интернационала) 18–24 августа в Штутгарте.

Не знаю, обращались ли Pages libres[5] в типографию. Боюсь, что они сочтут объем книги чрезмерным. Г-н Кан предлагал мне сделать из него ин-октаво, что не принесет большого неудобства, если цена будет не выше 5 франков.

Предполагаю, что в моей статье о Ж.-Ж. Руссо Вы, вероятно, не обратили внимания на фразу: «Счастлив человек, который...» (июнь 1907 г., с. 513). Я высказал там мысль, дорогую моему сердцу, и, *если это не будет выглядеть неуместным*, я был бы рад посвятить свою книгу памяти женщины, к которой были обращены эти размышления. Насколько мне известно, во Франции это не принято. Я посвятил ей «Опыты критики»[6], поскольку в Италии такой обычай распространен, однако я недостаточно знаком с французским литературным протоколом, чтобы решиться на это, не узнав мнения сведущих людей.

[...]

29 августа 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Копия гранок письма находится у меня, и я занят его окончательной правкой перед печатью. Я смогу передать ее Вам в ближайшее время по нашей договоренности. Когда выйдет журнал, неизвестно: Лагардель в провинции и никому не давал указаний касательно номера.

[...]

Если Вы можете позволить себе потратить время на посещение, Вы нисколько меня не побеспокоите. Я планирую завершить правку завтра и смогу послать Вам исправленные гранки, если пожелаете, но, чтобы они не затерялись во время Ваших разъездов, я буду ждать известия о том, куда их лучше Вам направить.

Искренне Ваш.

31 августа 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Посылаю Вам гранки, которые я отредактировал, прояснив и улучшив текст по сравнению с тем, что выйдет в Le Mouvement. У меня нет ни минуты, и я попрошу Вас передать эти гранки в Pages libres, когда настанет пора их печатать.

[...]

---

5 Pages libres — просветительский журнал, в издании которого участвовал Даниэль Галеви. Основателями журнала были Морис Кан и Шарль Гиес.

6 «Опыты критики марксизма», см. прим. 178 к основному тексту.

5 октября 1907 г.

Мой дорогой издатель.

[...] В четверг я видел г-на Моро, и он сказал мне, что книга еще не вполне готова к изданию. Он также сказал, что Вы пока не бываете в Париже регулярно. [...]

18 октября 1907 г.

Милостивый государь.

Пеги показал мне баланс Pages libres, и он ужасен: если сложить расходы на печать, бумагу, брошюровку и убытки, каждая новая подписка принесет приблизительно 2 франка прибыли в год (при условии, что общие расходы уже оплачены). Чтобы уладить дела, необходимо увеличить количество подписчиков примерно на 1500 человек — тогда мы окончательно преодолеем имеющийся дефицит. Расходовать еще 8000 франков на издание, которое лишь увеличит дефицит, кажется мне бессмысленным с коммерческой точки зрения. Мы не можем рассчитывать на то, что действительно найдем достаточно подписчиков для регулярных выпусков. Наилучшим выходом для предприятия сейчас будет закрыться.

Полагаю, что именно этот вопрос стал камнем преткновения для публикации моей книги. Если Pages libres предпочтут отказаться от наших договоренностей, то мою книгу издаст г-н Ривьер. Мне потребуется изменить лишь несколько слов в предисловии, чтобы привести их в соответствие с новыми обстоятельствами. Это, вероятно, будет наилучшим решением.

[...]

3 декабря 1907 г.

Милостивый государь.

Я только что получил Ваше письмо. Совершенно согласен с Вами: я должен быть вправе забрать свою книгу и начать переговоры с другим издателем, если по прошествии трех месяцев после того, как книжный магазин Pages libres распродаст все экземпляры предыдущего издания, он не приступит к перепечатке, с учетом того, что новое издание должно будет поступить в продажу самое позднее через полгода после полной распродажи предыдущего.

Воистину труднее устроить маленькое дело, чем большое: полагаю, что даже для полного издания Виктора Гюго не нужно было столько хлопот, сколько требуется для моей бедной книжки.

На днях Ривьер спросил меня, не согласятся ли Pages libres вступить в переговоры с ним на предмет издания книги в серии, которую он намеревается начать. Так иногда делают; под-

час книга выходит с именами двух издателей на обложке. Такое сочетание хорошо повлияло бы на продажи; но я сказал ему, что мне это кажется сложным.

Искренне Ваш.

6 декабря 1907 г.

Милостивый государь.

Да! Наконец-то! Должно быть, Вы, как и я, рады, что книгоизданием не приходится заниматься часто, иначе это сводило бы авторов с ума… если предположить, что существует много издательств, подобных нашему.

[…]

8 декабря 1907 г.

Мой дорогой издатель.

У меня нет особых предпочтений относительно типографских шрифтов. Насколько я понимаю, г-н Кан хочет зрительно выделить предисловие — это, вероятно, неплохая идея. Лучше всего было бы напечатать его шрифтом Дидо 9 с разрядкой в два пункта[7]; особенно хорошо читатель замечает изменение интерлиньяжа.

[…]

19 декабря 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Калибан поистине ненасытен; но ему нельзя отказать в этой уступке, хоть она и абсурдна. Для читателя письмо утратит всякий смысл. Я выбрал для него тональность исповеди автора, обращенной к *издателю, который разбирается в словесности,* — сегодня это редкий вид, но он существовал ранее благодаря тому, что издательским делом занимались Этьены[8]. Письмо сильно потеряет в значении, потому что никто не поймет, почему, обосновывая свой образ мыслей и манеру письма, я обращаюсь именно к Вам. Найти какие-нибудь способы исправить это кажется мне очень сложным.

1-я трудность: обращение «милостивый государь» по сравнению с тоном этого отрывка было бы слишком тривиально — так можно обратиться к кому угодно, будучи ему представленным.

2-я трудность: как обозначить причины написания этой дружеской защитительной речи?

---

7 Дидо 9 — типографский кегль в системе Дидо, названной по фамилии ее создателя, печатника Франсуа-Амбруаза Дидо. Типографский пункт — единица измерения кегля.

8 Анри Этьен (Henri Estienne, 1470–?) — печатник, прославившийся новаторской практикой тщательной вычитки книг перед печатью. Его сыновья, продолжая его дело, параллельно занимались древними языками, писали научные труды и составляли словари.

Калибан сказал бы, что это чрезмерные тонкости; но, уверен, что Вы со мной согласитесь: это вопросы вкуса, имеющие определенную важность.

В 1-м тексте, который я Вам представил, я говорил, что Вы убедили меня издать эту книгу. Нельзя ли будет упомянуть об этом где-нибудь в письме? Если Вам не хотелось бы брать единоличную ответственность за издание, я мог бы сказать, что Вы были одним из тех друзей, которые подвигли меня на то, чтобы представить мои идеи на суд широкой публики. Это можно было бы написать на первой странице, после первого вступительного абзаца.

Формальное обращение в начале письма еще предстоит найти, и это очень важно. Возможно, лучше всего будет откровенно воспользоваться самой непринужденной формулировкой: «дорогой Галеви».

Идея дать заголовки для каждой страницы хороша, но, по-моему, ее нелегко применить. К тому же я не знаю ни одной современной книги, где использовалась бы такая система. Ее применял Бергсон, но результат не кажется мне особенно удачным.

Я не помнил той фразы из моего первого текста, которую Вы приводите. Возможно, было бы неплохо воспроизвести ее и вставить в письмо — на строке 15 с. 139 (где я ссылаюсь на Mouvement socialiste). В гранки я добавлю кое-какие размышления Ньюмена, извлеченные из замечательной книги, которую перевела г-жа Гастон Пари и которую я Вам рекомендую, — «Грамматики согласия».

[...]

21 декабря 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Я получил гранки письма. Очень рад, что нам удалось найти выражения, которые верно описывают факты и при этом удовлетворяют Калибана.

[...]

24 декабря 1907 г.

Мой дорогой издатель.

Посылаю Вам исправленные гранки предисловия. Кажется, мне удалось улучшить текст, учитывая Ваши указания. Я воспользовался Вашим напоминанием о первом тексте, чтобы показать, насколько я далек от методов научных школ. В момент написания я еще не прочел книгу Ньюмена в переводе г-жи Гастон Пари. Я сделал оттуда несколько выписок, которые, по-моему, представляют известный интерес. Возможно, они побудят кого-то прочесть эту книгу — в ней много превосходных кусков и глубоких наблюдений о душе верующего.

Если Вы найдете текст в таком виде подходящим, то будьте добры, отошлите его г-ну Моро. Если же Вы желаете каких-то исправлений, я внесу их.

Я вернул в текст посвящение, о котором, по всей видимости, забыли при наборе. Я хочу сохранить его, как мы и условились.

[...]

17 мая 1908 г.

Мой дорогой издатель.

[...] У нас будет отличная реклама: вчера г-ну Моро телефонировали из Le Matin[9] и попросили его, чтобы я дал небольшую статью. Г-н Моро полагает, что это очень полезно. Это помешает г-ну Мюре написать о книге в Journal[10]; я написал ему по этому поводу, хотя, возможно, он и не имел намерения этого делать.

Я не посылал Вам экземпляров, полагая, что у Вас нет настроения читать, — и не зная, уместно ли мне как автору преподносить книгу моему издателю.

[...]

16 января 1910 г.

Милостивый государь.

Успех, которого добились «Размышления», заставляет меня горько сожалеть о том, что черная зависть Кана не дала мне указать, что Вы были их издателем. Новое издание (совпадающее с первым, но дополненное еще одной главой) выйдет, вероятно, только через неделю; издатель дал типографии недостаточно бумаги и тем самым лишился преимуществ рекламы, которую ему сделала La Barricade[11].

[...]

Письмо Жоржа Сореля Марселю Дальбертозу[12]

8 сентября 1908 г.

Милостивый государь.

Трудности, с которыми Вы столкнулись при чтении «Размышлений о насилии», меня не удивляют: именно из-за них я не решался извлечь эти статьи из опубликовавшего их журна-

---

9 Le Matin — крупная ежедневная газета, выходившая с 1883 до 1944 г. В момент издания «Размышлений о насилии» она набирала популярность, приближаясь ко времени своего расцвета.

10 Морис Мюре (Maurice Muret, 1870–1954) — журналист и критик правых взглядов, антидрейфусар и антисемит, в 1908 г. — редактор знаменитого Journal des débats.

11 «Баррикада, хроника 1910 года» (La Barricade, chronique de 1910) — пьеса Поля Бурже, вдохновленная, по утверждению автора, «Размышлениями о насилии».

12 Письмо Марселя Дальбертоза Сорелю, ответ Сореля и «ответ на ответ» Дальбертоза полностью опубликованы в: Revue du Tarn, no. 136, 1990.

ла; там они были более уместны. Могу лишь предложить Вам, чтобы рассеять Ваши сомнения, читать Mouvement socialiste, в котором основные идеи моей книги часто встречаются в различных формах или подкрепляются другими, не менее важными тезисами. Статьи, которые публикует там Эд. Берт[13], высоко ценят все, кто интересуется социальными вопросами. Полного комплекта номеров за 1906 года больше нет, но в номерах за 1907 год есть много важного; кроме того, пять моих статей, вышедших в 1906 году вслед за «Размышлениями о насилии», совсем недавно объединены в сборник и изданы г-ном Ривьером (улица Жакоб, 31) под заглавием «Иллюзии прогресса»[14] — полагаю, Вы найдете там пояснения по многим вопросам.

Я и мои друзья нисколько не удивлены возражениями, которые выдвигают нам прямодушные люди, так как эти возражения доказывают нам, что мы правы, утверждая, что наша система подразумевает *переоценку всех ценностей*. Мы не стремимся к парадоксам, но встречаем противодействие демократической традиции.

Возьму на себя смелость предположить, что более долгое знакомство с современной *моралью* заставит Вас признать, что не существует никакой *новой морали*, которая бы складывалась у сторонников прогрессивных идей. Я довольно внимательно слежу за развитием философской мысли, во Французском философском обществе я встречаюсь с парижскими профессорами и заверяю Вас, что все написанное ими о морали есть пустая болтовня. Мой прекрасный друг Пейо выбивается из сил, стараясь заставить себя поверить, будто он может научить какой-то морали. Эта иллюзия у него основана на чрезвычайно сильном убеждении об основополагающей ценности возвышенной жизни, однако его учение пусто.

Весьма примечательно, что К. Каутский несколько лет назад заявил, что английский рабочий, став совершенно *рациональным*, перестал морально расти и даже деградировал. А с другой стороны, г-н Филон, совершенно не разделяющий взглядов К. Каутского, отмечает приблизительно то же явление. Таким образом, опыт (и опыт значительный) учит нас, что не следует рассчитывать на моральную ценность того, что называют социальной реформой.

Слово «реформа» допускает разные толкования. По-настоящему оно должно означать «осознанное движение к благу», но в политике его значение было чем-то иным: то «убирайся отсюда, а я займу твое место!», то «тебе повезло, я с тобой поделюсь!». Мы не видим примеров заметного по-

13 Эдуар Берт (Edouard Berth, 1875–1939) — теоретик революционного синдикализма, ученик Прудона и Сореля.

14 *G. Sorel.* Les Illusions du progrès. Paris, Marcel Rivière, 1908

ложительного влияния реформистской демократии на мораль народов — по сути, мы не видим, как эти *реальные формулы* могли бы соотноситься с моральным возвышением, ибо они предполагают чувства зависти и жадности, в которых нет ничего морального.

Я согласен с Вами, что наиболее естественные стремления трудящихся классов влекут их к тому, что в обыденной речи называют реформизмом, — если бы дело обстояло иначе, то как могли бы мы понять успехи демократии в истории Античности? Но мне нет необходимости говорить Вам, что наиболее естественные стремления — не те, что больше всего способствуют морали. Вот почему я приветствую героизм пролетарских групп: они, не останавливаясь на сиюминутных выгодах (которые нам всегда так дороги), стремятся к полной эмансипации через всеобщую стачку. По этой теме горячо рекомендую Вам прочесть в «Многообразии религиозного опыта» У. Джемса (в переводе Абози[15]) об аскетизме институтов монашества и войны. Утилитаризму своих соотечественников он противопоставляет то, что часто называют «христианским безумием». Это любопытное рассуждение находится на с. 311–317. Многим оно, вероятно, показалось парадоксальным и, на мой взгляд, остается незаслуженно малоизвестным, хотя в глазах У. Джемса оно имеет чрезвычайную важность.

Можно представить себе героизм и в других формах, нежели указанная мною, например в форме святости, но я ограничился тем, что казалось мне основным для моей темы. Впрочем, У. Джемсу можно возразить, что в мире, из которого уходит христианство, святость, вероятно, постепенно станет крайне редкой или бесполезной. Характерен здесь пример Италии: несколько лет назад Э. Гебар[16] , хорошо знакомый с этой страной, задавался вопросом, как «Святая земля величайших мистиков впала в заурядное языче-ство, состоящее из пошлых суеверий, материальных практик и глубокого безразличия к высокоморальной жизни» (Débats, 9 décembre 1896). Сегодня мы становимся свидетелями появления первых проблесков нового духа в группах, ведущих стачки, словно средневековые войны. Но нигде больше, несмотря на высокую степень интеллектуального развития Италии, мы не замечаем ничего, что могло бы заменить эту святость, породившую столь необычайных героев. Поэтому мне кажется,

---

15 Речь идет об издании *William James*, L'expérience religieuse. Essai de psychologie descriptive, traduit par M. Frank Abauzit. — Paris, Alcan, 1906.

16 Эмиль Гебар (Émile Gebhart, 1839–1908) — историк, писатель и литературный критик, специалист по Античности и эпохе Возрождения, изучавший, в частности, религиозные идеи Италии этого периода.

что непрерывное ослабевание религиозной мысли, ставшее знаковым для современной жизни, подталкивает нас к тому, чтобы искать моральный героизм, пригодный для практического применения, лишь в боевых доблестях, которые я воспеваю.

Вам, вероятно, будет нелегко читать это письмо, но дело в том, что мне нелегко писать. Я уже не молод, как полагают многие читатели, — я старик, чей жизненный путь подходит к концу, и из-за ревматизма мне зачастую крайне тяжело обращаться с пером.

Примите заверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Ж. Сорель

P.S.: Mouvement socialiste выходит ежемесячно в издательстве Ривьера, по адресу улица Жакоб, 31. Это 80-страничный журнал ин-октаво со стоимостью подписки в 15 франков в год. Это единственный журнал, осведомленный о синдикалистских идеях, поэтому среди его читателей много тех, кто не разделяет его позицию.

Жорж Сорель
Размышления о насилии

Директор издательства *Б. Куприянов*
Редактор *В. Акулова*
Корректор *М. Нагришко*

Фаланстер
Малый Гнездниковский пер., 12/27
тел. +7 495 749 5721

Оформление обложки *М. Киселева*

Подписано в печать 18.12.2012 г.
Формат 84 x 108/32
Печать офсетная
Тираж 3000 экз.
Заказ № 7802.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru;
e-mail: order@gipp.kirov.ru

ФАЛАНСТЕР

НЕЗАВИСИМЫЙ АЛЬЯНС

«Размышления о насилии» — самая известная работа французского философа и социолога Жоржа Сореля (1847–1922), в которой автор — теоретик революционного синдикализма — выдвигает понятие мифа о всеобщей стачке как коллективного мобилизующего представления, способного стать основой революционных преобразований.

Единственный перевод книги на русский язык был сделан в 1907 году. Настоящее издание включает новую редакцию этого перевода, ранее не публиковавшееся на русском языке авторское предисловие и дополнительные главы, написанные для более поздних французских изданий книги, письма автора, адресованные издателю и одному из читателей, а также вступительную статью историка Жака Жюльяра.

ISBN 978 5 9903732 2 8

9 785990 373228 >